

PG 3337

.L5 02

1866

LIBRARY OF CONGRESS



00004067964





ков, Н. С. Николай Семенович)

ОБОЙДЕННЫЕ.

СЗ19
60

Романъ

ВЪ ТРЕХЪ ЧАСТЯХЪ

И. СТЕВНИЦКАГО.

(ЧАСТИ I, II и III).

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

Въ типографіи А. А. Краевского (Литейная, № 38).

1866.

МИНИСТЕРСТВО

PG3337
L502
1866

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, января 25-го дня 1866 года.

88-150204
EP35
6-15-88

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Крючокъ падаетъ въ воду.

Этотъ русскій романъ начался въ Парижѣ, и вдобавокъ, въ самомъ приличномъ, самомъ историческомъ зданіи Парижа — въ Луврѣ. Въ двѣнадцать часовъ яснаго зимняго дня, картинныя галереи Лувра были залиты сплошною и очень пестрою толпою добраго французскаго народа. Зала мурилевской Мадоны была непроходима; на зеленыхъ, бархатныхъ диванахъ круглой залы тоже не было ни одного свободнаго мѣста. Только въ первой залѣ, гдѣ слабые нервы поражаются ужасной картиной потопа, и другою, не менѣе ужасной картиной предательскаго убійства — было просторнѣе. Здѣсь передъ картиной, изображающей юношу и аскета, погребавшихъ въ пустынь молодую красавицу, тихо прижавшись къ стѣнѣ, стоялъ господинъ лѣтъ тридцати, съ очень кроткимъ, немного грустнымъ и очень выразительнымъ, даже, можно сказать, съ очень красивымъ лицомъ. Закинутые назадъ волнистыя, каштановые волосы этого господина придавали его лицу что-то такое, по чему у насъ въ Россіи отличаютъ художниковъ. Съ перваго взгляда было очень трудно опредѣлить національность этого человѣка, но, во всякомъ случаѣ, лицо его не рисовалось тонкими чертами романской расы, и скорѣе всего могло напомнить собою одушевленные типы славянскаго юга.

Въ трехъ шагахъ отъ этого незнакомца, прислонясь слегка плечкомъ къ высокому табурету, на которомъ молча работала копировщица, такъ же тихо и задумчиво стояла молодая, восхитительной красоты дѣвушка съ золотисто-красными волосами, рассыпавшимися около самой милой головки. Эта стройная дѣвушка скорѣе напоминала собою заблудившуюся къ людямъ

ундину или никсу, чѣмъ живую женщину, способную считать франки и сантимы, или вести домашнюю свару. Нарядъ этой дѣвушки былъ простъ до послѣдней степени; видно было, что онъ нимало не занималъ ее больше, чѣмъ нарядъ долженъ занимать человѣка: онъ былъ очень опрятенъ, и надъ нимъ нельзя было разсмѣяться.

— Насмотрѣлась? произнесъ порусски тихій женскій голосъ сзади нисы.

Молодая дѣвушка не шевельнулась и не отвѣтила ни слова.

— Я уже два раза обошла всѣ залы, а ты все сидишь; пойдемъ, Дора! позвалъ черезъ нѣсколько секундъ тотъ же голосъ.

Этотъ голосъ принадлежалъ молодой женщинѣ, тоже прекрасной, но составляющей рѣзкій контрастъ съ воздушной Дорой. Это была женщина земная: высокая, стройная, съ роскошными круглыми формами, съ большими черными глазами, умно и страстно смотрящими сквозь густыя рѣсницы, и до синевы черными волосами, изящно отгнѣняющими высокій мраморный лобъ и блѣдное лицо, которое могло много рассказать о борьбѣ воли съ страстями и страданіями.

Дѣвушка привстала съ приножка высокаго табурета художницы, поблагодарила ее за позволеніе посидѣть и сказала:

— Да, я опять расфантазировалась.

— И что тебѣ такъ нравится въ этой картинѣ? спросила брюнетка.

— Вотъ поди же! Мнѣ, знаешь, съ нѣкотораго времени кажется, что эта картина имѣетъ не одинъ прямой смыслъ: старость и молодость хоронятъ свои любимыя радости. Смотри, какъ грустна и тяжела безрадостная старость, но въ безрадостной молодости есть что-то ужасное, что-то... проклятое просто. Всмотрись, пожалуйста, Аня, въ эту падающую голову.

— Ты вездѣ увидишь то, чего нѣтъ и чего никто не видитъ, отвѣчала брюнетка, съ самой доброй улыбкой.

— Да, *чего никто не хочетъ видѣть*, это, можетъ быть; но не то, чего вовсе нѣтъ. Хочешь, я спрошу вотъ этого шута, что его занимаетъ въ этой картинѣ? онъ тутъ еще прежде меня прилипъ.

Та, которая называлась Анею, покачала съ упрескомъ головою и произнесла: 'тсс!

— Сдѣлай милость, успокойся, не забывай, что онъ ничего этого не понимаетъ.

Дамы вышли налѣво; молчаливый господинъ посмотрѣлъ имъ вслѣдъ, весело улыбнулся и тоже вышелъ. Они еще разъ встрѣтились внизу, получая свои зонтики, взглянули другъ на друга и разошлись.

Черезъ двѣ недѣли послѣ этой встрѣчи, извѣстный намъ человекъ стоялъ, съ маленькою карточкой въ рукахъ, у дверей omnibusнаго бюро, близъ св. Магдалины. На дворѣ былъ дождь и рѣзкій зимній вѣтеръ—самая непріятная погода въ Парижѣ. Изъ-за угла Магдалины показался высокій желтый omnibusъ, на имперіалѣ котораго не было ни одного свободного мѣста.

— Начинается нумеръ седьмой! крикнулъ кондукторъ.

Нашъ луврскій знакомый подалъ свою карточку, вспрыгнувъ въ карету и полный экипажъ тронулся снова, оставивъ всѣ дальнѣйшіе нумера дрогнуть на тротуарѣ, или грѣться около раскаленныхъ, желѣзныхъ печекъ безпріютнаго бюро.

Въ каретѣ, vis-à-vis противъ новаго пассажира, сидѣли двѣ дамы, изъ которыхъ одна была закрыта густымъ, чернымъ вуалемъ, а въ другой онъ тотчасъ же узналъ луврскую ундину; только она теперь казалась раздраженной и даже сердитой. Она сдвигала бровями, кусала свои губки и упорно смотрѣла въ заднее окно, гдѣ на сѣромъ дождевомъ фонѣ мелькала козлиная фигурка кондуктора въ синемъ кэпи и безобразныхъ вязаныхъ нарукавникахъ, изобрѣтеніе которыхъ, къ стыду великой германской націи, приписывается добродѣтельнымъ нѣмкамъ. Дама, закрытая вуалемъ, плакала. Хотя густой вуаль и не позволялъ видѣть ни ея глазъ, ни ея лица, а сама она старалась скрыть свои слезы, но ихъ предательски выдавало судорожное вздрагиванье неповиновавшихся ей волѣ плечъ. При каждомъ такомъ, впрочемъ, едва примѣтномъ движеніи, Дора еще пуще сдвигала брови и сердитѣе смотрѣла на стоящую въ воздухѣ мокрядь.

— Это, наконецъ, глупо, сестра! сказала она, не вытерпѣвъ, когда дама, закрытая вуалемъ, не удержалась и неосторожно всхлипнула.

Та молча пронесла подъ вуаль мокрый отъ слезъ платокъ и видимо хотѣла заставить себя успокоиться.

— Неужто и послѣ этихъ неслыханныхъ оскорбленій, въ тебѣ еще живетъ какая-нибудь глупая любовь къ этому негодю! сердито проговорила Дора.

— Оставь, пожалуйста, тихо отвѣчала дама въ вуалѣ.

— Нѣтъ, тебя надо ругать: ты только тогда и образумливаешься, когда тебя хорошенько выбралишъ.

— Извините, пожалуйста, отнеси къ ундинѣ пассажиръ, сѣвшій у Магдалины: —я считаю нужнымъ сказать, что я знаю порусски

Дама, закрытая вуалемъ, сдѣлала едва замѣтное движеніе головою, а Дора сначала вспыхнула до самыхъ ушей, но черезъ минуту улыбнулась и, отворотясь, стала глядѣть изъ-за плеча сестры на улицу. По легкому, едва замѣтному движенію щеки можно было догадаться, что она смѣется.

Совершенно опустѣвшій омнибусъ остановился у Одеона. Пассажиръ отъ св. Магдалины посмотрѣлъ вслѣдъ Дорѣ съ ея сестрою. Онѣ вышли въ ворота люксембургскаго сада. Пассажиръ всталъ послѣдній, и выходя поднималъ распечатанное письмо съ московскимъ почтовымъ штемпелемъ. Письмо было адресовано въ Парижъ, госпожѣ Прохоровой, *poste restante*. Онъ взялъ это письмо и бѣгомъ бросился по прямой алеѣ люксембургскаго сада.

— Не обронили ли вы чего нибудь? спросилъ онъ, догнавъ Дору и ея сестру.

Послѣдняя быстро опустила руку въ карманъ и сказала:

— Боже мой! чтѣ я сдѣлала? Я потеряла письмо и мой вексель.

— Вотъ ваше письмо, и посмотрите, можетъ быть, здѣсь же и вашъ вексель, отвѣчалъ господинъ, подавая поднятый конвертъ.

Вексель дѣйствительно оказался въ конвертѣ, и господинъ, доставившій дамамъ эту находку, уже хотѣлъ спокойно откланяться, какъ та, которая напоминала собою ундину или ниску, застѣнчиво спросила его:

— Скажите, пожалуйста, вы русскій?

— Я русскій-съ, отвѣчалъ незнакомецъ.

— Скажите, пожалуйста, какая досада!

— Что я русскій?

— Именно. Я этого никакъ не ожидала, и вы меня, пожалуйста, прстите, проговорила она серьезно, и протянула ручку.— Сама судьба хотѣла, чтобъ я просила у васъ извиненія за мою вѣтренность, и я его прошу у васъ.

— Извините, я не знаю, чѣмъ вы меня оскорбили.

— Недѣли двѣ назадъ, въ Луврѣ... Помните теперь?

— Назвали меня что-то шутомъ, или дуракомъ, кажется?

— Да, что-то въ этомъ вкусѣ, отвѣчала, краснѣя, смѣясь и тряся его руку ундина.—Позволяю вамъ за это десять разъ называть меня дурой и шутихой. Меня зовутъ Дарья Михайловна Прохорова, а это—моя старшая сестра Анна Михайловна, тоже Прохорова: обѣ принадлежимъ къ одному гербу и роду.

— Мое имя—Несторъ Долинскій, отвѣчалъ незнакомый госпоинъ, кланаясь и приподнимая шляпу.

— А какъ васъ по батюшкѣ?

— Несторъ Игнатьевичъ, пояснилъ Долинскій.

— Отлично! вы, Несторъ Игнатьевичъ, веселитесь или скучаете?

— Скорѣе скучаю.

— Безподобно! мы живемъ два шага отъ сада, вотъ сейчасъ нумеръ десятый, и у насъ есть свой самоваръ. Пожалуйста, докажите, что вы не сердитесь и приходите къ намъ пить чай.

— Очень радъ, отвѣчалъ Долинскій.

— Пожалуйста приходите, упрашивала дѣвушка.—Кромѣ гадкихъ французовъ, ровно никого не увидишь — просто несносно.

— Пожалуйста, заходите, попросила для порядка Анна Михайловна.

— Непремѣнно зайду, отвѣчалъ Долинскій, и повернулъ назадъ къ латинскому кварталу.

II.

Небольшая исторія, случившаяся до начала этого романа.

У каждаго изъ трехъ лицъ, съ которыми мы встрѣчаемся на первыхъ страницахъ этого романа, есть своя небольшая исторія, которую читателю не мѣшаетъ знать. Начнемъ съ исторіи нашихъ двухъ дамъ.

Анна Михайловна и Дорушка, какъ мы уже знаемъ изъ собственныхъ словъ послѣдней, принадлежали къ одному гербу: первая была дочерью кучера княгини Сурской, а вторая, родившаяся пять лѣтъ спустя послѣ смерти отца своей сестры, могла считать себя безошибочно только дитемъ своей матери. Княгиня Ирина Васильевна Сурская, о которой необходимо вспоминать,

разсказывая эту исторію, была барыня стараго покроя. Доводилась она какъ-то съ родни князю Потемкину-Таврическому; куртизанила въ свое время на стоящихъ выше всякаго описанія его вельможескихъ пирахъ; имѣла какой-то романъ, изъ рода романовъ, отличавшихъ тогдашнюю распудренную эпоху сѣверной Пальмиры, и наконецъ, вышла замужъ за князя Агея Лукича Сурскаго, человѣка стараго, небезобразнаго, но страшнаго съ вида, и еще болѣе страшнаго по характеру. До своей женитьбы на княжнѣ Иринѣ Васильевнѣ, князь Сурскій былъ вдовъ, имѣлъ двѣнадцатилѣтнюю дочь отъ перваго брака, и самому ему было уже лѣтъ подь шестьдесятъ, когда онъ рѣшился осчастливить своею рукою двадцати-трехлѣтнюю Ирину Васильевну, и посватался за нее, черезъ свѣтлѣйшаго покорителя Тавриды. Впрочемъ, князь Сурскій былъ еще свѣжъ и бодръ; какъ истый аристократъ, онъ не позволялъ себѣ дряхлѣть и разрушаться раньше времени, назначеннаго для его окончательной сломки; бафтаны его всегда были ловко подвачены, волосы выкрашены, лицо реставрировано всѣми извѣстными въ то время косметическими средствами. Но, разумѣется, не этотъ недостатокъ силъ и жизни продиктовалъ крѣпкому старику мысль жениться на двадцати-двухлѣтней княжнѣ Иринѣ Васильевнѣ. Княжна не общала много интереса для его чувственной любознательности, и князь вовсе не желалъ быть Раулемъ-Синей бородой. Дѣло было гораздо проще. Князь былъ богатъ, знатенъ и честолюбивъ; ему хотѣлось во что бы то ни стало породниться съ Таврическимъ, и княжна Ирина Васильевна была избрана средствомъ для достиженія этой цѣли. Совершилась пышная сватба, къ которой Ирину Васильевну, какъ просвѣщенную дѣвицу, не нужно было нимало ни склонять, ни приволивать; стала княжна Ирина Васильевна называться княгинею Сурскою, а князь Сурскій немножко еще выше приподнялъ свое бѣло-мраморное чело, и отращивалъ розовые ногти на своихъ длинныхъ, тонкихъ пальцахъ. Но вдругъ коловратное время переменяло козырь, и такъ перетасовало колоду, что князь Сурскій, несмотря на родство съ Таврическимъ, былъ несказанно радъ, попавъ при этой перетасовкѣ не далѣе своей степной деревни въ одной изъ низовыхъ губерній. Здѣсь, въ сторонѣ отъ всякаго шума, вдали отъ далекаго, упорительнаго свѣта, очутилась княгиня Ирина Васильевна съ перспективой здѣсь же протянуть долгіе-долгіе годы. А въ двадцать-четыре года жизнь такъ хороша, и жить такъ хочется, даже

и за старымъ мужемъ... можетъ быть, даже особенно за старымъ мужемъ.

Князь Сурскій въ деревнѣ явился совершенно другимъ человекомъ, чѣмъ былъ въ столицѣ. Его мягкія, великосвѣтскія манеры, отличавшія вельможъ екатериненскаго времени, въ степномъ селѣ уступили мѣсто неудержимой рѣзкости и порывистости. Широкіе и смѣлые замыслы и планы князя рухнули; рамки его сѣзались до мелкой придирчивости, до тираніи, отъ которой въ домѣ страдали всѣ, начиная отъ маленькаго поваренка на кухнѣ до самой молодой княгини, въ ея образной и опочивальнѣ. Князь мстилъ за свое униженіе людямъ, которые при тогдашнихъ обстоятельствахъ не могли ничего поставить въ свою защиту. Молодая княгиня не находилась, какъ ей вести себя въ ея печальномъ положеніи, и какой методы держаться съ своимъ грознымъ и неприступнымъ мужемъ.

Черезъ полгода послѣ переѣзда ихъ въ деревню, княгиня Ирина Васильевна родила сына, котораго называли, въ честь дѣда, Лукою. Рожденіе этого ребеночка имѣло весьма благотворное, но самое непродолжительное вліяніе на крутой нравъ князя. На первыхъ порахъ онъ велѣлъ выкатить крестьянамъ нѣсколько бочекъ пѣннаго вина, пожаловалъ по рублю всѣмъ дворовымъ, барски одарилъ бѣдный сельскій причтъ за его услышанныя молитвы, а на колокольнѣ велѣлъ держать трехдневный звонъ. Робкій, запуганный и задавленный нуждою священникъ не смѣлъ ослушаться княжяго приказа, и съ приходской колокольни три дня сряду торжественнѣйшимъ звономъ возвѣщалось міру рожденіе юнаго княжича. Но не прошло со дня этого великаго событія какой-нибудь одной недѣли, какъ старикъ началъ опять раздражаться. Въ цѣлой губерніи онъ не находилъ человека, достойнаго быть воспріемникомъ его новорожденнаго сына, и наконецъ, рѣшилъ крестить *самъ*! При всемъ своемъ смиреніи передъ грознымъ вельможей, сельскій священникъ отказался исполнить эту княжескую прихоть. Князь бѣсновался-бѣсновался, наконецъ одинъ разъ, грозный и мрачный, какъ градовая туча, вышелъ изъ дома, взялъ за воротъ зипуна перваго попавшагося ему на встрѣчу мужика, молча привелъ его въ домъ, молча же поставилъ его къ купели рядомъ съ своей старшей дочерью и велѣлъ священнику крестить ребеночка. Тренещущій священникъ совершилъ обрядъ.

— А теперь, любезный кумъ, сказалъ князь, тотчасъ же послѣ крещенія:—вотъ тебѣ за твой трудъ по моей кумовской и княже-

ской милости тысяча рублей; завтра ты получишь отпускную, а послѣ-завтра чтобъ тебя, пріятеля, и помину здѣсь не было, чтобъ духу твоего здѣсь не пахло!..

Оторопѣвшій мужикъ повалился князю въ ноги.

— Но помни, куманекъ, что если ты станешь жить такъ, что хоть какой-нибудь слухъ о тебѣ до меня дойдетъ, такъ я тебя, каналью... за ребро повѣшу!

Князь заскрипѣлъ зубами и сильно закачалъ за воротъ своего кума.

Мужикъ опять упалъ ему въ ноги и закричалъ:

— Милуйте— жалуйте! милуйте, ваше сіятельство!

Приказаніе княжеское было исполнено въ точности. Семья нечаяннаго воспріемника новорожденнаго княжича, потихопьку голося и горестно причитывая, черезъ день оплаканная рѣдственниками и свойственниками, выѣхала изъ роднаго села на доморощенныхъ, косматыхъ лошаденкахъ и, гонимая страшнымъ призракомъ грознаго князя, потянулась отъ родныхъ степей заволжскихъ далеко-далеко къ цвѣтущей заднѣпровской Украинѣ, къ этой обѣтованной землѣ великорусскаго крѣпостного, убѣгавшаго отъ своей горегорькой жизни.

Потѣшивъ свой обычай, князь сдѣлался еще свирѣпѣе. Дня не проходило, чтобъ удары палками, розгами, охотничьими арапниками или кучерскими кнутъями не отсчитывались кому-нибудь сотнями, и случалось зачастую, что самъ князь, собственной особой, присутствовалъ при исполненіи этихъ жестокихъ истязаній и равнодушно чистилъ во время ихъ свои розовые ногти. Народъ трепеталъ, и безмолвно-могильными тѣнями скользилъ около княжескихъ хоромъ. Съ годами, жестокость князя все усиливалась. Въ имѣніи князя случилось, что одинъ вѣшался, другой — рѣзался, третій бросался съ высокой плотины въ мутную, воющую воду тинистаго, мелкаго пруда. Имѣніе князя стало мѣстомъ всяческихъ ужасовъ; въ народѣ говорили, что всѣ эти утопленники и удушенники встаютъ по ночамъ и бродятъ по княжымъ палатамъ, стона о своихъ душахъ, погибающихъ въ вѣчномъ огнѣ, уготованномъ самоубійцамъ. Эолова арфа, устроенная вверху большой башни княжескаго дома, при малѣйшемъ вѣтеркѣ, наводила цѣпennyй ужасъ повсюду, куда достигали ея прихотливые звуки. Люди слышали въ этихъ причудливыхъ звукахъ стоны покойниковъ, падали на колѣна, тряса

всѣмъ тѣломъ, молились за души умершихъ, молились за свои души, если Богъ не ниспослетъ желѣзнаго терпѣнья тѣлу, и ждали своей послѣдней минуты. Князь не измѣнялся. Онъ жилъ одинъ, какъ владыка Морвены, никого не принималъ, и продолжалъ свирѣпствовать. Княгиня совершенно потерялась. Она ничего не умѣла предпринять: старалась только какъ можно рѣже оставлять свою комнату, начала много молиться, и вся отдалась сыну.

Какая-то простодушная Коробочка того времени, наслушавшись столь много лестнаго объ умѣнѣ князя управляться съ людьмишками, приползла къ нему на подводишкѣ, просить вступить за нее, вдову беззащитную, поучить и ея людишекъ дисциплинѣ и уму-разуму. «Оедька Лапотокъ кучеромъ со мной пріѣхалъ, жаловалась Коробочка:—прикажи, государь-князь, хоть его поучить для острастки! Пусть пріѣдетъ и расскажетъ, какой страхъ дается глупому народу», молилась добравшаяся предъ княжьи очми помѣщица.

Вмѣсто того, чтобы оскорбиться, что его считаютъ образцовымъ сѣкуномъ, одичавшій князь выслушалъ Коробочку, только слегка шевеля бровями, и велѣлъ ей ѣхать съ своимъ Оедькою Лапоткомъ къ конюшнѣ. Больно высѣкли Лапотка, подняли отрезвоненнаго и посадили въ уголокъ у двери. «А ну-ка ее теперь», спокойно буркнулъ князь, и прежде чѣмъ Коробочка успѣла что нибудь понять и сообразить, ее разложили и пошли отзванивать въ глазахъ князя и всего его холопства.

Знали коробочкины людишки, что страшенъ, для всѣхъ страшенъ домъ княжескій! Дерзость и своевластіе князя забыли всякій предѣлъ. Князь разгнѣвался на вывезенную имъ изъ Парижа гувернантку своей дочери, и въ припадкѣ бѣшенства, бросилъ въ нее за столомъ тарелкой. Француженка всплила: «я не крестьянка ваша; вы не смѣете»... сказала ему она. Князь, давно отвыкшій отъ всякаго возраженія, побагровѣлъ: «Не смѣю! я не смѣю!...» проговорилъ онъ, свиснулъ своихъ челядинцевъ, и, безъ всякаго стѣсненія, велѣлъ несчастную дѣвушку высѣчь. Гувернантка схватила со стола ножъ, и подняла его къ своему горлу; вѣрные слуги схватили ее сзади за руки. Сопротивляться приказаніямъ князя никто не смѣлъ, да никто и не думалъ.

Упавшую въ обморокъ гувернантку вырвали изъ рукъ молодой княжны, высѣкли ее въ присутствіи самого князя, а потомъ спеленали, какъ ребѣнка, въ простыню, и отнесли въ ея комнату.

Здѣсь держали ее спеленатою, пока зажили рубцы отъ розогъ и, какъ ребѣнка же, кормили рожкомъ и соской, а наконецъ, когда слѣдовъ наказанія не было болѣе замѣтно, ее со всѣми ея пожитками отвезли на крестьянской подводѣ въ ближайшій городъ. Француженка обратилась къ кому-то съ жалобой, но ей посовѣтовали прекратить дѣло, такъ-какъ въ данномъ случаѣ, свои люди не могли быть свидѣтелями противъ князя. Могучій Орсалъ не повелъ ни усомъ, ни ухомъ: равнодушный, какъ волтеріанецъ къ суду божескому, онъ знать не хотѣлъ ни о какомъ судѣ человеческомъ. По примѣру наказанной француженки, онъ вздумалъ высѣчь своего управителя, какого-то американскаго янки, и это было причиною собственной гибели князя. Янки не дался. Ко всеобщему ужасу, онъ смѣло открылъ окно своего флигеля, окруженнаго княжескими людьми, краснорѣчиво выставилъ передъ собою два заряженныхъ пистолета, пробѣжалъ никѣмъ нетронутый черезъ оторопѣвшую толпу ликторовъ, и вскочивъ на стоявшую у коновязи осѣдланную лошадь земскаго, понесся на ней во всю мочь къ городу. Посланная погоня, угрожаемая убѣдительными поворотами пистолетовъ бѣглеца, рѣшилась оставить опасную погоню, и вернулась съ пустыми руками.

Князь задыхался отъ ярости. Передъ крыльцомъ и на конюшнѣ, наказывали гонцовъ и другихъ людей, виновныхъ въ упускѣ изъ рукъ дерзкаго янки, а князь, какъ дикій звѣрь, съ пѣною у рта и красными глазами, метался по своему кабинету. Онъ рвалъ на себѣ волосы, швырялъ и ломалъ вещи, ругался страшными словами.

Стоны, доносившіеся черезъ окно до его слуха, только разжигали его бѣшенство.

Среди такого ужаса, княгиня не выдержала, и вошла къ мужу.

— Князь! позвала она тихо, остановившись у порога. Возлѣ княгини, тутъ же на порогѣ, стоялъ отворившій ей дверь, весь блѣдный отъ страха, любимый доѣзжачій князя, восемнадцатилѣтній мальчикъ Михайлушка, котораго мѣстная хроника шопотомъ называла хотя незаконнымъ, но тѣмъ не менѣе, несомнѣнно роднымъ сыномъ князя.

— А! чтò! Кто васъ звалъ? Кто васъ пустилъ сюда? закричалъ трясаясь и тоная старикъ.

— Я сама пришла, князь; я ваша жена, кто же меня смѣетъ не пустить къ вамъ?

— Вонъ! сейчасъ вонъ отсюда! бѣшено заораль безумный князь, и забарабанилъ кулаками.

— Князь! вы опомнитесь — Сибирь...

Княгиня не успѣла договорить своей тихой рѣчи, какъ тяжелая малахитовая щетка взвилась со стола, у котораго стоялъ князь, и молодой Михайлушка, зорко слѣдившій за движеніями своего грознаго владыки, тяжело грохнулся къ ногамъ княгини, защитивъ ее собственнымъ тѣломъ отъ направленнаго въ ея голову смертельнаго удара.

Князь закачался на ногахъ, и повалился на полъ. Бѣшеннымъ звѣремъ покотился онъ по мягкому ковра; изъ его опѣненныхъ и посинѣвшихъ губъ вылетало какое-то звѣрское рычаніе; всѣ мускулы на его багровомъ лицѣ тряслись и подергивались; красные глаза выступали изъ своихъ орбитъ, а зубы судорожно схватывали и теребили ковравую покрывку. Все, что отличаетъ человека отъ кровожаднаго звѣря, было чуждо въ эту минуту бѣснующемуся князю; самая слюна его вѣроатно имѣла всѣ ядовитыя свойства слюны разъяреннаго до бѣшенства звѣря.

Княгиня спросила черезъ порогъ воды, и подошла съ стаканомъ къ мужу.

«Рррбуу» рычалъ князь, закусивъ коверъ, и глядя на жену столбенѣющими глазами; лицо его изъ багроваго цвѣта стало переходить въ синій, потомъ блѣдно-синій; пѣнистая слюна оставилась и рычаніе стихло. Смертельный апоплексическій ударъ разомъ положилъ конецъ ударамъ арапниковъ, свиставшихъ по приказанію скоропостижно-умершаго князя.

Бѣжавшій княжескій управитель умѣлъ заставить проснуться тяжелыя на подъемъ губернскія власти; но судъ божескій освободилъ судъ людской отъ обязанности карать преступленіе опальнаго вельможи. Спѣшно-прибывшая изъ города комисія застала князя на столѣ, и откушала на его погребеніи.

Ни въ чемъ неповинная княгиня Ирина Васильевна осталась въ имѣніи, которое должны были наслѣдовать ея сынъ и падчерица. Она не вмѣшивалась въ управленіе приставленнаго опекуна, цѣлый рядъ лѣтъ никуда не выѣзжала, молилась, старилась, начинала чудить, и годъ отъ года все становилась страннѣе и страннѣе. Михайлушку, котораго молодая, хотя и весьма нѣжная натура вынесла жестокий ударъ, назначавшійся княгинѣ, она считала своимъ спасителемъ, и пристрастилась къ нему всею душою. Михайлушка на всю жизнь остался немножко глухимъ, и

эта глухота постоянно не позволяла княгинѣ забывать объ оказанной ей этимъ человѣкомъ услугѣ. Михайлушка сдѣлался избранныѣйшимъ любимцемъ и *factotum* старѣющей въ одиночествѣ княгини. Единственнымъ ея развлеченіемъ зимою и лѣтомъ, было катанье по гладкой и ровной степи, но, ко множеству развивавшихся въ ней странностей, она питала необоримую боязнь къ лошадямъ, и могла ѣздить только съ Михайлушкой. Поэтому, Михайлушка главнымъ образомъ состоялъ выѣзднымъ кучеромъ при ея особѣ. Съ нимъ княгиня ѣздила спокойно, съ нимъ она отправляла на своихъ лошадяхъ въ Москву въ гимназію подростка князя Луку Агеича, съ нимъ наконецъ отправила въ Петербургъ къ мужниной сестрѣ подросткую падчерицу, и вообще была твердо увѣрена, что гдѣ только есть ея Михайлинька, оттуда далеки всѣ опасности и невзгоды. Грязные языки, развязавшіеся послѣ смерти страшнаго князя и незнавшіе исторіи малахитовой щетки, сочиняли на счетъ привязанности княгини къ Михайлушкѣ разныя небывалыя вещи, и не хотѣли просто понять ея слѣпой привязанности къ этому человѣку, спасшему нѣкогда ея жизнь и нынѣ платившему ей за ея довѣріе самую страстную, рабской преданностью.

Когда Михайлинькѣ минуло двадцать-шесть лѣтъ, княгиня вздумала женить своего фаворита, и не откладывая этого дѣла въ дальній ящикъ, обвинчала его съ писаной красавицей, сѣнной дѣвушкой Феней. Пять лѣтъ у молодого супружества не было дѣтей, а потомъ явилась дочь Аннушка, и вслѣдъ затѣмъ, Михайлинька умеръ отъ простуды, поручивъ свою дочь и жену заботамъ и милостямъ совершенно состарѣвшейся княгини. Княгиня старалась какъ можно добросовѣстнѣе выполнить предсмертную просьбу своего любимца. Вдова его получала удобную квартиру и полное содержаніе, а маленькая Аня со второго же года была совсѣмъ взята въ барскій домъ, и не только жила съ княгинею, но даже и спала съ нею въ одной комнатѣ. Въ это время, молодой князь Лука Агеичъ счастливо женился, получилъ мѣсто по дипломатическому корпусу, и собирался за-границу. Онъ пріѣхалъ къ матери съ женою и трехлѣтнимъ сыномъ Кирилломъ. Одинокая старушка еще болѣе сиротѣла, отпуская сына въ чужіе края; князю тоже было жалко покинуть мать, и онъ уговорилъ ее ѣхать вмѣстѣ въ Парижъ. Княгинѣ жалко было и деревни, но все-таки она не захотѣла разстаться съ сыномъ, и все семейство тронулось за-границу. Аню княгиня, къ крайнему при-

скорбію ея матери, тоже увезла съ собою. Черезъ два года, княгиню постигло новое горе: ея сынъ съ невѣсткою умерли другъ за другомъ въ теченіе одной недѣли, и осиротѣлая, древняя старушка снова осталась и воспитательницею и главною опекуницею малолѣтнаго внука.

Княгиня Ирина Васильевна въ это время уже была очень стара; лѣта и горе брали свое, и воспитаніе внука ей было вовсе не по силамъ. Однако, дѣлать было нечего. Точно такъ же, какъ она нѣкогда неподвижно осѣлась въ деревнѣ, теперь она засѣла въ Парижѣ, и вовсе не помышляла о возвращеніи въ Россію. Одна мысль о какихъ бы то ни было сборахъ заставляла ее трестись и пугаться. «Пусть доживу мой вѣкъ, какъ живется» говорила она, и страшно не любила людей, которые напоминали ей о какихъ бы то ни было перемѣнахъ въ ея жизни.

Внука она отдала въ одинъ изъ лучшихъ парижскихъ пансіоновъ, а къ Анѣ пригласила учителей, и жила въ полной увѣренности, что она воспитываетъ дѣтей какъ нельзя лучше.

Дѣти росли, княгиня старѣлась, и стала быстро подаваться къ гробу.

Восемнадцатилѣтній князь Кирила Лукичъ смотрѣлъ молодцомъ, хотя и французомъ, Аня разцвѣла пышною розой.

Кромѣ того, чему Аню учили французскіе учителя и дьячокъ русской посольской церкви, она немало сдѣлала для себя и сама. Старая княгиня не могла имѣть сильнаго вліянія на всестороннее развитіе дѣвушки. Она учила ее вѣрять въ верховную опеку промисла; старалась передать ей небольшой запасъ сухихъ правилъ, замѣнявшихъ для нея самой весь нравственный кодексъ; любовалась красотою ея лица, очаровательною граціею стана, изяществомъ манеръ, и болѣе ничего. Анна Михайловна сама додумалась, что положеніе ея въ домѣ княгини фальшивое, что ей нужно самой обставить себя совсѣмъ иначе, и что на заботы княгини во всемъ полагаться нельзя. Анна Михайловна была существо самое кроткое, нѣжное сердцемъ, честное до болѣзненности, и безпредѣльно-довѣрчивое. Начитавшись романтическихъ писателей французской романтической школы, она сама очень порядочно страдала романтизмомъ, но при всемъ томъ, она, однако, понимала свое положеніе, и хотѣла смотрѣть въ свое будущее не сквозь розовую призму. О семьѣ своей Анна Михайловна знала очень мало. Съ тѣхъ поръ, какъ ее маленькимъ дитемъ вывели за-границу, разъ въ годъ, когда княгиня получала

изъ имѣнія бумаги, прочитывая управительскіе отчеты, она обыкновенно говорила: «твоя мать, Аня, здорова», и тѣмъ ограничивались свѣдѣнія Ани о ея матери.

Когда дѣвочкѣ было шесть лѣтъ, княгиня, читая вновь-полученный ею отчетъ, сказала: «твоя мать, Аня, здорова, и...» и на этомъ и княгиня поперхнулась.

— И у тебя, Аня, родилась сестрица, добавила она черезъ нѣсколько времени съ досадою, и вмѣстѣ съ такимъ удивленіемъ, какъ будто хотѣла сказать: что это еще за моду такую глупую выдумали! А Аня была необыкновенно какъ рада, что у нея есть сестрица.

— Маленькая? спрашивала она у княгини.

— Очень, мой другъ, маленькая, и зовутъ ее Доружкой, отвѣчала княгиня.

Аня такъ и запрыгала отъ этой радостной вѣсти.

— Ахъ, какая это должна быть прелесть — эта Доружка! размышляла дѣвочка цѣлый день, до вечера.

Ночью сквозь сонъ ей слышалось, что княгиня какъ будто дурно говорила о ея матери съ своею старой горничной; будто упрекала ее въ чемъ-то противъ Михайленьки, сердилась и обѣщала немедленно велѣть разсчитать молодого, бѣлокураго швейцарца Траппа, управлявшаго въ селѣ заведенною княземъ ковровою фабрикой. Аня рѣшительно не понимала, чѣмъ ея мать оскорбила покойнаго Михайлушку, и зачѣмъ тутъ при этой смѣтѣ приходился бѣлокурый швейцарецъ Траппъ: она только радовалась, что у нея есть очень маленькая сестрица, которую вѣрно можно купать, пеленать, нянчить и производить надъ ней другія подобныя интересныя операціи. Черезъ годъ еще, княгиня сказала: «ты, Аня, будь умница — не плачь: твоя мать, мой дружечекъ, умерла.»

— Умерла! закричала Аня.

— Давно, мой другъ, не плачь, не теперь, она давно ужъ умерла.

Аня все-таки горько плакала.

— А сестрица моя? спрашивала она княгиню.

— Я велю, дружечекъ, твою сестрицу прибрать; велю, чтобы ей хорошо было, успокоивала княгиня.

Аня утѣшалась, что ея маленькой сестрицѣ будетъ хорошо.

А между тѣмъ, время работало свою работу. Маленькая сестрица Ани, взятая изъ состраданія очень доброю и просвѣщен-

ною женою какого управителя, подросла, выучилась писать, и писала сестрѣ очень милое дѣтское письмо.

Между сестрами завязалась живая переписка: Аня заочно страдалась къ Дорушкѣ; та ей взаимно, изъ своей степной глуши, платила самой горячей любовью. Преобладающимъ стремленіемъ дѣвочекъ стало страстное желаніе увидаться другъ съ другомъ. Княгиня и слышать не хотѣла о томъ, чтобы отпустить шеснадцатилѣтнюю Аню изъ Парижа, въ какую-то глухую степную деревню. «Послѣ моей смерти ступай куда хочешь, а при мнѣ не дѣлай глупостей», говорила она Аннѣ Михайловнѣ, не замѣчая, что та въ ея-то именно присутствіи и дѣлаетъ самую высшую глупость изъ всѣхъ глупостей, которыя она могла бы сдѣлать.

Анна Михайловна, не видавшая ни одного мужчины, кромѣ своихъ учителей и двухъ или трехъ старыхъ роялистскихъ генераловъ, изрѣдка навѣщавшихъ княгиню, со всею теплотою и дѣтскою довѣрчивостью своей натуры привязывалась къ князю Кирилѣ Лукичу. Князь Кирилъ, выросшій во французской школѣ и пропитанный французскими понятіями о чести вообще и о честности по отношенію къ женщинѣ въ особенности, называлъ Аню своей хорошенькой кузиной, и былъ къ ней добръ и предупредителенъ. Анѣ всегда очень нравилось вниманіе князя; ей съ нимъ было веселѣе и какъ-то лучше, пріятнѣе, чѣмъ съ старушкой-княгиней и ея французскими, роялистскими генералами, или съ дьячкомъ русской посольской церкви. Молодые люди вмѣстѣ гуляли, катались, ѣздили за городъ; княгиня все это находила весьма приличнымъ и естественнымъ, но ей показалось совершенно неестественнымъ, когда Аня, сидя одинъ разъ за чаемъ, вдругъ тихо вскрикнула, поблѣднѣла, и откинулась на спинку кресла.

Анна Михайловна не умѣла скрыть отъ княгини своей беременности. Княгиня, впрочемъ, ни въ чемъ не упрекала Анну Михайловну, и только страшно сердилась на своего внука. Родилось дитя, его свезли и отдали на воспитаніе въ небольшую деревеньку около Версаля. Прошло два мѣсяца; Анна Михайловна оправилась, а княгиня заболѣла и умерла. Кончаясь, она вручила Аннѣ Михайловнѣ давно-приготовленную вольную, для нея и Доры, банковый билетъ въ десять тысячъ рублей асигнаціями, и долгое обязательство въ такую же сумму, подписанное еще покойнымъ княземъ Лукою и вполне обязательное для его наслѣдника.

Поведеніе князя Кирила, по отношенію къ Аннѣ Михайловнѣ, было весьма неодобрительно, какъ французы говорятъ: *онъ поступилъ какъ мужчина*. Аня теперь ясно видѣла, что князь никогда не любилъ ее, и что она была ни больше ни меньше, какъ одна изъ тысячи жертвъ, преслѣдованіе которыхъ составляетъ пріятную задачу праздної и пустой жизни князя. Анна Михайловна была обижена очень сильно, но ни въ чемъ не упрекала князя, и не мѣшала ему избѣгать съ нею встрѣчъ, которыми онъ еще такъ недавно очень дорожилъ, и которыхъ такъ горячо всегда добивался. Она не ненавидѣла князя. Въ ея нѣжной душѣ оставалось къ нему то теплое, любовное чувство, которое иногда навсегда остается въ сердцахъ многихъ хорошихъ женщинъ къ нѣкогда любимымъ людямъ, которымъ онѣ обязаны всѣми своими несчастіями.

Анна Михайловна просила князя только навѣдываться повременамъ о ребѣнкѣ, пока его можно будетъ перевезть въ Россію, и тотчасъ послѣ похоронъ старой княгини уѣхала въ давно оставленное отечество.

Тутъ же она взяла изъ деревни Дорушку, увезла ее въ Петербургъ, открыла очень хорошенькій модный магазинъ и стала работать.

Личныя впечатлѣнія, произведенныя сестрами другъ на друга, были самыя выгодныя. Дорушка не была такъ образована, какъ Анна Михайловна; она даже съ великимъ трудомъ объяснялась пофранцузски, но была очень бойка, умна, искренна и необикновенно понятлива. Благодаря внимательности и благоразумію бездѣтной и очень прямо смотрѣвшей на жизнь жены управителя, у которой выросла Дора, она была развита не по лѣтамъ, и Анна Михайловна нашла въ своей маленькой сестрицѣ друга, уже способнаго понять всякую мысль и отозваться на каждое чувство.

Въ это время Аннѣ Михайловнѣ шелъ двадцатый, а Дорушкѣ пятнадцатый годъ. Труды и заботы Анны Михайловны вѣнчались полнымъ успѣхомъ: магазинъ ея пріобрѣталъ день ото дня лучшую репутацію, здоровье служило какъ нельзя лучше; Амуръ щадилъ ихъ сердца и не шевелилъ своими мучительными стрѣлами: нечего желать было больше.

Такъ прошло три года.

Въ эти три года Анна Михайловна не могла добиться отъ князя трехъ словъ о своемъ ребѣнкѣ, существованіе котораго не

было секретомъ для ея сестры, и рѣшилась ѣхать съ Дорушкой въ Парижъ, гдѣ мы ихъ и встрѣчаемъ.

Онѣ здѣсь пробыли уже около мѣсяца прежде, чѣмъ столкнулись въ Луврѣ съ Долинскимъ. Анна Михайловна во все это время никакъ не могла добиться аудіенціи у своего князя. Его то не было дома, то онъ не могъ принять ее. Къ Аннѣ Михайловнѣ онъ общалъ заѣхать и не заѣзжалъ.

— Очень милый господинъ! Вѣжливъ какъ сапожникъ, говорила Дорушка, непомѣрно раздражаясь на князя, котораго Анна Михайловна всякій день съ тревогою и нетерпѣніемъ дожидала съ утра до ночи, и все-таки старалась его оправдывать.

Наконецъ и Анна Михайловна не выдержала. Она написала князю самое убѣдительное письмо, послѣ котораго тотъ назначилъ ей свиданіе у Вашета.

Анну Михайловну очень удивляло, почему князь не могъ принять ее у себя и назначаетъ ей свиданіе въ ресторанѣ, но отъ него это была уже не первая обида, которую ей приходилось прятать въ карманъ. Анна Михайловна въ назначенное время отправилась съ Дорою къ Вашету. Дорушка спросила себѣ чашку бульону, и осталась внизу, а Анна Михайловна показала карточку, переданную ей лакеемъ князя.

Ее проводили въ небольшую, очень хорошо меблированную комнату въ бель-этажѣ.

Анна Михайловна опустилась на диванъ, на которомъ года четыре назадъ сидѣла веселая и довѣрчивая съ этимъ же княземъ, и вспомнилось ей многое, и стало ей и горько и смѣшно.

«Каково-то будетъ это свиданіе? подумала она съ грустной улыбкой.

«Поговоримъ о дѣлѣ, о нашемъ ребенкѣ, и пожелаемъ другъ другу счастливо оставаться.»

Въ дверь кто-то слегка постучался.

«Это его стукъ», подумала Анна Михайловна, и отвѣчала «войдите».

Вошелъ расфранченный господинъ, совершенно незнакомый Аннѣ Михайловнѣ.

— Вы госпожа Прохорова? спросилъ онъ ее чистѣйшимъ парижскимъ языкомъ.

— Я, отвѣчала она.

— Вамъ угодно было видѣть князя Сурскаго?

— Да, мнѣ нужно видѣть князя Сурскаго.

— Онъ не можетъ лично видѣться съ вами сегодня.

Анна Михайловна смѣшалась.

— Однако, надѣюсь, онъ пригласилъ меня сюда!

— Да, это онъ, который васъ пригласилъ сюда, но ручаюсь вамъ, madame, онъ здѣсь не будетъ. Вы вѣрно знаете — князь помолвленъ.

— Помолвленъ! нѣтъ, я этого не знала и не намѣрена искать чести узнавать его невѣсты, говорила торопясь и мѣшаясь Анна Михайловна.— Скажите мнѣ только одно: гдѣ и когда наконецъ я могу его видѣть на нѣсколько минутъ?

— Говоря по истинѣ, я полагаю, *никогда*, отвѣчала вскидывая голову французъ.— Князь много дѣлѣ такихъ покончилъ чрезъ меня, и теперь уполномочилъ меня переговорить и кончить съ вами. Я его камердинеръ—къ вашимъ услугамъ.

Французъ развязно поклонился.

— Я вамъ не вѣрю, отвѣчала вся вспыхнувъ Анна Михайловна.

Камердинеръ развернулъ свою записную книжечку и показалъ листокъ, на которомъ рукою князя было написано: «я уполномочилъ моего камердинера, господина Рено, войти съ госпожею Прохоровою въ переговоры, которыхъ она желаетъ».

— Гдѣ мой ребѣнокъ? рѣзко спросила, роняя изъ рукъ записную книжку, Анна Михайловна.

— Умеръ, больше двухъ лѣтъ назадъ, отвѣчалъ спокойно господинъ Рено.

— Такъ вы скажите вашему князю, что я только это и хотѣла знать, твердо произнесла Анна Михайловна и вышла изъ комнаты.

— Какая неслыханная дерзость! воскликнула Дора, когда сестра дрожа и давясь слезами рассказала ей о своемъ свиданіи.

— Онъ пустой и ничтожный человѣкъ, отвѣчала краснѣя Анна Михайловна и заплакала.

— О чемъ же, о чемъ это ты плачешь?... Тебя, честную женщину, выписываютъ въ кабакъ, въ трактиръ какой-то, довѣряютъ твои тайны какимъ-то французикамъ, лакеямъ, а ты плачешь! Развѣ въ такихъ случаяхъ можно плакать? Такой мерзавецъ можетъ вызывать только одно пренебреженіе, а не слезы.

— Не могу пренебрегать равнодушно.

— Ну, мсти!

— Я не умѣю мстить и не хочу. Я гадка сама себѣ, а онъ мнѣ просто жалокъ.

— Жалокъ!... Да, очень жалокъ... Я бы съ жалости ему разгрызла горло и плюнула бы въ глаза его лакею.

— Дора, оставь меня лучше въ покоѣ!

Доружка пожала плечами и они поѣхали въ томъ омнибусѣ, въ которомъ встрѣтились у св. Магдалины съ Долинскимъ, когда встревоженная Анна Михайловна обронила присланный ей изъ Москвы денежный вексель.

III.

Исторія въ другомъ родѣ.

Дѣдъ Долинскаго, полуполякъ, полумалороссіянинъ, былъ кievскимъ магистратскимъ войтомъ незадолго до потери этимъ городомъ привилегій, которыми онъ пользовался по магдебургскому праву. Войтъ Долинскій принадлежалъ къ старой городской аристократіи, какъ по своему роду, такъ и по почетному званію, и по очень хорошему, честно нажитому состоянію пользовался въ заднѣпровской Украинѣ очень почтенною извѣстностью и уваженіемъ. Стойкость, строгая справедливость и дальновидный дипломатическій умъ можно ставить главными чертами, способными характеризовать личность стараго войты. Сынъ такого отца, Игнатій Долинскій не наслѣдовалъ всѣхъ родительскихъ качествъ. Онъ былъ человѣкъ очень честный въ буржуазномъ смыслѣ этого слова, и даже неглупый, но лѣнивый, вялый, безпечный и ко всему всесовершенно равнодушный. Жена Игнатія Долинскаго, сиротка, выросшая «въ племянницахъ» въ одномъ русскомъ купеческомъ домѣ, принадлежала къ весьма немалочисленному разряду нашихъ съ дѣтства забытыхъ великорусскихъ женщинъ, остающихся на цѣлую жизнь безответными, сиротливыми дѣтьми и молитвенницами за затоловшій ихъ міръ божій. Игнатій Долинскій неспособенъ былъ разбудить въ своей безответно-доброй женѣ ни смѣлости, ни воли, ни энергіи. Выйдя замужъ и рожая дѣтей, она оставалась такимъ же сиротливымъ и безхитростнымъ ребѣнкомъ, какимъ была въ домѣ своего московскаго дяди и благодѣтеля. Жизнь въ Кіевѣ, на высокомъ Печерскѣ, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ златоверхой лавры, вѣчно полной богомольцами, стекающимися къ родной святынѣ отъ запада, и сѣвера, и моря, рельефнѣе всего выработала въ характерѣ Долинской одну черту, съ дѣтства спавшую въ ней въ зародышѣ. Съ каждымъ годомъ Ульяна Петровна Долинская становилась все

*

религіознѣе; постилась все строже, молилась больше; скорбѣла о людской злобѣ и не выходила изъ церкви или отъ бѣдныхъ. Нищіе, страннныя и убогіе были любимой средой Долинской, и въ этой исключительной средѣ ея робкая и чистая душа старалась скрываться отъ мірскихъ суетъ и тревоженій.

Деньги для Долинской никогда не имѣли никакой цѣны, а тутъ, отдаваясь съ лѣтами одной мысли о житіи по слову божію, она стала даже съ омерзеньемъ смотрѣть на всякое земное богатство. Ни одна монета не могла получаса пролежать въ ея карманѣ не перепрыгнувъ въ дырявую суму проползшаго тысячу верстъ мужичка или въ хату къ дѣтямъ пьянствующаго сосѣд-ремесленника. Рука Долинской давала и направо, и налѣво; мужъ смотрѣлъ на это филаретовское милосердіе совершенно спокойно. Онъ не только не удерживалъ ея безмѣрно щедрую руку, но даже одобрялъ такое распоряженіе имуществомъ.

— Моя Ульяна Петровна ангель, говорилъ онъ, благоговѣнно поднимая глаза къ небу:—она истинная христіанка, безсребреница, незлобивая.

Такъ и шли дѣла, пока состоянія, оставленнаго войтомъ, доставало на удовлетвореніе щедрости его невѣстки; но наконецъ въ городѣ стали замѣчать, что Долинскіе «начали приупадать», а еще немножко—и семья Долинскихъ ужъ вовсе не считалась зажиточною. Ульяна Петровна все шла своею дорогою. Дѣтей у Долинскихъ было трое: два сына: Аристархъ и Несторъ и дочь Леокадія. Росли эти дѣти на полной свободѣ: мать и отецъ были съ ними очень нѣжны, но не дѣлали дѣтское воспитаніе своею главною задачею. Изъ дѣтей, однако, не выходило ничего дурнаго: они росли дѣтьми нѣжными, дружными и ласковыми. Ульяна Петровна любила ихъ всѣхъ равно, одною чисто-евангельскою любовью, но ближе двухъ другихъ къ ней былъ Несторъ. Этотъ очаровательно-красивый мальчикъ былъ страшно привязанъ къ своей благочестивой матери и вслѣдствіе этой страстности самъ пристрастился къ ея образу жизни и занятіямъ. Торопливо протирая сонныя глазенки, вскакивалъ онъ при первомъ движеніи матери о полуночи; стоя на колѣняхъ, лепеталъ онъ за нею слова вдохновенныхъ молитвъ Сирина, Дамаскина, и шатаясь выстаивалъ долгій часъ монастырской полунощницы. И такъ всякій день. Весь домъ, наполненный и истинными, и лукавыми «людьми божьими», спитъ безмятежнымъ сномъ, а какъ только раздается въ двѣнадцать часовъ первый звукъ лаврскаго палеелейнаго колокола, Несторъ съ ма-

терью становятся на колѣна и молятся долго, тепло, со слезами молятся «о еже спастися людямъ и въ разумъ истинный внидти».

Подкрѣпленная усердной молитвой, Ульяна Петровна въ три часа ночи снова укладывала Нестора въ его постельку, и сама спускалась въ кухню, и съ этой ранней поры тамъ начиналось стряпанье ежедневно на сорокъ человѣкъ нуждающихся въ пищѣ. Съ шести часовъ утра въ домѣ Долинскихъ уже пили и ѣли, а Ульяна Петровна съ этого часа позволяла себѣ снова искать своей духовной пищи. Сходятъ они съ Несторомъ въ лавру, въ Великую церковь, или на Пещерахъ, поклонятся останкамъ древнихъ христіанскихъ подвижниковъ, найдутъ по дорогѣ кого нибудь немощнаго или голоднаго, возьмутъ его домой, покормятъ, пріютятъ и утѣшатъ. Приходить къ чаю какой-нибудь странникъ, иногда немножко изувѣръ, немножко лгунъ, немножко фанатикъ, а иногда и этакой простой, чистый и поэтически вдохновенный русскій экземпляръ, который не помнитъ, какъ и почему еще съ самаго ранняго дѣтства —

Имъ овладѣло безпокойство
Охота въ перемѣнѣ мѣсть,
Весьма мучительное свойство
И многихъ добровольный крестъ.

Идутъ здѣсь рассказы о разныхъ чудесныхъ мѣстахъ и еще болѣе чудесныхъ событіяхъ. Горы, доли, темные лѣса дремучіе, подземныя пещеры, мрачныя и широкія безпредѣльныя степи съ ковылемъ-травой, легкимъ перекасти-полемъ и божьей птицей аистомъ «змѣеистребителемъ», все это такъ и рисуется въ воображеніи съ рассказовъ обутаго въ лапотки «человѣка божія», а надо всѣмъ надъ этимъ серьезно возвышаются сухіе, строгіе контуры схимниковъ, и еще выше лучезарный ликъ св. Николая «скараго въ бѣдахъ помощника», Георгій на бѣломъ какъ кипѣнь конѣ, рѣющій въ высокомъ голубомъ небѣ, и наконецъ выше всего этого свѣтъ, тотъ свѣтъ невечерній, размышленіе о которомъ обнимаетъ вѣрующія души блаженствомъ и трепетомъ.

Наслушавшись такихъ рѣчей, Ульяна Петровна велитъ себѣ запречь одноколочку, садится съ Несторомъ и ѣдетъ въ Китаевъ, или въ Голосеевъ. Выѣдетъ Ульяна Петровна за городъ, пахнетъ на нее съ Дѣтпра вѣчной свѣжестью, и она вдругъ оживится, почувствовавъ ласкающее дыханіе свободной природы, но влѣво пробѣжитъ по зеленой муравкѣ сѣрый дымокъ, раздастся взрывъ саперной мины, или залпъ ружей въ лѣтнихъ баракахъ—и Ульяна

Петровна вся такъ и замретъ. Не слабонервный страхъ, а какой-то ужасъ духовный охватываетъ ее при мысли о враждѣ человѣческой, о силѣ и разрушеніи. То же самое чувствовала она при разсказѣ о всякомъ преступленіи. «Богъ съ ними! Богу судить зло человѣческое, а не людямъ. Это не нами, не нашими руками создано, и не нашимъ умомъ судится», говорила она, и никогда въ цѣлую свою жизнь не высказала ни одного осужденія, никогда не хотѣла знать, если у нея чтонибудь крали.

— Никто не укралъ; зачѣмъ обижать человѣка! Взялъ кому нужно было; ну, и пошли ему Богъ на здоровье, отвѣчала она на жалобы слугъ, доводившихъ ей о какой-нибудь пропажѣ.

Кончилось тѣмъ, что «припадавшій» домъ Долинскихъ упалъ и разорился совершенно. Игнатій Долинскій покушалъ спѣлыхъ дынь-дубовокъ, легъ соснуть, всталъ часа черезъ два съ жестокою болью въ желудкѣ, а къ полуночи умеръ. Съ него распочалась въ городѣ шедшая съ сѣверо-запада холера. Ульяна Петровна схоронила мужа, не уронивъ ни одной слезы на его могилѣ, и дѣтямъ наказывала не плакать.

— Зачѣмъ, говорила она:—его друга нашего смущать нашими глупыми слезами? Пусть тихъ и миренъ будетъ путь его въ селенія праведныхъ.

Точно Офелія, эта шекспирова «божественная нимфа» съ своею просьбою не плакать, а молиться о немъ, Ульяна Петровна совсѣмъ забыла о мірѣ. Она молилась о мужѣ сама, заставляла молиться за него другихъ, ѣздила исповѣдывать грѣхи своей чистой души къ схимникамъ китаевской и голосеевской пустыни, молилась у кельи извѣстнаго провидца Пароенія, отъ которой вдалекѣ былъ видѣнъ весь городъ, унывшій подъ тяжелою тучею налетѣвшей на него невзгоды.

Картина была непріятная, сухая и зловѣщая: стоявшая въ воздухѣ сѣрая мгла задерживала все небо чернымъ, траурнымъ куполъ; солнце висѣло на западѣ безъ блеска, какъ ломоть печеной рѣпы съ пригорѣлыми краями и тускло мѣдной серединой; съ пожелтѣвшихъ заднѣпровскихъ луговъ не прилетало ни одной ароматной струи свѣжаго воздуха, и вмѣсто запаха чебреца, меруники, богородицкой травы и горчавки, оттуда доносился тяжелый, пропаленный запахъ, какъ будто тамъ гдѣ-то тлѣло и дымилось несметное количество слегаго сѣна.

— Будетъ молиться, Ульянушка; пора тебѣ собираться въ

путь, сказалъ Ульянѣ Петровнѣ заставшій ее на вечерней молитвѣ старецъ.

Ульяна Петровна растолковала себѣ эти слова по своему. Она посмотрѣла въ угасшіе очи отшельника, поклонилась ему до земли, вернулась домой, отговѣлась въ лаврѣ, причастилась въ пещерѣ св. Антонія, потомъ особоровалась и черезъ день скончалась. Съ нею и прекратилась въ городѣ холера.

Дѣти Долинскихъ остались одни, съ однимъ деревяннымъ домомъ, обремененнымъ тяжелыми долгами. Аристархъ, шестнадцати лѣтъ, пошелъ служить къ купцу; сестру Леокадію взяла тѣтка и увезла куда-то къ Ливнамъ, а Нестора, имѣвшаго четырнадцать лѣтъ, призрѣлъ дядя, бѣдный братъ Ульяны Петровны, добившійся каѳедры въ московскомъ университетѣ. Братъ Ульяны Петровны былъ человекъ и добрый, и ученый, но слабый характеромъ, а жена его была недобрая женщина, пустая и тщеславная. Въ этомъ домѣ Несторъ Долинскій только началъ учиться. Двадцати-одного года онъ окончилъ курсъ гимназій, двадцати-пяти вышелъ первымъ кандидатомъ изъ университета и тотчасъ поступилъ старшимъ учителемъ въ одну изъ московскихъ гимназій, а двадцати-семи женился самымъ неудачнымъ образомъ.

Несторъ Игнатьевичъ Долинскій во многихъ своихъ сторонахъ вышелъ очень страннымъ человекомъ. Никто не сомнѣвался, что онъ человекъ очень умный, чувствительный, но никто бы не умѣлъ продолжать его характеристику далѣе этихъ общихъ опредѣленій.

— Мой Сторя будетъ истинный пнокъ божій, говаривала часто его мать, поглаживая сына по головкѣ, обрекаемой подъ черный клобукъ.

Можетъ быть, покойная Ульяна Петровна и не ошибалась. Можетъ быть, ея кроткій красавецъ-сынъ и точно болѣе всего обладалъ качествами, нужными для сосредоточенной, самосозерцательной и молитвенной жизни, которую нашъ народъ считаетъ приличною истинному пночеству. Онъ вѣроятно могъ быть хорошимъ проповѣдникомъ, утѣшителемъ и наставникомъ страждущаго человечества, которому онъ съ ранняго дѣтства привыкъ служить, подъ руководствомъ своей матери, и которое оставалось ему навсегда близкимъ и понятнымъ; къ людскимъ неправдамъ и порокамъ онъ былънисходятеленъ не менѣе своей матери, но страстная религіозность его дѣтскихъ лѣтъ скоро

прошла въ домѣ дяди. Онъ былъ, что у насъ называется, «человѣкъ разноплетенный». Нарушаемый извнѣ міръ своего внутреннего я, онъ не умѣлъ врачевать молитвой, какъ его мать, но онъ и самъ ничего не отстаивалъ, ни за что не бился крѣпко. Онъ никогда не жаловался ни на что ни себѣ, ни людямъ, а огорченный чѣмъ нибудь только уходилъ къ общей нашей матери-природѣ, которая всегда умѣетъ въ мѣру успокоить оскорбленное эстетическое чувство, или возстановить разрушенный міръ съ самимъ собою. Жизнь въ одномъ домѣ съ придирчивой, мелочной и сварливой женой дяди заставляла его часто лечить свою душу, возмущавшуюся противъ несправедливыхъ и неделикатныхъ поступковъ ея въ отношеніи мужа.

Въ какой мѣрѣ это портило характеръ Нестора Игнатьевича, или способствовало лучшей выработкѣ однѣхъ его сторонъ насчетъ угнетенія другихъ — судить было невозможно, потому что Долинскій почти не жилъ съ людьми; но онъ самъ часто вздыхалъ и ужасался, считая себя человѣкомъ совершенно неспособнымъ къ самостоятельной жизни. Сильно поразившая его, послѣ чистаго права матери, вздорная мелочность дядиной жены, развила въ немъ тоже своего рода мелочную придирчивость ко всякой людской мелочи, откуда пошла постоянно сдерживаемая раздражительность, глубокая скорбь о людской порочности въ постоянной борьбѣ съ снисходительностью и любовью къ человѣчеству, и наконецъ, болѣзненный разладъ съ самимъ собою, во всемъ мучительная нерѣшимость — безволие. Это послѣднее свойство своего характера, Долинскій очень хорошо сознавалъ, и оно-то приводило его въ совершенное отчаяніе. Во что бы то ни стало, онъ хотѣлъ быть сильнымъ господиномъ своихъ поступковъ и самымъ безжалостнымъ образомъ заставлялъ свое сердце приносить самыя тяжелыя жертвы не разуму, а именно рѣшимости выработать въ себѣ волю и рѣшимость. Эти экспериментальныя упражненія надъ собою до такой степени забили Нестора Долинскаго, что, классифицируя свое желаніе, онъ уже затруднялся разбирать, хочетъ ли онъ чего нибудь потому, что этого ему хочется, или потому, что онъ долженъ этого хотѣть. Это его страшно пугало. Два-три страшныхъ случая, въ которыхъ онъ, преслѣдуя свою задачу, въ одно и то же время поступалъ наперекоръ и своей волѣ, и своимъ желаніямъ, повергли его въ глубокую апатію—у него развивалась мизантропія.

Въ это время изъ самаго хлѣбороднаго уѣзда хлѣбороднѣй-

шей губерніи въ разлатомъ цыновочномъ возкѣ приплыло въ Москву почтенное семейство мелкопомѣстныхъ дворянъ Азовцовыхъ. Новоприбывшая фамилія состояла изъ матери, толстомясой барыни съ сѣдыми волосами, румянымъ лицомъ, черными корнетскими усиками и живыми черными же, барсучьими глазами, напоминающими, впрочемъ, болѣе глаза сваренаго рака. Потомъ здѣсь были двѣ дѣвушки, дочери, Юлія и Викторина. Викторинѣ всего шестъ пятнадцатый годъ, и о ней не стоитъ распространяться. Довольно сказать, что это было довольно милое и сердечное дитя, изъ котораго, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, могла выйти весьма милая женщина. Старшей ея сестрѣ Юліи было полныхъ девятнадцать лѣтъ. Это была небольшая, черненькая фигурка, некрасивая, неказистая, несимпатичная, такъ себѣ, какъ въ сказкѣ сказывается, «дѣвка-чернявка», или какъ народъ говоритъ, «птица-пиголица». Нравъ у этой чернявки былъ самый гнусный: хитра, предательски ехидна, самолюбива, жадна, мстительна, требовательна и жестокосерда. Притомъ каждаго изъ этихъ почтенныхъ свойствъ въ ней находилось по самой крупной дозѣ.

При столь почтенныхъ свойствахъ характера, «дѣвица-чернявка» была довольно неглупа. Ее нельзя было назвать особенной умницей, но она несомнѣнно владела всѣми тѣми способностями ума, которыя нужны для того, чтобы хитрить, чтобы расчищать себѣ въ жизни дорожку и сдвигать съ нея другихъ самымъ тихимъ и незамѣтнымъ манеромъ. Справедливость требуетъ сказать, что у чернявки когда-то, хоть очень давно, хоть еще въ раннемъ дѣтствѣ, въ натурѣ было что-то доброе. Такъ она, напримѣръ, не могла видѣть, какъ бьютъ лошадь или собаку, и способна была заплакать при извѣстіи, что застрѣлился какойнибудь молодой человѣкъ, особенно если молодому человѣку благоразумно вздумалось застрѣлиться отъ любви, но... но сама любить когонибудь, или что-нибудь кромѣ себя и денегъ... этого Юлія Азовцова не могла, не умѣла, и не желала. У нея бывали и друзья, которые не могли имѣть при ней никакого значенія. Одинъ такой ея другъ, нѣкая бѣдная купеческая дѣвушка Устинька, цѣлые годы служила Юліи Азовцовой для сбрасыванія на нее всякаго сору и гадостей, и благодаря ей невинно утратила репутацію, столь важную въ узенькомъ кружкѣ бѣднаго городишка.

Обстоятельства, при которыхъ протекало дѣтство, отрочество

и юность Юліи Азовцовой, были таковы, что рассматриваемая нами особь, подходя къ данной порѣ своей жизни, не могла выйти ничѣмъ инымъ, какъ тѣмъ, чѣмъ она нынѣ рекомендуется снисходительному читателю. Она съ самаго ранняго дѣтства была полицею и кормилицею цѣлой семьи, въ которой, кромѣ матери и сестры, были еще грызуны въ видѣ разбитаго параличомъ и жизнью отца и двухъ младшихъ братьевъ. Состояніе Азовцовыхъ заключалось въ небольшомъ наслѣдственномъ хуторѣ, въ которомъ, по мѣстному выраженію, было «два двора-гончара, а третій—тетеречникъ». Объ отцѣ Юліи Азовцовой съ гораздо большею основательностію чѣмъ о мужѣ слесарши Пошлепкиной можно было сказать, что онъ рѣшительно «никуда негодился». Мать ея, у которой, какъ выше замѣчено, были черные рачьи глаза навыватѣ и щегольскіе корнетскіе уски, называлась въ своемъ уѣздѣ «матроской». Она довольно побилась съ своимъ мужемъ, опредѣляя и перемѣщая его съ мѣста на мѣсто, и наконецъ, произведя на свѣтъ Викториночку, бросила супруга въ его хуторномъ тетеречникѣ и перевезла весь свой приплодъ въ ближайшій губернскій городъ, гдѣ въ то святое и приснопамятное время содержалъ винный откупъ человѣкъ, извѣстный нѣкогда своимъ богатствомъ, а нынѣ—позоромъ и безславіемъ своихъ дѣтей. Бабушка этого богача съ бабушкою «матроски», какъ говорятъ, на одномъ солнышкѣ чулочки сушили, и въ силу этого сближающаго обстоятельства «матроска считала богача своимъ дядинькой. Радостно срѣтая нѣкогда его комерческое восхождение, она упросила его быть воспріимнымъ отцомъ Юлиньки. Комерческая двойка, влѣзавшая въ то время въ онѣрную фигуру, была честолюбива, какъ всѣ подобныя двойки, но еще не заѣлась поклоненіями, была, такъ-сказать, довольно ручна и великодушно снизошла на матроскину просьбу. Въ фигурѣ валета эта добродѣтельная карта сдѣлалась матроскинымъ дядей и кумомъ, а когда три ограбленные валетомъ губерніи произвели его въ тузы, матроска, безъ всякихъ средствъ въ жизни, явилась въ его резиденцію. Главнымъ и единственнымъ ея средствомъ въ это время была «Юлочка», и Юлочка цѣною собственнаго глубокаго нравственнаго развращенія вывезла на своихъ дѣтскихъ плечахъ и мать, и отца, и сестру, и братьевъ. Маленькою, пятилѣтнею дѣвочкой, всю въ завиточкахъ, въ коротенькомъ платьицѣ и обшитыхъ кружевцами панталончикахъ, матроска отвела ее въ вертепъ откупного туза, и научила, какъ она должна плакать, какъ

притворяться слабой, какъ ласкаться къ тузу, какъ льстить его тузихѣ, какъ уступать во всемъ тузенатамъ. Выпущенная къ рампѣ, Юлочка съ перваго же раза обнаружила огромныя дипломатическія и сценическія дарованія. Она лгала, какъ историкъ, и вернулась домой съ тысячею рублей. Съ этихъ поръ Юлочка была запродана ненасытному мамону и, вѣрно, поработала ему до седьмого пота. Начавшееся съ этихъ поръ христорадничанье и нищebroдство Юлочки не прекращалось до того самаго дня, въ который мы встрѣчаемъ ее въѣзжающую въ разлатомъ возкѣ съ сестрою, матерью и младшимъ братомъ Петрушей въ Москву. Много дѣвка-чернявка натерпѣлась обидъ и горя въ своей нищebroдной жизни! Обижала ее и сухая, жесткая тузиха, и надменные тузенята, и лакеи, и большая меделанская собака Выдра, имѣвшая привычку поднимать лапу на каждого, кто боялся прогнать ее предъ очами самого туза. Юлочка глотала слезы, глядя на свое свѣженькое платьице, безпощадно испорченное Выдрою, но все сносила терпѣливо. Благодѣтель замѣчалъ это и дарилъ Юлочкѣ за одно испорченное платьице пять новыхъ, но за то тузиха и тузенята называли ее *тумбочкой* и вообще дѣлали предметомъ самыхъ злобныхъ насмѣшекъ. Юлочка все это слагала въ своемъ сердцѣ, ненавидѣла надменныхъ богачей и кланялась имъ, унижалась, лизала ихъ руки, лгала имъ, лгала матери, стала низкою, гадкою лгуньею; но очень долго никто не замѣчалъ этого, и даже сама мать, которая учила Юлочку лгать и притворяться, кажется, не знала, что она изъ нее дѣлаетъ; и она только похваливала ея умъ и расторопность. Духовнаго согласія у матери съ дочерью, впрочемъ, вовсе не было. Оба эти паразиты составляли плотный союзъ только тогда, когда дѣло шло объ томъ, чтобы тѣмъ или инымъ ловкимъ фортелемъ вымозжить что-нибудь у своихъ благодѣтелей. Въ остальное же время они нерѣдко были даже открытыми врагами другъ другу: Юла мстила матери за свои униженія — та ей не вѣрила, вида, что дочь начала далеко превосходить ее въ искусствѣ лгать и притворяться. Вообще довольно смѣлая и довольно наглая матроска была, однако, недостаточно дальновидна и очень изумилась, замѣчая, что дочь не только пошла далѣе ея, не только употребляетъ противъ нея ея же собственное оружіе, но даже самое ее матроску дѣлаетъ своимъ оружіемъ. Вдругъ туза стукнулъ кандрашка; все неожиданно перевернулось, съѣхавшіеся изъ Москвы и Питера сыновья и дочери откупщика смотрѣли насмѣш-

ливо на неутѣшныя слезы матроски съ Юлою и отдѣлили имъ изъ всего отцовскаго наслѣдства остальные визитныя карточки покойнаго, да еще что-то въ родѣ трехъ стаметовыхъ юбокъ. Видя, что съ визитными карточками да тремя стаметовыми юбками на этомъ бѣломъ свѣтѣ немного можно подѣлать, матроска, по совѣту Юлочки, снарядила возокъ и дернула въ бѣлокаменную, гдѣ прочною, ослѣдностью жили трое изъ дѣтей покойнаго благодѣтеля. Ъхали наши паразиты съ тѣмъ, чтобы такъ не такъ, а ужъ какъ-нибудь, что-нибудь да вымозжить у наслѣдниковъ, или по крайней-мѣрѣ, добиться, чтобы они пристроили Викториночку и Петрушу.

— Я скажу имъ: помилуйте, вашъ отецъ—мой дядя; вотъ его крестница; вамъ будетъ стыдно, если ваша тѣтка съ просительнымъ письмомъ по нумерамъ пойдетъ. Должны дать; не могутъ не дать, каналы! рассказывала она, собираясь идти къ тузовымъ дѣтямъ.

Юлочка молчала. Она вѣрила, что мать можетъ что-нибудь вымозжить, но ей-то Юлочкѣ въ этомъ было очень немного радости. Ей нужно было что-то совсѣмъ другое, болѣе прочное и самостоятельное. Она любила богатство и въ глаза величала тѣхъ богачей, отъ которыхъ можно было чѣмъ-нибудь пощетиться; но въ душѣ она не терпѣла всѣхъ, кто родомъ, племенемъ, личными достоинствами и особенно состояніемъ былъ поставленъ выше и виднѣе ея, а выше и виднѣе ея были почти всѣ. Юлочка понимала, что ей нуженъ прежде всего мужъ. Она знала, что въ своихъ мѣстахъ, на ней, «попрошайкѣ», нищей, не женится никто, ибо такого героизма она не подозрѣвала въ своихъ мѣстныхъ кандидатахъ на званіе мужей, да ей и ненужны были герои, точно такъ же какъ ей не годились люди очень мелкіе. Ей нуженъ былъ человѣкъ, которымъ можно было бы управлять, но котораго все-таки и не стыдно было бы назвать своимъ мужемъ; чтобы онъ для всѣхъ казался человѣкомъ, но чтобы въ то же время его можно было сдѣлать слѣпымъ и безотвѣтнымъ орудіемъ своей воли.

Такимъ человѣкомъ ей показался Несторъ Игнатьевичъ Долинскій, и она перевѣнчала его съ собою.

Происшествіе это случилось съ Долинскимъ въ силу все той же его доброты и извѣстной, несчастной черты его характера.

Дѣла Азовцовыхъ устроились. Петрушу благодѣтели опредѣлили въ пансіонъ; на воспитаніе Викторинушки они же ассигнова-

ли по триста рублей въ годъ, и на житѣ самой матроски съ крестницей покойника назначили по шестисотъ. Азовцовы, заручившись такой благодатью, однако не поѣхали назадъ, а рѣшились оставаться въ Москвѣ. Онѣ знали, что «благодѣтели» отъ природы народъ разсѣянный, вѣтренный, забывчивый и требующій понужденія. Юлія Азовцова растолковала матери, что Викторинушка ужъ велика, чтобы ее отдавать въ пансіонъ; что можно найти просто какого-нибудь недорогого учителя далеко дешевле чѣмъ за триста рублей и учить ее дома. «Такимъ образомъ, говорила она, вы сдѣлаете экономію, и благодѣтели наши будутъ покойны, что деньги употребляются на то самое, на что онѣ даны.»

При этихъ соображеніяхъ вспомнили о братѣ Леонадіи Долинской, съ которой Юлія была знакома по губернской жизни. Нестора Игнатьевича отыскиали; наговорили ему много милаго о сестрѣ, которая только съ полгода вышла замужъ; рассказали ему свое горе съ Викторинушкой, которая такъ запоздала своимъ образованіемъ, и просили посовѣтовать имъ хорошаго наставника. Вѣчно готовый на всякую услугу, Долинскій тотчасъ же предложилъ въ безвозмездные наставники Викторинѣ самого себя. Матроска было-начала жеманиться, но Юлія быстро встала, подошла къ Долинскому, съ одушевленіемъ сжала въ своихъ рукахъ его руку и съ глазами, полными слезъ, торопливо вышла изъ комнаты. Она казалась очень растроганною. Матроску это даже чуть-было не сбilo съ такту.

— Такъ, моя милѣйшая, нельзя-съ держать себя, говорила она, проводивъ Долинскаго, Юлочкѣ.—Здѣсь не губернія, и особенно съ этимъ человѣкомъ... Мы знакомы съ его сестрой, такъ должны держать себя съ нимъ совсѣмъ на другой ногѣ.

— Не беспокойтесь, пожалуйста; знаю я, на какой ногѣ себя съ гѣмъ держать, отвѣчала Юлія.

Долинскій началъ заниматься съ Викторинушкой и понемногу становился близкимъ въ семействѣ Азовцовыхъ. Юлія находила его очень удобнымъ для своихъ плановъ и всячески старалась разгадать, какъ слѣдуетъ за него братья вѣрнѣе.

— Кажется, на поэзію прихрамливаетъ! заподозрѣла она его довольно скоро, разумѣя подъ словомъ *поэзія* именно то самое, что разумѣютъ подъ этимъ словомъ практическіе люди, признающіе только то, во что можно пальцемъ ткнуть. Заподозрѣла Юлія этотъ порокъ за Долинскимъ и стала за нимъ приглядывать. Сидитъ Долинскій у Азовцовыхъ молча передъ топящеюся печкою, Юлія

тихо взойдетъ неслышными шагами, тихо сядетъ и сидитъ молча, не давая ему даже чувствовать своего присутствія. Долинскій встанетъ и извиняется. Это повторилось два-три раза.

— Пожалуйста, не извиняйтесь; я очень люблю сидѣть вдвоемъ и молча.

Долинскій конфузился. Онъ вообще былъ очень застѣнчивъ съ женщинами и робѣлъ предъ ними.

— Этакъ я не одна, и между тѣмъ никому не мѣшаю, мечтательно досказала Юля.—Вы знаете, я ничего такъ не боюсь въ жизни, какъ быть кому-нибудь помѣхою.

— Этого, однако, я думаю, очень нетрудно достигнуть, отвѣчалъ Долинскій.

— Да, нетрудно, какъ вы говорите, но и не всегда: часто по-неволѣ долженъ во что-нибудь вмѣшиваться и чему-нибудь мѣшать.

— Вы пожалуйста не подумайте, что эти слова имѣютъ какой-нибудь особый смыслъ! Я, право, такъ глупо это сказала.

Юлочка улыбнулась.

— Нѣтъ, я... ничего не думаю, отвѣчалъ Долинскій.

— То-то, ужъ хоть бы намъ не мѣшали, а то гдѣ намъ грѣшнымъ! замѣчала съ тою же снисходительною улыбкой Юлія.

Въ такихъ невинныхъ бесѣдахъ Юлія тихо и незамѣтно шла къ сближенію съ Долинскимъ, заявляясь ему особенно со стороны смиренства и благопокорности. Долинскій кромѣ матери и тѣтки да сестры не зналъ женщинъ. Юлочка была первая сторонняя женщина, обратившая на него свое вниманіе. Юліи и это обстоятельство было извѣстно, и его она тоже приняла къ свѣдѣнію и надлежащему соображенію. Тонкостей особенныхъ, значить, было не надо и онѣ могли оказать болѣе вреда, чѣмъ пользы. Нуженъ былъ одинъ ловкій подводъ, а затѣмъ смѣлая варіація позфектнѣе, и дѣло должно удался.

Не прошло двухъ мѣсяцевъ со дня ихъ перваго знакомства, какъ Долинскій сталъ находить удовольствіе сидѣть и молчать вдвоемъ съ Юліей; еще долѣе они стали незамѣтно высказывать другъ другу свои молчаливыя размышленія и находить въ нихъ стройную гармонію. Долинскій, напримѣръ, вспоминалъ о своей благословенной Украинѣ, о старомъ Днѣпрѣ, о наклонившихся крестахъ Аскольдовой могилы, о набережной часовнѣ Видубецкаго монастыря и музыкальномъ гулѣ лаврскихъ колоколовъ. Юлочка тоже и себѣ начинала упражняться въ поэзіи: она взду-

мала о кисельныхъ берегахъ своей мелкопомѣстной Тускари и гнилоберегой Неручи, о ракиткахъ, подъ которыми въ полдневный жаръ отдыхаютъ идущіе въ отпускъ отечественные воины; о кукушкѣ, кукующей въ губернаторскомъ саду, и бѣломъ купидонѣ, плачущемъ на могилѣ откупщика Сыропятова, и о прочихъ симъ подобныхъ поэтическихъ прелестяхъ. Если истинная любовь къ природѣ рисовала въ душѣ Долинскаго впечатлѣнія болѣе глубокія, если его поэтическая тоска о незабвенной украинской природѣ была на столько сильнѣе дѣланной тоски Юліи, на сколько грандіозныя и поражающія своимъ величіемъ картины его края сильнѣе тщедушныхъ, неизмѣнныхъ, черноземно-вязкихъ картинъ, по которымъ проводила молочныя воды въ кисельныхъ берегахъ подшпоренная фантазія его собесѣдницы, то за то въ этихъ кисельныхъ берегахъ было такъ много топкихъ мѣстъ, что Долинскій не замѣчалъ, какъ ловко тускарскіе пауки затягивали его со стороны великодушія, состраданія и ихъ непонятыхъ высокихъ стремленій. Юлочка зорко слѣдила за своею жертвою, и наконецъ, послѣ одной бесѣды о любви и о Тускари, рѣшила, что ей пора и на приступъ. Вскорѣ послѣ такого рѣшенія, въ одинъ несчастливѣйшій для Долинскаго вечеръ, онъ засталъ Юлію въ самыхъ неутѣшныхъ, горькихъ слезахъ. Какъ онъ ее ни разспрашивалъ съ самымъ теплѣйшимъ участіемъ—она ни за что не хотѣла сказать ему этихъ горькихъ слезъ. Такъ это дѣло и прошло, и кануло, и забылось, а черезъ мѣсяцъ въ домѣ Азовцовыхъ появилась пожилая благородная дѣвушка Аксинья Тимофеевна, и тутъ вдругъ, съ рѣчей этой злополучной Аксиньи Тимофеевны оказалось, что Юлія давно благодѣтельствовала этой дѣвушкѣ втайнѣ отъ матери, и что горькія слезы, которыя мѣсяцъ тому назадъ у нея замѣтилъ Долинскій, были пролиты ею Юліею отъ оскорбленій, сдѣланныхъ матерью за то, что она, Юлія, движимая чувствомъ состраданія, чтобы выручить эту самую Аксинью Тимофеевну, отдала ей заложить свой единственный мѣховой салонъ, сдѣланный ей благодѣтелями. Выстрѣлъ попалъ въ цѣль. Съ этихъ поръ Долинскій сталъ серьезно задумываться о Юлочкѣ и измышлять различныя средства, какъ бы ему вырвать столь достойную дѣвушку изъ столь тяжелаго положенія.

Выпущенная по красному звѣрчу Аксинья Тимофеевна шла верхнимъ чутъемъ и работала какъ нельзя лучше; заложенная шуба тоже служила Юліи не хуже, какъ Кречинскому его бычокъ, и тепло прогрѣвала безхитростное сердце Долинскаго. Юлія Азовцо-

ва, обозрѣвъ поле сраженія и сообразивъ силу своей тактики и орудій съ шаткою позиціею атакованнаго непріятеля, совершенно успокоилась. Теперь она не сомнѣвалась, что какъ по нотаѣ разыграетъ всю свою хитро-скомпанованную пьесу.

— Нашла дурака, думала матроска, и молчала выжидая, что изъ всего этого отродится.

— Это агнецъ кроткій въ стадѣ козлемъ, шептала Долинскому Акинья Тимофеевна, указывая при всякомъ удобномъ случаѣ на печальную Юлію.

— И нѣтъ достойной души, которая исторгла бы этого ангела, говорила она въ другой разъ.—Подлые все нынче люди стали, интересаны.

Пятаго декабря (многими замѣчено, что это — день особенныхъ несчастій) вечеромъ Долинскій завернулъ къ Азовцовымъ. Матроски и Викторинушки не было дома, онѣ пошли ко всенощной, одна Юлія ходила по залѣ, прихотливо освѣщенной краснымъ огнемъ разгорѣвшихся въ печи дровъ.

— Что вы это... хандрите, кажется? спросилъ ее садясь противъ печки Долинскій.

— Нѣтъ, Несторъ Игнатьевичъ... некогда мнѣ хандрить; у меня настоящаго горя...

Юлочка прервала рѣчь проглоченною слезою.

— Что съ вами такое? спросилъ Долинскій.

Юлія сѣла на диванъ и закрыла платкомъ лицо. Плечи и грудь ее подергивались, и было слышно, какъ она силится удержать рыданія.

— Да что съ вами? что у васъ за горе такое? добивался Долинскій.

Раздались рыданія менѣ сдержанныя.

— Не подать ли вамъ воды?

— Д... д... да... й... те, судорожно захлебываясь, произнесла Юлочка.

Долинскій пошелъ въ другую комнату и вернулся съ свѣчою и стаканомъ воды.

— Погасите пожалуйста свѣчу, не могу смотрѣть, простонала Юлія, не отнимая платка.

Долинскій дунулъ, и картина осталась опять при одномъ красномъ, фантастическомъ полусвѣтѣ.

— А, а, ахъ! вырвалось изъ груди Юліи, когда она стпила пол-стакана и откинулась съ закрытыми глазами на спинку дивана.

— Вы успокойтесь, проронилъ Долинскій.

— Могила меня одна успокоитъ, Несторъ Игнатьичъ.

— Зачѣмъ все представлять себѣ въ такомъ печальномъ свѣтѣ?
Юлія плакала тихо.

— Полжизни, кажется, дала бы, говорила она тихо и не спѣша:—
чтобъ только хотъ годъ одинъ, хотъ полгода... чтобъ только уйдти
отсюда, хотъ въ омутъ какой-нибудь.

— Ну, что же, подождите, мы поищемъ вамъ мѣста. О чемъ
же такъ плакать?

— Нигуда меня, Несторъ Игнатьичъ, не пустятъ: нечего объ
этомъ говорить, произнесла, сдѣлавъ горькую гримасу, Юлія, и
хлебнувъ глотокъ воды, опять откинулась на спинку дивана.

— Отчего же не пустятъ?

Юлія истерически засмѣялась и опять поспѣшно проглотила
воды.

— Отъ любви... отъ нѣжной любви... къ... къ... арендной
статѣ, произнесла она, прерывая свои слова порывами къ исте-
рическому смѣху, и выговоривъ послѣднее слово, захохотала.

Долинскій сорвался съ мѣста и бросился къ дверямъ въ сто-
ловую.

— Ос... остань... останьтесь! торопливо процѣдила заикаясь
Юлія.

— Это такъ... нич... ничего. Позвольте мнѣ еще воды.

Долинскій принесъ изъ столовой другой стаканъ; Юлія выпила
его залпомъ и опять приняла свое положеніе.

Минутъ десять длилась пауза. Долинскій тихо ходилъ по ком-
натѣ, Юлія лежала.

— Боже мой! Боже мой! шептала она... хотъ бы...

— Чего вамъ такъ хочется? спросилъ остановившись передъ
ней Долинскій.

— Хотъ бы будочникъ какой женился на мнѣ, докончила Юлія

— Какія вы нынче странности, Юлія Петровна, говорите!

— Чтѣ жъ тутъ, Несторъ Игнатьичъ, страннаго? Я очень хоро-
шо знаю, что на мнѣ ни одинъ порядочный человѣкъ не можетъ
жениться, а другого выхода мнѣ нѣтъ... рѣшительно нѣтъ! от-
вѣчала Юлія съ сильнымъ напряженіемъ въ голосѣ.

— Отчего же нѣтъ? и отчего наконецъ порядочный человѣкъ
на васъ не женится?

— Отчего? Гм! Оттого, Несторъ Игнатьичъ, что я нищая. Мало
нищая, а побирашка, христорадница, *мунья*; понимаете—*мунья*,
Ч. I.

презрѣнная, гадкая *мунья*. Вы знаете, въ чемъ прошла моя жизнь? — въ лганьѣ, въ нищевродствѣ, въ вымаливаньѣ. Вы не съумѣте такъ поцаловать своей невѣсты, какъ я могу перецаловать руки всѣхъ откупщиковъ... пусть только даютъ хоть по...пяти цѣлковыхъ.

— О, Господи! чтѣ это вы на себя за небылицы взводите, говорилъ сильно смущаясь Долинскій.

— Чтѣ это васъ такъ удивляетъ! *Это мой честный трудъ*; меня этому только учили; меня этому теперь учатъ. Вѣдь я же дочь! *Жизнью обязана*; помилуйте!

Вышла опять пауза. Долинскій молча ходилъ, что-то соображая и обдумывая.

— Теперъ пилить меня замужествомъ! начала какъ-бы сама съ собою полупошотомъ Юлія. — Ну, скажите, ну за кого я пойду? Ну, я пойду! ну, давайте этого дурака! пусть хоть сейчасъ женится.

— Опять!

— Да чтѣ жъ такое! я говорю правду.

— Хорошій и умный человѣкъ, начала Юлочка:—когда узнаетъ насъ, за сто верстъ обѣжить. Вѣдь мы *ложь*, мы, Несторъ Игнатьичъ, самая воплощенная ложь! говорила она, трепеща и приподнимаясь съ дивана. — Вѣдь у насъ въ домѣ все лжетъ, на каждомъ шагу лжетъ. Мать моя лжетъ, я лгу, Викторина лжетъ, все лжетъ... мебель лжетъ. Вонъ, видите это кресло, вѣдь оно также лжетъ, Несторъ Игнатьичъ! Вы, можетъ быть, думаете, шелки или бархаты тамъ какіе закрыты этимъ чехломъ, а выйдетъ, что дерюга. О, Боже мой! да я рѣшительно не знаю, право... Я даже удивляюсь, неужто мы вамъ еще не гадки?

Долинскій постоялъ съ секунду, и ничего не отвѣтивъ, снова заходилъ по комнатѣ. Юлинька встала, вышла и черезъ нѣсколько минутъ возвратилась съ свѣчою и книгою.

— Темно совсѣмъ; я думаю, скоро должны придти ото всенощвой, проговорила она и стала листовать книжку, съ очевиднымъ желаніемъ скрыть отъ матери и сестры свою горячую сцену и придать картинѣ самый спокойный характеръ.

Она перевернула нѣсколько листовъ и съ болѣзненнымъ усиліемъ даже разсмѣялась.

— Послушайте, Несторъ Игнатьичъ, вѣдь это забавно —

Вообрази, я здѣсь одна,
Меня никто не понимаетъ;
Разсудокъ мой изнемогаетъ
И молча гибнуть я должна.

— Нѣтъ, это не забавно, отвѣчалъ Долинскій, остановившись передъ Юлинькой.

— Вамъ жаль меня?

— Мнѣ прискорбна ваша доля.

— Дайте же мнѣ вашу руку, попросила Юлинька, и на глазахъ ея замигали настоящія, искреннія, художественныя слезы.

Долинскій подалъ свою руку.

— И мнѣ жаль васъ, Несторъ Игнатьичъ. Человѣку съ вашимъ сердцемъ плохо жить на этомъ гадкомъ свѣтѣ.

Юлочка быстро выпустила его руку и тихо заплакала.

— Я и не желаю жить очень хорошо.

— Да, вы святой человѣкъ! Я никогда не забуду, сколько вы мнѣ сдѣлали добра.

— Ничего ровно.

— Не говорите мнѣ этого, Несторъ Игнатьичъ. Зачѣмъ это говорить! Узнавши васъ, я только и поняла все... все хорошее и дурное, свѣтъ и тѣнь, вашу чистоту, и... все собственное ничтожество...

— Полноте, бога-ради!

— И полюбила васъ... не какъ друга, не какъ брата, а... (Долинскій совершенно смутился). Юлинька быстро схватила его снова за руку, еще сильнѣе сжала ее въ своихъ рукахъ и съ слезами въ голосѣ договорила: — а какъ моего нравственнаго спасителя и теперь еще, можетъ быть, въ послѣдній разъ, ищу у васъ, Несторъ Игнатьичъ, спасенія.

Юлинька встала, близко придвинулась къ Долинскому и сказала:

— Несторъ Игнатьичъ, спасите меня!

— Чтò вы хотите сказать этимъ? чтò я могу для васъ сдѣлать?

— Несторъ Игнатьичъ!... Но вы вѣдь не разсердитесь, какая бы ни была моя просьба?

Долинскій сдѣлалъ головою знакъ согласія.

— Мы можемъ платить за уроки Викторины; вы не вѣрьте, что мы такъ бѣдны... а вы... не ходите къ намъ; оставьте насъ. Я васъ униженно, усердно прошу объ этомъ.

— Извольте, извольте, но зачѣмъ это нужно и какой предлогъ я придумаю?

— Какой хотите.

— И для чего?

— Для моего спасенія, для моего счастья. Для моего счастья, повторила она и засмѣялась сквозь слезы.

— Не понимаю! произнесъ пожавъ плечами Долинскій.

— И ненужно, сказала Юлія.

— Я васъ стѣсняю?

— Да, Несторъ Игнатьичъ, вы создаете мнѣ новыя муки. Ваше присутствіе увеличиваетъ мою борьбу—ту борьбу, которой не должно быть вовсе. Я должна идти, какъ ведетъ меня моя судьба, не раздумывая и не оглядываясь.

— Чтò это за загадки у васъ сегодня?

— Загадки! Отъ нищенки благодѣтели долгъ требуютъ.

— Ну-съ!

— Я вѣдь вотъ говорила, что я привыкла цаловать откупщицыи руки... ну, а теперь одинъ благодѣтель хочетъ приучить меня цаловать его самого. Кажется, очень просто и естественно... Подросла.

— Ужасно!... Это ужасно!

— Несторъ Игнатьичъ, мы—нищіе.

— Ну, надо работать... лучше отказать себѣ во всемъ.

— Вы забываете, Несторъ Игнатьичъ, что мы *ничего* не умѣемъ дѣлать и *ни въ чемъ* не желаемъ себѣ отказывать.

— Но ваша мать, наконецъ!

— Мать! Моя мать твердить, что я *обязана ей жизнию* и должна заплатить ей за то, что она выучила меня побираться и... да, наконецъ, вѣдь она же не слѣпа, въ самомъ дѣлѣ, Несторъ Игнатьичъ! вѣдь она-жъ видитъ, въ какія меня ставятъ положенія.

Долинскій заходилъ по комнатѣ и вдругъ, круто повернувъ къ Юлинькѣ, произнесъ твердо:

— Вы бы хотѣли быть моею женою?

— Я! какъ-бы не понявъ и оторопѣвъ переспросила Юлинька.

— Ну, да; я васъ откровенно спрашиваю: лучше было бы вамъ, еслибы вы теперь были моею женою?

— Вашей женой! твоей женой! Это *ты* говоришь *мнѣ*! Ты—мое божество, мой геній хранитель! Не смѣйся, не смѣйся надо мною!

— Я не смѣюсь, отвѣчалъ ей Долинскій.

Юлинька взвизгнула, упала на его грудь, обняла его за шею и тихо зарыдала.

— Тс, господа! господа! заговорилъ за спиною Долинскаго подхалимственный голосъ Аксиньи Тимофеевны, которая какъ выпущная кукла по пружинкѣ вышла какъ разъ на эту сцену въ

залу. — Ставни незатворены, продолжала она въ мягко наставительномъ тонѣ:—подъ окнами еще народъ слоняется, а вы этакъ... Нехорошо такъ неосторожно дѣлать, пошептала она какъ нельзя снисходительнѣе и опять исчезла.

Несмотря на то, что дипломатическая Юлочка, разыгрывая въ первый разъ и безъ репетиціи новую сцену, чуть не испортила свою роль перебавленнымъ театральнымъ эффектомъ, Долинскій былъ совершенно обманутъ. Сконфуженный неожиданнымъ страстнымъ порывомъ Юлочки и еще болѣе неожиданнымъ явленіемъ Аксины Тимофеевны, онъ вырвался изъ горячихъ юлочкиныхъ объятій и прямо схватился за шапку.

— Боже мой! Аксиныя Тимофеевна все видѣла! Она первая сплетница, она всѣмъ все разболтаетъ, шептала между тѣмъ стоя на прежнемъ мѣстѣ Юлочка.

— Что жъ такое? это все равно, пробурчалъ Долинскій.—Прощайте.

— Куда же вы? Куда ты! Подожди минутку.

— Нѣтъ, прощайте.

Долинскій ничего не слушалъ и убѣжалъ домой.

По выходѣ Долинскаго, Юлинка возвратилась назадъ въ залъ, остановилась среди комнаты, заложивъ за затылокъ руки, медленно потянулась и стукнула каблучками.

— Вотъ ужъ именно, что можно чести приписать, заговорила, тихо выползая изъ темной комнаты, Аксиныя Тимофеевна.

Юлочка нервно вздрогнула и сердито оторвала:

— Фу, какъ вы всегда перепугаете съ своимъ ползаньемъ!

— Однако, сдѣлайте же ваше одолженіе; чтò же онъ обо мнѣ подумаетъ? говорила Юлинка ночною матроска, выслушавъ отъ дочери всю сегодняшнюю вечернюю исторію въ сокращенномъ разсказѣ.

— А вамъ очень нужно, чтò онъ о васъ подумаетъ? отвѣчала презрительно, смотря черезъ плечо на свою мать, Юлинка.

— Нужно, или ненужно, но вѣдь я же однако не торгую моими дѣтьми.

— Не торгуете! Молчите ужъ, пожалуйста!

— Торгую! крикнула азартно матроска.

— Ну, такъ *заторгуете*, если будете глушы, отвѣчала спокойно Юлія.

Однимъ словомъ Долинскій сталъ женихомъ и извѣстилъ объ этомъ сестру.

«Да спасетъ тебя Господь Богъ отъ такой жены, отвѣчала Долинскому сестра. — Какъ ты съ ними познакомился? Я знаю эту фальшивую, лукавую и безсердечную дѣвчонку. Она вся ложь, и ты съ нею никогда не будешь счастливъ.»

Долинскому въ первыя минуты показалось, что въ словахъ сестры есть что-то основательное; но потомъ показалось опять, что это какое нибудь провинціальное предубѣжденіе. Онъ не хотѣлъ скрывать этого письма и показалъ его Юлинькѣ; та прочла все отъ строки до строки съ спокойнымъ, яснымъ лицомъ, и кротко улыбнувшись, сказала:

— Вотъ видишь, въ какомъ свѣтѣ я должна была казаться. Вѣрь чему хочешь, добавила она со вздохомъ, возвращая письмо.

«Не умѣю высказать, какъ я рада, что могу тебѣ послать доказательство, что такое твоя невѣста — писала Долинскому его сестра черезъ недѣлю. — «Вдобавокъ ко всему она вѣчно была эффектица и фантазерка, и вотъ провралась самымъ достойнымъ образомъ. Прочитай ея собственное письмо и ради всего хорошаго на свѣтѣ, бога-ради не дѣлай несчастнаго шага».

При письмѣ сестры было приложено другое письмецо Юлиньки къ той самой пріятельницѣ, которая всегда служила для нея помойной ямой.

«Я наконецъ выхожу замужъ—писала Юлинька между прочимъ.— Моя нѣжная родительница распорядилась всѣмъ по своему обыкновенію и сама и безъ моего вѣдома дала за меня слово, не считая нисколько нужнымъ спросить мое сердце. Черезъ мѣсяцъ, для блага матери и сестры, я буду *madame Доминская*. Будущій мужъ мой человѣкъ очень неглупый и на хорошей дорогѣ; но ужасно неразвитъ, и мы съ нимъ не пара, ни почему. Живя съ нимъ, я буду исполнять мой долгъ и недостатокъ любви замѣню заботою о его развитіи, но жизнь моя будетъ, конечно, одно сплошное страданіе. Любить его, увы, я, разумѣется, не могу. Какъ я понимаю любовь, такъ любятъ одинъ разъ въ жизни; но... я, можетъ быть, привыкну къ нему, и помирюсь съ грустной необходимостью. Моя вся жизньъ, вѣрно, жертва и жертва — и кому? Чтò онъ? Чтò видитъ въ немъ моя мать и почему предпочитаетъ его всѣмъ другимъ женихамъ, которые мнѣ здѣсь надобѣдаютъ, и между которыми есть люди очень богатые, просвѣщенные и съ прекраснымъ свѣтскимъ положеніемъ? Я просто не умѣю понять ничего этого и иду яко овца на закланіе».

Долинскій запечаталъ это письмо и отослалъ его Юлинькѣ; та получила его за обѣдомъ, и какъ взглянула, такъ и остолбенѣла.

— Что это? спросила ее матроска, поднося къ своимъ рачьимъ глазамъ упавшее на полъ письмо.

— «Милая Устя!» прочла она, и сейчасъ же воскликнула:— А! вѣрно опять романтическія сочиненія?

— Оставьте, крикнула Юлинька и, вырвавъ изъ рукъ матери письмо, торопливо изорвала его въ лепесточки.

— Да ужъ это такъ! Героиня!

Юлинька наинула на себя капоръ и шубку.

— Куда? крикнула матроска.—Къ милому? обниматься? Теперь прости, молю, голубчикъ!

— А хоть бы и обниматься! отвѣчала проходя Юлинька и исчезла за дверью.

— Ты у меня, Викторина, смотри! заговорила, стуча ладонью по столу, матроска.—Если еще ты, мерзавка, будешь похожа на эту змѣю, я тебя шельму пополамъ перерву. На одну ногу стану, а другую оторву.

Викторина молчала, а Юлинька въ это время именно обнималась.

— Это была шутка, я нарочно хотѣла попытать мою глупенькую Устю, хотѣла узнать, что она скажетъ на такое вовсе непохожее на меня письмо; а онѣ, сумасшедшія, подняли такой гвалтъ и тревогу! говорила Юлинька, весело смѣясь въ лицо Долинскому. Потомъ она расплакалась, упрекала жениха въ подозрительности, довела его до того, что онъ же самъ началъ просить у нее прощенія, и потомъ она его, какъ слабое существо, простила, обняла, поцаловала, и еще поцаловала и столь увлеклась своею добротою, что пробыла у Долинскаго до полуночи.

Матроска ожидала дочь и, несмотря на поздній для нея часъ, съ азартomъ вязала толстый шерстяной чулокъ. По сердитому стуку вязальныхъ прутиковъ и электрическому трепетанію сѣраго крысинаго хвоста, торчавшаго на матроскиной макушкѣ, видно было, что эта почтенная дама весьма въ тревожномъ положеніи. Когда у подъѣзда раздался звонокъ, она сама отперла дверь, впустила Юлочку; не сказавъ ей ни одного слова, вернулась въ залу, и только когда та прошла въ свою комнату, матроска не выдержала и тоже явилась туда за нею.

— Ну, что жъ? спросила она, тяжело разсаживаясь на шупленькомъ креслицѣ.

— Пожалуйста, не рвите чехла; его уж и такъ болѣе чинить нельзя, отвѣчала, мало обращая вниманія на ея слова, Юлія.

— Не о чехлахъ, сударыня, дѣло, а о васъ самихъ, возвысила голосъ матроска, и крысиный хвостикъ закачался на ея макушкѣ.

— Пожалуйста, безпокойтесь обо мнѣ поменьше; это будетъ гораздо умнѣе.

— Да-съ, но когда-жъ этотъ болванъ наконецъ рѣшится?

Юлинька помолчала, и спокойно свертывая косу подъ ночной чепецъ, тихо сказала:

— Дней черезъ десять можете потребовать, чтобы свадьба была немедленно.

Матроска, прищутивъ глаза, язвительно посмотрѣла на свою дочь и произнесла:

— Значить, ужъ спроворила, милая!

— Дѣлайте, чтó вамъ говорятъ, отвѣтила Юлинька, и бросивъ на мать совершенно холодный и равнодушный взглядъ, сѣла писать Устѣ ласковое письмо о ея непростительной легковѣрности.

— Готовъ Максимъ и шапка съ нимъ, ядовито проговорила, вставая и отходя въ свою комнату, матроска.

Черезъ мѣсяцъ Юлинька женила на себѣ Долинскаго, который, послѣ ночнаго посѣщенія его Юлинькой, уже не колебался въ выборѣ, чтó ему дѣлать, и рѣшилъ, что сила воли должна заставить его загладить свое увлеченіе. Счастья онъ не ожидалъ, и его не послѣдовало.

Мѣсяца медового у Долинскаго не было. Юлинька сдерживалась съ нимъ, но онъ все-таки не могъ долго заблуждаться и видѣлъ бѣду неминуемую. А между тѣмъ Юлинька никакъ не могла полюбить своего мужа, потому-что женщины ея закала не терпятъ, даже презираютъ въ мужчинахъ характеры искренніе и добрые, и эффектный порокъ для нихъ гораздо привлекательнѣе; а о томъ, чтобы шадить мужа хоть не любя, но уважая его, Юлинька, конечно, вовсе и не думала: окончивъ одну комедію, она бросалась за другую и входила въ свою роль. Мать и сестру она оставила при себѣ, находя, что этакъ будетъ приличнѣе и экономнѣе. Викторина дѣйствительно была полезна въ домѣ, а матроска нужна. Первые слезы Юлиньки пали на сердце Долинскаго за визиты ея родственникамъ и благодѣтелямъ, которыхъ Долинскій не хотѣлъ и видѣть. Матроска влетѣла и ошипала Долинскаго какъ мокраго пѣтуха.

— Этакъ, милостивый государь, съ своими женами одни мер-

завцы поступаютъ! крикнула она, не говоря худаго слова, на зятя. (Долинскій сразу такъ и оторопѣлъ. Онъ сроду не слыхивалъ, чтобы женщина такъ выражалась).—Вашъ долгъ показать людямъ, продолжала матроска:—какъ вы уважаете вашу жену, а не поворачиваться съ нею какъ воръ на ярмаркѣ. Что, вы стыдитесь моей дочери, или она вамъ не пара?

— Я думаю, мой долгъ жить съ женою дружески, а не стараться кому нибудь это показывать. Не все ли равно, кто что о насъ думаетъ?

— Покорно васъ благодарю! покорнѣйше-съ васъ благодарю-съ! замотавъ головою разъярилась матроска. — Это значить, вамъ все равно, что моя дочь, что Любашка.

— Какая такая Любашка?

— Ну, что бѣлье вамъ носила; думаете, не знаю?

— Фу, какая грязь!

— Да-съ! А вы бы, если вы человѣкъ такихъ хорошихъ правилъ, такъ не торопился бы до свадьбы-то въ права мужа вступать, такъ это лучше бы-съ было, честнѣе. А и тебѣ дурѣ нѣшто, нѣшто, нѣшто, оборотилась она къ дочери.—Рюмъ, рюмъ теперь, а вотъ погоди немножко, какъ корсажи-то въ платьяхъ придется разставлять, такъ и совѣмъ будетъ тебя прятать.

Долинскій вскочилъ и послалъ за каретой. Юлинька дѣлала визиты съ заплаканными глазами, и своимъ угнетеннымъ видомъ ставила мужа въ положеніе весьма странное и неловкое. Въ откупномъ мірѣ матроскиныхъ благодѣтелей Долинскій непонравился.

— Какой-то совѣмъ неискательный, отозвался о немъ главный благодѣтель, котораго Юлинька поклепала ухаживаніемъ за нею.

Матроска опять дала зятю встрепку.

— Своихъ отряхъ учителешекъ умѣете привѣчать, а людей, которые всей вашей семьѣ могутъ быть полезны, отталкиваете, наступала она на Долинскаго.

Юлинька въ глаза всегда брала сторону мужа, и просила его не обращать вниманія на эти грубыя выходки грубой женщины. Но на самомъ дѣлѣ каждый изъ этихъ маневровъ всегда производился по непосредственной инициативѣ и подробнѣйшимъ инструкціямъ самой Юлиньки. По ея соображеніямъ, это былъ хорошій и вѣрный методъ обезличить кроткаго мужа на сколько нужно, чтобы распорядиться по собственному усмотрѣнію, и въ то

же время довести свою мать до совершенной остылицы мужу и въ удобную минуту немножко попустить его, такъ, чтобы не она, а *онъ* бы выгналъ матроску и Викториношку изъ дома. Роды перваго ребёнка показали Юліи, что мужъ ея уже обшколенъ весьма удовлетворительно, и что теперь она сама, безъ материнаго посредства, можетъ обращаться съ нимъ какъ ей угодно. Дней черезъ двѣнадцать послѣ родовъ, она вышла съ сестрою изъ дома, гуляла очень долго, наѣлась султанскихъ финиковъ и, возвратясь, заболѣла. Тутъ у нея въ этой болѣзни оказались виноватыми всѣ, кромѣ ея самой: мать, что не удержала; акушерка—что не предупредила и мужъ, должно быть, въ томъ, что не вернулъ ее домой за ухо.

— Я же чѣмъ виноватъ? говорилъ Долинскій.

— Вы ничѣмъ невиноваты!... крикнула Юлинька.—А вы съѣздили къ акушеру? разспросили вы, какъ держаться женѣ? Посовѣтовались вы... прочитали вы! да прочитали вы, напримѣръ, чтонибудь о беременной женщинѣ? вообще позаботились вы? позаботились? Кому-съ, я васъ спрашиваю, я всѣмъ этимъ обязана?

— Чѣмъ? удивлялся мужъ.

— Чѣмъ?... Ненавистный человѣкъ! Еще онъ спрашиваетъ: *чѣмъ?*... Только съ нѣжностями своими противными умѣетъ лѣзть, а удержать жену отъ неосторожности—не его дѣло.

— Я полагаю, что это всякая женщина сама знаетъ, что черезъ двѣ недѣли послѣ родовъ нельзя дѣлать такихъ прогулокъ, отвѣчалъ Долинскій.

— Это у васъ, ваши кievскія тихони все знаютъ, а я ничего не знала. Еслибъ я знала болѣе, такъ вы навѣрно со мною не сдѣлали бы всего, что хотѣли.

— О го-го-го! Забыли, видно, батюшка, ваши благородныя дѣянiя-то! подхватила изъ другой комнаты матроска.

— Ахъ, убирайтесь вы всѣ вонъ! закричала Юлія.

Долинскій махалъ рукою и уходилъ къ себѣ въ банурку, отвѣденную ему для кабинета.

Автономіи его рѣшительно не существовало, и жизнь онъ велъ прегорькую-горькую. Дома онъ сидѣлъ за работою, или выходилъ на уроки, а не то, такъ, или сопровождалъ жену, или занималъ ея гостей. Матроска и Юлинька, какъ тургеневская помѣщица, были твердо увѣрены, что супруги

Не другъ для друга созданы

Нѣтъ — мужъ устроенъ для жены,

и ни для кого больше, ни для міра, ни для себя самого даже. Товарищей Долинскаго принимали холодно, небрежно и наконецъ даже часто вовсе не принимали. Новыя знакомства, завязанныя Юлинькою съ разными тонкими цѣлями, не нравились Долинскому, тѣмъ болѣе, что ради этихъ знакомствъ его заставляли быть «искательнымъ», что вовсе было и не въ натурѣ Долинскаго и не въ его правилахъ. Къ тому же Долинскій очень хорошо видѣлъ, какъ эти новыя знакомые часто безцеремонно третировали его жену и даже нерѣдко въ глаза открыто смѣялись надъ его тѣщей; но ни остановить чужихъ, ни обрезать своихъ онъ рѣшительно не умѣлъ. А матроскѣ положительно не везло въ гостинной; что она ни станетъ рассказывать о своихъ аристократическихкихъ связяхъ—все выходитъ какимъ-то нелѣпѣйшимъ вздоромъ и къ тому же, въ этомъ же самомъ разговорѣ вздумавшая аристократничать матроска какъ нарочно стеариновую свѣчу назоветъ *стерлерлиновою*, вмѣсто сыропа—*суронъ*, вмѣсто камфина—*канхинъ*. Съѣздила матроска одинъ разъ въ театръ и послѣ цѣлый годъ рассказывала, что она была въ театрѣ на *Эспанскомъ дворянникѣ*; желая похвалиться, что ея Петрушу примутъ въ училище правовѣдѣнія, она говорила, что его примутъ въ училище *Праловеденія*, и тому подобное, и тому подобное.

Прошелъ еще годъ, Долинскій совсѣмъ сталъ неузнаваемъ. «Брошу», рѣшалъ онъ себѣ не разъ послѣ трепокъ за неискренность и недостатокъ средствъ къ удовлетворенію распыравшихся требованій Юліи Петровны, но тутъ же опять вставалъ у него вопросъ: «а гдѣ же твердая воля мужчины?» Да въ томъ-то и будетъ твердая воля, чтобы освободиться изъ этой уничтожающей среды, рѣшалъ онъ, и сейчасъ же опять запрашивалъ себя: развѣ болѣе воли нужно, чтобы уйдти, чѣмъ съ твердостью и достоинствомъ выносить свое тяжкое положеніе? А между тѣмъ, явился другой ребенокъ. Долинскій въ качествѣ отца двухъ дѣтей сталъ подвергаться сугубому угнетенію и наконецъ не выдержалъ и собрался ѣхать съ письмами женинныхъ благодѣтелей въ Петербургъ. Долинскій собрался скоро, торопливо, какъ-бы боялся, что онъ останется, что его что-то задержитъ. Приѣхавъ въ Петербургъ, онъ никуда не пошелъ съ письмами благодѣтелей, но освѣжился, одумался и въ откровенную минуту высказалъ все свое горе одному старому своему дѣтскому товарищу, земляку и другу, художнику Ильѣ Макаровичу Журавкѣ, человѣку очень доброму, пылкому, суетливому и немножко смѣшному.

— Одно средство, братецъ мой, вамъ другъ съ другомъ разстаться, отвѣчалъ, выслушавъ его исповѣдь, Журавка.

— Это, Ильюша, легко, братъ, сказать.

— А сдѣлать еще легче.

Долинскій походилъ и въ раздумьѣ произнести:

— Не могу, какъ-то все это съ одной будто стороны такъ, а съ другой опять.

— Пф! да брось, братецъ, брось, вотъ и вся недолга, либо заплеснѣеешь, бабы ѣздятъ на тебѣ будутъ, восклицалъ Журавка.

Поживя мѣсяцъ въ Петербургѣ, Долинскій чувствовалъ, что дѣйствительно нужно собрать всю волю и уйти отъ людей, съ которыми жизнь мука, а не спокойный трудъ и не праздникъ.

— Ну, положимъ такъ, говорилъ онъ:—положимъ, я бы и рѣшился, оставилъ бы жену; а дѣтей же какъ оставить?

— Дѣтей обезпечь, братецъ.

— Чѣмъ, чѣмъ, Илья Макарычъ?

— Деньгами, разумѣется.

— Да какія же деньги, гдѣ я ихъ возьму?

— Пф! хочешь десять тысячъ обезпеченія, сейчасъ, хочешь?

— Ну, ну, давай.

— Нѣтъ, ты говори коротко и узловато, хочешь или не хочешь?

— Да, давай, давай.

— Стало быть, хочешь?

— Да ужъ, конечно, хочу.

— Идешь, и да будетъ тебѣ, яко же хочешь! Послѣ-завтра у твоихъ дѣтей десять тысячъ обезпеченія, супругъ давай на дѣтское воспитаніе, а самъ живи во славу божію; ступай въ Италію, тамъ, братъ, итальяночки... уухъ, одними глазами такъ и вскипятить иная! Я тебѣ скажу, наши-то женщины, братецъ, вѣдь если по правдѣ говорить, все-таки вѣдь дрянъ.

— А я думаю, говорилъ на другой день Долинскій Журавкѣ:— я думаю, точно ты правъ, надо вѣдь это дѣло покончить.

— Да какъ же, братецъ, невадо?

— То-то, я всю ночь продумалъ и...

— Ты пожалуйста ужъ лучше и не раздумывай.

Черезъ два дня въ рукахъ Долинскаго былъ полисъ на его собственную жизнь, застрахованную въ десять тысячъ рублей, и предложеніе редакціи одного большаго изданія быть корреспондентомъ въ Парижѣ.

Долинскій, какъ всѣ несильные волею люди, старался исполнить свое рѣшеніе какъ можно скорѣе. Онъ перемѣнилъ паспортъ и уѣхалъ за границу. Во все это время онъ ни малѣйшимъ образомъ не выдалъ себя женѣ; извѣщалъ ее, что онъ хлопочетъ, что ему даютъ очень выгодное мѣсто, и только въ день своего отъѣзда вручилъ Ильѣ Макаровичу конвертъ съ письмомъ слѣдующаго содержанія: «Я, наконецъ, долженъ сказать вамъ, что я нашелъ себѣ очень выгодное мѣсто и отправляюсь къ этому мѣсту, не заѣзжая въ Москву. Главная выгода моего мѣста заключается въ томъ, что вы его никогда не узнаете, а если узнаете, то не можете меня болѣе мучить и терзать. Я васъ оставляю навсегда за вашу дурной нравъ, жестокость и лукавство, которые мнѣ ненавистны и которыхъ я болѣе переносить не могу. Ссориться и браниться я не приученъ, а на великодушіе хотя бы даже въ далекомъ будущемъ я не надѣюсь, и потому просто бѣгу отъ васъ. На случай моей смерти оставляю моему извѣданному другу полисъ страхового общества, которое уплатитъ мимѣ дѣтямъ десять тысячъ рублей; а пока живъ, буду высылать вамъ на ихъ воспитаніе столько, сколько позволятъ мнѣ мои средства.

«Не выражаю вамъ никакихъ доброжелательствъ, чтобы вы не приняли ихъ за насмѣшку, но ручаюсь вамъ, что не питаю къ вамъ, ни къ вашему семейству ни малѣйшей злобы. Я хочу только, чтобы мы, какъ люди совершенно несходныхъ характеровъ и убѣжденій, не мѣшали другъ другу, и вы сами вскорѣ увидите, что для васъ въ этомъ нѣтъ рѣшительно никакой потери. Я знаю, что я неспособенъ ни состроить себѣ служебную карьеру, ни нажить денегъ, съ которыми можно бы не нуждаться. Вы ошиблись во мнѣ, я—въ васъ. Не будемте бесполезно упрекать ни себя, ни другъ друга, и простимтесь, утѣшая себя, что передъ нами раскрывается снова жизнь, если и не счастливая, то, по крайней-мѣрѣ не лишенная того высшаго права, которое называется свободой совѣсти и которое, къ несчастію, люди такъ мало уважаютъ другъ въ другѣ.

«Н. Долинскій».

С.-Петербургъ.

Такъ покончилась семейная жизнь человѣка, встрѣченнаго Доружкою, уже послѣ четырехлѣтняго его житія въ Парижѣ.

Въ Россію Долинскій еще боялся возвращаться, потому что даже и изъ-заграницы ему два или три раза приводилось да-

вать въ посольствѣ непріятныя и тяжелыя объясненія по жалобамъ жены.

IV.

Главныя лица романа знакомятся ближе.

Продолжаемъ прерванную повѣсть.

Домъ, въ которомъ Анна Михайловна съ своею сестрою жила въ Парижѣ, былъ изъ новыхъ домовъ Rue de l'Ouest. Въ немъ съ улицы не было воротъ, но тотчасъ, перешагнувъ за его красиво-отдѣланныя, тяжелыя двери, открывался маленькій дворикъ, почти весь занятый большою цвѣточною клумбою; направо была красивенькая клѣтка, въ которой жила старая concierge, а налѣво дверь и легкая спиральная лѣстница. Черезъ два дня послѣ свиданія съ Прохоровыми, Долинскій съ несовсѣмъ довольнымъ лицомъ медленно взбирался по этой ажурной лѣстницѣ и позвонилъ у одной двери въ третьемъ этажѣ. Его ввели черезъ небольшой коридорчикъ въ очень просторную и хорошо меблированную комнату, передѣленную густою шерстяною драпировкою.

По комнатѣ, на диванѣ и на стульяхъ лежали кучи лентъ, цвѣтовъ, синели, рюшу и разной другой галантерейщины; на столѣ были набросаны выкройки и узоры, передъ которыми, опустивъ въ раздумьѣ голову, стояла сама хозяйка. Немного нужно было имѣть проницательности, чтобы отгадать, что Анна Михайловна стоитъ въ этомъ положеніи не одну минуту, но что не узоры и не выкройки занимаютъ ея голову.

При входѣ Долинскаго Анна Михайловна покраснѣла, какъ институтка, и сказала:

— Ахъ, извините бога-ради, у насъ такой ералашный безпорядокъ.

Долинскій ничего не отвѣтилъ на это, но взглянувъ на Анну Михайловну, только подумалъ: а какъ она дивно хороша, однако.

Анна Михайловна была одѣта въ простое коричневое платье съ высокимъ лифомъ подъ душу, и ея черныя волосы были гладко причесаны за уши. Этотъ простой уборъ, впрочемъ, шелъ къ ней необыкновенно и прекрасная наружность Анны Михайловны дѣйствительно могла бы остановить на себѣ глаза каждаго.

— Пожалуйста садитесь, сестры дома нѣтъ, но она сейчасъ должна вернуться, говорила Анна Михайловна, собирая со стола свои узоры.

— Я, кажется, совѣмъ не во время? началъ Долинскій.

— А, нѣтъ! Вы пожалуйста не обращайтесь на это вниманіе, мы вамъ очень рады.

Долинскій поклонился.

— Дорушка еще вчера васъ поджидала. Вы курите?

— Курю, если позволите.

— Сдѣлайте милость.

Долинскій зажегъ папироску.

— Дора все не дожидется, чтобы помириться съ вами, начала хозяйка.

— Это, если я отгадываю, все еще о луврской встрѣчѣ?

— Да, сестра моя ужасно сконфужена.

— Это пресмѣшной случай.

— Ахъ, она такая.

— Непосредственная, кажется, подсказалъ улыбаясь Долинскій.

— Даже черезчуръ иногда, замѣтила снисходительно Анна Михайловна.—Но вы не повѣрите, какъ ей совѣстно, что она надѣлала.

Долинскій хотѣлъ отвѣтить, что объ этомъ даже и говорить не стоитъ, но въ это время послышался колокольчикъ и звонкій контрольтъ запѣлъ въ коридорчикѣ:

Если жизнь тебя обманетъ,
Не печалься, не сетуйся.
Въ день несчастія смиришь,
День веселья, вѣрь, настанетъ.

— Вотъ и она, сказала Анна Михайловна.

На порогѣ показалась Дорушка въ легкомъ бѣломъ платьѣ съ своими оригинальными красноватыми кудрями, распущенными по волѣ, съ снятой съ головы соломенной шляпой въ одной рукѣ и съ картонкой въ другой.

— А, а! произнесла она протяжно при видѣ Долинскаго и остановилась у двери.

Гость всталъ съ своего мѣста.

— Стар... Стар... нѣтъ, все не могу выговорить вашего имени.

— Несторъ, произнесъ разсмѣявшись Долинскій.

— Да, да, есть Несторъ лѣтописецъ.

— То-есть былъ; но это во всякомъ случаѣ не я.

— Я это ужъ сообразила, что вы, должно быть, совершенно отдѣльный, особенный Несторъ. Ахъ, Несторъ Игнатьичъ, я

передъ вами на колѣни сейчасъ опускаюсь, если вы меня не простите.

— Помилюйте, вы только заставляете меня краснѣть отъ этихъ вашихъ прессыбъ.

— О, если вы это безъ шутокъ говорите, то вы просто покорите мое сердце своею добродѣтелью.

— Увѣряю васъ, что я ужъ забылъ объ этомъ.

— Въ такомъ случаѣ, Полканушка, дай лапу.

Анна Михайловна неодобрительно качнула головою, на что не обратили вниманія ни Долинскій, ни Дорушка, крѣпко и весело сжимавшіе поданныя другъ другу руки.

— А моя сестра ужъ вѣрно морщится, что мы дружимся, проговорила Дора, и взглянувъ въ лицо сестры, добавила:

— Такъ и есть, вотъ удивительная женщина, никогда она, кажется, не будетъ вѣрить, что я знаю, чтò дѣлаю.

— Ты знала, чтò дѣлала и тогда, когда разсуждала о monsieur Долинскомъ?

— Это въ первый разъ случилось, но впрочемъ, вотъ видишь, какъ все хорошо вышло: теперь у меня есть русскій другъ въ Парижѣ. Вѣдь мы друзья, правда?

— Правда, отвѣчала Долинскій.

— Вотъ видишь, Аня. Я говорю, что всегда знаю, чтò я дѣлаю. Я женщина практичная — и это правда. Вы хотите мароновъ? спросила она Долинскаго, опуская въ карманъ руку.

— Нѣтъ-съ, не хочу.

— Тѣпленькіе совѣтъ еще.

— Все-таки покорно васъ благодарю.

— Зачѣмъ ты покупаешь эту дрянь, Дора? вмѣшалась Анна Михайловна.

— Я совѣтъ ихъ не покупаю, это мнѣ какой-то французъ подарилъ.

— Какой это у тебя еще французъ завелся?

— Не знаю, глупый, должно быть, какой-то, далеко-далеко меня провожалъ и все глупости какія-то вретъ. Завтракать съ собой звалъ, а я не пошла, велѣла себѣ тутъ на этомъ углу въ лавочкѣ мароновъ купить и пожелала ему счастливо оставаться на улицѣ.

— Вотъ видите, какъ она знаетъ, чтò дѣлать, произнесла Анна Михайловна. — Только того и ждешь, что налетитъ на какую-нибудь исторію.

— Пустяки это, съѣдомое всегда можно брать, особенно у француза.

— Почему же особенно у француза?

— Потому что онъ, вопервыхъ, глупъ, а, вовторыхъ, это ему удовольствіе доставляетъ.

— И тебѣ тоже?

— Нѣкоторое.

— А если этотъ французъ тебѣ сдѣлаетъ дерзость?

— Не смѣетъ.

— Отчего же не смѣетъ?

— Такъ, не смѣетъ—да и только. Вы давно заграницею? обратилась она опять къ Долинскому.

— Скоро четыре года.

— Ой, ой, ой, это одурѣть можно.

Анна Михайловна засмѣялась и сказала:

— Вы ужъ, monsieur Долинскій, теперь насъ извиняйте за выраженія; мы, какъ видите, скоро дружимся и подружившись всѣ церемоніи сразу въ сторону.

— Сразу, серьезно подтвердила Дора.

— Да, у насъ съ Дарьей Михайловной все вдругъ дѣлается. Я того и гляжу, что она когда-нибудь пойдетъ два аршина лентъ купить, а мимоходомъ зайдетъ въ церковь, да съ кѣмъ нибудь обвѣнчается и вернется съ мужемъ.

— Нѣтъ-съ, этого, душенька, не случится, отвѣчала, сморщивъ носикъ Дора.

— Охъ, а все-таки что-то страшно, шутила Анна Михайловна.

— Вопервыхъ, выкладывала по пальцамъ Дора:—на мнѣ никогда никто не женится, потому что по множеству разныхъ пороковъ я неспособна къ семейной жизни, а вовторыхъ, я и сама ни за кого не пойду замужъ.

— Какое суровое рѣшеніе! произнесъ Долинскій.

— Самое гуманное. Я знаю, что я дѣлаю, не беспокойтесь. Я увѣрена, что я вполгода или бы уморила своего мужа, или бы умерла сама, а я жить хочу—жить, жить и пѣть. Дорушка подняла вверхъ ручку и пропѣла:

Золотая волюшка, мнѣ милѣй всего.

Не надо мнѣ съ возею, въ свѣтѣ ничего.

— Вотъ, начала она:—я почти такъ же велика, какъ Шекспиръ. У него Гамлетъ говоритъ, чтобъ никто не женился, а я говорю, пусть никто не выходитъ замужъ. Совершенно справед-
ч. I.

ливо, что если выходить замужъ, такъ надо выходить за дурака, а я дураковъ терпѣть не могу.

— Почему же непременно за дурака? спросилъ Долинскій.

— А потому, что умные люди больше не будутъ жениться.

— Триста лѣтъ близко, какъ вашъ Гамлетъ положилъ зарокъ людямъ не жениться, а видите, все люди и женятся и замужъ выходятъ.

— Ну да, все потому, что люди еще очень глупы, потому что посвистываетъ у нихъ въ лбахъ-то, резонировала Дора.—Умный человѣкъ всегда знаетъ, что онъ дѣлаетъ, а дураки, дураки всегда охотники жениться. Вѣдь вы вотъ, полагаю, не женитесь?

— Нѣтъ-съ, не женюсь, отвѣчалъ немного покраснѣвъ Долинскій.

— А, а, то-то и есть. Даже вонъ въ краску васъ бросило при одной мысли, а скажите-ка, отчего вы не женитесь? оттого, что вы не хотите попасть въ дураки?

— Нѣтъ, оттого, что я женатъ, еще болѣе покраснѣвъ и засмѣявшись отвѣчалъ Долинскій.

Дорушка быстро откинулась, значительно закусила свою нижнюю губку и, вспрыгнувъ съ своего мѣста, юркнула за драпировку.

Долинскій обтиралъ выступившій у него на лбу потъ и смѣялся самымъ веселымъ, искреннимъ смѣхомъ. Анна Михайловна сидѣла совершенно переконфуженная и ворочала что-то въ своей рабочей корзинкѣ. Щеки ея до самыхъ ушей были покрыты густымъ пунцовымъ румянцемъ.

Секунды три длилась тихая пауза.

— Нѣтъ, это ужъ чортъ-знаетъ что такое, крикнула изъ-за драпировки Дорушка, голосомъ, въ которомъ звучали и насилу сдерживаемый смѣхъ и досада.

— Да, это все оттого, что ты всегда знаешь, что ты дѣлаешь! тихо проговорила съ упрекомъ Анна Михайловна.

Долинскій опять разсмѣялся и вслѣдъ затѣмъ послышался несдержанный смѣхъ самой Доры. Аннѣ Михайловнѣ тоже измѣнила ея фizioномія, она улыбнулась и съ упрекомъ проронила:

— Чудо, какъ умно!

— Что жъ, *«чудо какъ умно!»* заговорила, появляясь между полами драпировки, смѣющаяся Дора.

— Очень умно, повторила Анна Михайловна.

— Да развѣ же я виновата, оправдывалась Дора:—что насталь

такой вѣкъ, что никакъ не наспасешься? Кто ихъ знаетъ, какъ они такъ женятся, что это по нихъ незамѣтно! Ну чего, ну чего это вы женились и не рассказываете объ этомъ пріятномъ происшествіи? обратилась она къ смѣющемуся Долинскому и сама расхохоталась снова.

— Да нѣтъ, это вы вышиваете, продолжала она, махнувъ ручкой.

— Ну не вѣрьте.

— И не вѣрю, отвѣчала Дора.—Мнѣ даже этакъ удобнѣе.

— Что это, не вѣрять?

— Конечно; а то, Господи, чтò же это въ самомъ дѣлѣ за напасть такая! Опять бы надо во второй разъ передъ однимъ и тѣмъ же господиномъ извиняться. Не вѣрю.

— Да совершенно не въ чемъ-съ извиняться. Вы мнѣ только доставили искреннее удовольствіе посмѣяться, какъ я давно не смѣялся, отвѣчалъ Долинскій.

Хозяйки порусски оставили Долинскаго у себя отобѣдать, потому вмѣстѣ ходили гулять и продержали его до полночи. Дорушка была умна, рѣзва и весела. Долинскій не замѣтилъ, какъ у него прошелъ цѣлый день съ новыми знакомыми.

— Вы, Дарья Михайловна, бываете когданибудь и грустны? спросилъ онъ ее, прощаясь.

— Ой, ой, и какъ еще! отвѣчала за нее сестра.

— И тогда ужъ не смѣтется?

— Черной тучею смотритъ.

— Грозна и величественна бываю. Приходите почаще, такъ я вамъ доставлю удовольствіе видѣть себя въ мрачномъ настроеніи, а теперь adieu mon plaisir, спать хочу, сказала Дорушка, и дружески взявъ руку Долинскаго, закричала портьеру: «откройте».

V.

Кое что о чувствахъ.

Прошелъ мѣсяцъ, какъ нашъ Долинскій познакомился съ сестрами Прохоровыми. Во все это время не было ни одного дня, когда бы они не видались. Ежедневно, акуратно въ четыре часа, Долинскій являлся къ нимъ и они вмѣстѣ обѣдали, вмѣстѣ гуляли, читали, ходили въ театры и на маленькіе балики, которые очень любила наблюдать Дора. Анна Михайловна съ своими хлопотами о закупкахъ для магазина часто уклонялась отъ такъ-на-

зываемаго Дорою «шлянья» и предоставляла сестрѣ мыкаться по Парижу съ однимъ Долинскимъ. Знакомство этихъ трехъ лицъ въ этотъ промежутокъ времени дѣйствительно перешло въ самую короткую и искреннюю дружбу.

— Чудо, какъ весело мы теперь живемъ! восклицала Дора.

— Это правда, отвѣчалъ необыкновенно повеселѣвшій Несторъ Игнатьевичъ.

— А все вѣдь мнѣ всѣмъ обязаны.

— Ну, конечно-съ вамъ, Дарья Михайловна.

— Разумѣется; а не будь вы такой пентюхъ, все могло бы быть еще веселѣе.

— Чтò жъ я, напримѣръ, долженъ бы дѣлать, еслибъ не имѣлъ чина пентюха?

и — Это вы не можете догадаться, чтò бы вы должны дѣлать? Вы, милостивый госудать, даже изъ вѣжливости должны бы въ которую нибудь изъ насъ влюбиться, говорила ему не разъ расшалившись Дорushка.

— Не могу, отвѣчалъ Долинскій.

— Отчего это не можете? Какъ бы весело-то было, чудо!

— Да вотъ видѣть чудесъ-то, я именно и боюсь.

— Э, лучше скажите, что просто у васъ, батюшка мой, вкуса нѣтъ, шутила Дора.

— Ну, какъ тебѣ не стыдно, Дора, уши право вянуть слушать, чтò ты только врѣшь, останавливала ее въ такихъ случаяхъ скромная Анна Михайловна.

— Стыдно, мой другъ, только красть, лѣниться да обманывать, обыкновенно отвѣчала Дора.

Мрачное настроеніе духа, въ которомъ Дорushка, по ея собственнымъ словамъ, была *грозна и величественна*, во все это время не приходило къ ней ни разу, но она иногда очень упорно молчала часъ и другой, и потомъ вдругъ разрѣшалась вопросомъ, показывавшимъ, что она все это время думала о Долинскомъ.

— Скажите мнѣ, пожалуйста, вы въ самомъ дѣлѣ женаты? спросила она его однажды послѣ одного такого раздумья.

— Безъ всякихъ шутокъ, отвѣчалъ ей Долинскій.

Дорushка пожала плечами.

— Гдѣ же теперь ваша жена? спросила она опять послѣ нѣкоторой паузы.

— Моя жена? Моя жена въ Москвѣ.

— И вы съ ней не видались четыре года?

— Да, вотъ скоро будетъ четыре года.

— Чтò жь это значитъ? вы съ нею вѣроятно разошлись?

— Дора! остановила Анна Михайловна.

— Чтò жь тутъ такого обиднаго для Нестора Игнатьича въ моемъ вопросѣ? Дѣло ясное, что если люди по собственной волѣ четыре года къ ряду другъ съ другомъ не видятся, такъ они другъ друга не любятъ. Любя нельзя другъ къ другу не рваться.

— У Нестора Игнатьича здѣсь дѣла.

— Нѣтъ, что-жь Анна Михайловна, я вѣдь вовсе не вижу нужды секретничать. Вопросъ Дарьи Михайловны меня ни мало не смущаетъ: я дѣйствительно не въ ладахъ съ моей женою

— Какое несчастье, проговорила съ искреннимъ участіемъ Анна Михайловна.

— И вы твердо рѣшились никогда съ нею не сходиться? допрашивала, серьезно глядя, Дора.

— Скорѣе, Дарья Михайловна, земля сойдется съ небомъ, чѣмъ я съ своей женою.

— А она любитъ васъ?

— Не знаю; полагаю, что нѣтъ.

— Что жь, она измѣнила вамъ, что-ли?

— Дора! Ну, да что жь это наконецъ такое! сказала, порываясь съ мѣста, Анна Михайловна.

— Не знаю я этого, и знать объ этомъ не хочу, отвѣчалъ Долинскій: — какое мнѣ до нее теперь дѣло, она вольна жить какъ ей угодно.

— Значитъ, вы ее не любите, продолжала съ прежнимъ спокойствіемъ Дорушба.

— Не люблю.

— Вовсе не любите?

— Вовсе не люблю.

— Это вамъ такъ кажется, или вы въ этомъ увѣрены?

— Увѣренъ, Дарья Михайловна.

— Почему-жь вы увѣрены, Несторъ Игнатьичъ?

— Потому, что... я ее ненавижу.

— Гм! ну, этого еще иногда бываетъ маловато, люди иногда и ненавидятъ, и презируютъ, а все-таки любятъ.

— Не знаю; мнѣ кажется, что даже и слова *ненавидѣть* и *любить* въ одно и то же время вмѣстѣ не вяжутся.

— Да, разсуждайте тамъ, вяжутся или не вяжутся; что вамъ

за дѣло до словъ, когда это случается на-дѣлѣ; нѣтъ, а вы про-
бовали ли себя спросить, чтò еслибъ ваша жена любила кого
нибудь другого?

— Ну-съ, такъ что же?

— Какъ бы вы, напримѣръ, смотрѣли, еслибы ваша жена ца-
ловала своего любовника, пли... такъ вышла что ли бы изъ его
спальни?

— Дора! да ты наконецъ рѣшительно несносна! воскликнула
Анна Михайловна и, вставши съ своего мѣста, подошла къ
окошку.

— Смотрѣлъ бы съ совершеннымъ спокойствіемъ, отвѣчалъ
Долинскій на послѣдній вопросъ Дорухи.

— Да, ну если такъ, то это хорошо! Это, значить, дѣло капи-
тальное, протянула Дора.

— Но смѣшно только, отозвалась съ своего мѣста Анна Ми-
хайловна: — что ты придаешь такое большое значеніе ревности.

— Гадкому чувству, которое свойственно только пустымъ, ще-
петильно самолюбивымъ людишкамъ, подкрѣпилъ Долинскій.

— Толкуйте, господа, толкуйте; а отчего однако это гадкое
чувство переживаетъ любовь, а любовь не переживаетъ его никогда?

— Но тѣмъ не менѣе, все-таки оно гадко.

— Да я же и не говорю, что оно хорошо; я только хотѣла
пробовать имъ вашу любовь и теперь очень рада, что вы не
любите вашей жены.

— Ну, а тебѣ чтò до этого? укоризненно качая головою спро-
сила Анна Михайловна.

— Мнѣ? Мнѣ ничего, я за него радуюсь. Я вовсе не желаю
ему несчастья.

— Какія ты сегодня глупости говорила, Дора, сказала Анна
Михайловна, оставшись одна съ сестрою.

— Это ты о Долинскомъ?

— Да, разумѣется. Почему ты знаешь, какая его жена? Мо-
жетъ быть, она самая прекрасная женщина.

— Нѣтъ, этого не можетъ быть; онъ не такой человѣкъ, что-
бы могъ бросить хорошую женщину.

— Да откуда ты его знаешь?

— Ахъ, Господи Боже мой, развѣ я дура, что-ли?

— Ну, а богъ его знаетъ, какой у него характеръ?

— Дѣтскій; да впрочемъ, какой бы ни былъ, это ничего не
значить; умъ и сердце у него хорошіе, это все, чтò нужно.

— Нѣтъ; а ты пресентиментальная особа, Аня, начала, укладываясь въ постель, Дорушка.—У тебя все какъ бы такъ, чтобъ и волкъ наѣлся и овца-бъ была цѣлою.

— А конечно, это всего лучше.

— Да, очень даже лучше, только къ несчастію вотъ досадно, что это невозможно. Ужь ты повѣрь мнѣ, что его жена—волкъ, а онъ—овца. Въ немъ есть что-то такое до безпредѣльности мягкое, кроткое, этакое, знаешь, какъ будто жалкое, мужской умъ, чувства простыя и теплыя, а при всемъ этомъ, онъ дитя, правда?

— Да, кажется. Мнѣ и самой иногда очень жаль его почему-то.

— А, видишь! Мы чужія ему, да намъ жаль его, а ей не жаль. Ну, что жъ это за женщина?

Анна Михайловна вздохнула.

— Страшный ты человѣкъ, Дора, проговорила она послѣ минутнаго молчанія.

— Повѣрь, Аничка, отвѣчала, приподнявшись съ подушки на локотокъ, Дора:—что вотъ этакое твое мягкосердечіе-то иной разъ можетъ заставить тебя сдѣлать болѣе несправедливости. А по моему лучше когонибудь спасать, чѣмъ надъ цѣлымъ свѣтомъ охать.

— Я живу сердцемъ, Дора, и, можетъ быть, очень дурно увлекаюсь, но ужъ такая я родилась.

— А я развѣ не сердцемъ живу, Аня? отвѣтила Дорушка и заслонила рукою свѣчку.

— А вѣдь онъ очень хорошъ, сказала черезъ нѣсколько минутъ Дора.

— Да, у него довольно хорошее лицо, тихо отвѣчала Анна Михайловна.

— Нѣтъ, онъ просто очаровательно хорошъ.

— Да, хорошъ, если хочешь.

— Какіе-то притягивающіе глаза, произнесла послѣ короткой паузы Дора, щуря на огонь свои собственные глазки и молча задула свѣчу.

— Люблю такіа тихія, покорныя лица, досказала она, ворочаясь впотѣмахъ съ подушкой.

— Ну, что это, Дора, сто разъ повторять про одно и то же! Спи, сдѣлай милость, отвѣчала ей Анна Михайловна.

VI.

Романъ чуть не прерывается въ самомъ началѣ.

Доходилъ второй мѣсяцъ знакомству Долинскаго съ Прохоровыми и сестры стали собираться назадъ въ Россію. Долинскій помогаль имъ въ ихъ сборахъ. Онъ сдаль комисіонеру всѣ покупки, которыя нужно было переслать Аннѣ Михайловнѣ черезъ всѣ таможенные мытарства въ Петербургъ; даже помогаль имъ укладывать чемоданы; самъ напрашивался на разныя мелкія порученія и вообще разставался съ ними, какъ съ самыми добрыми и близкими друзьями, но безъ всякой особенной грусти, безъ горя и досады. Отношенія его къ обѣимъ сестрамъ были совершенно ровны и одинаковы. Если съ Дорушкой онъ себя чувствовалъ нѣсколько веселѣе и самъ оживлялся въ ея присутствіи, за то каждое слово, сказанное тихимъ и симпатическимъ голосомъ Анны Михайловны, вѣяло на него какимъ-то невозмутимымъ, святымъ покоемъ, и Долинскій чувствовалъ силу этого спокойнаго вліянія Анны Михайловны не менѣе, чѣмъ энергическую натуру Доры.

Дорушка не заводила болѣе рѣчи о бракѣ Долинскаго, и только разъ, при какомъ-то разсказѣ о бракѣ, совершившемся изъ благодарности, или изъ какого-то другого весьма почтеннаго но безстрастнаго чувства, сказала, что это ужъ изъ рукъ вонъ глупо.

— Но благородно, замѣтила сестра.

— Да, знаешь, ужъ именно до подлости благородно, до самоубійства.

— Самопожертвованіе!

— Нѣтъ, Аня—глупость, а не самопожертвованіе. Изъ самопожертвованія можно дать отрубить себѣ руку, отказаться отъ наслѣдства, можно сдѣлать самую безумную вещь, на которую нужна минута, пять, десять... ну, даже хотъ сутки, но хроническое самопожертвованіе на цѣлую жизнь, нѣтъ-съ, это невозможно. Вотъ вы, Несторъ Игнатьичъ, тоже не изъ состраданія ли женились? отнеслась она къ Долинскому.

— Нѣтъ, отвѣчалъ Долинскій, стараясь сохранить на своемъ лицѣ какъ можно болѣе спокойствія.

Анна Михайловна и Дорушка обѣ пристально на него посмотрѣли.

— Пожалуй, что и да, мой батюшка; отъ него и это могло стать, произнесла нѣсколько комическимъ тономъ Дора.

Долинскій самъ разсмѣялся и сказалъ:

— Нѣтъ, право нѣтъ, я не такъ женился.

За день до отъѣзда сестеръ изъ Париза, Долинскій принесъ къ нимъ нѣсколько эстамповъ, вложенныхъ въ папку и адресованныхъ: *Ильи Макаровичу Журавку по 11-й линіи, домъ Клеменца.*

— Скажите, какой скромникъ! воскликнула Дорушка, прочитавъ адресъ.—Скоро два мѣсяца знакомы, и не разу не сказалъ, что онъ знаетъ Илью Макаровича.

— Развѣ и вы его знаете?

— Кого? Журавку? это нашъ другъ, отозвалась Анна Михайловна:—я его кума, дѣтей его крестила. У насъ даже есть портреты его работы.

— Какъ же онъ мнѣ ничего не говорилъ о васъ?

— Изъ ревности, вмѣшалась Дорушка. — Онъ вѣдь, бѣдный Ильюша, влюбленъ въ Аню.

— Право?

— По уши.

Послѣдній день Долинскій провѣлъ у Прохоровыхъ съ самого утра. Вмѣстѣ пообѣдавъ, они сѣли въ нѣсколько опустѣвшей комнатѣ, и всѣмъ имъ разомъ стало очень невесело.

— Ну, помните, дитя мое, все, чему я васъ учила, пошутила Дорушка, глядя Долинскаго по головѣ.

— Слушаю-сь, отвѣчалъ Долинскій.

— Не хандрите, работайте и самое главное—непремѣнно влюбитесь.

— Послѣднего только, самого-то главнаго, и не общаю.

— Отчего?

— Смысла не вижу.

— Какой же вамъ надо смыслъ для любви? Развѣ любовь сама по себѣ не есть смыслъ, смыслъ жизни?

— Я не могу любить, Дарья Михайловна, права не имѣю давать въ себѣ мѣста этому чувству.

— Это право принадлежитъ каждому живущему.

— Не совѣмъ-съ. Напримѣръ, въ какой мѣрѣ можетъ пользоваться этимъ правомъ человѣкъ, обязанный жить и трудиться для своихъ дѣтей?

— А, такъ и эта прелесть есть въ вашемъ положеніи?

— У меня двое дѣтей.

— Да, это кое-что значить.

— Нѣтъ, это *очень много* значить, отозвалась Анна Михайловна.

— Н-н-ну, не знаю, отчего такъ ужъ очень много. Можно любить и своихъ прежнихъ дѣтей и женщину.

— Да, еслибы любовь, которая, какъ вы говорите, сама по себѣ есть цѣль-то, или главный смыслъ нашей жизни, не налагала на насъ пзвѣстныхъ обязанностей.

— Что-то не совсѣмъ понятно.

— Очень просто: всей моей заботливости едва достаетъ для однихъ моихъ дѣтей, а если ее придется еще раздѣлить съ другими, то всѣмъ будетъ мало. Вотъ почему у меня и выходитъ, что нельзя любить, слѣдуетъ бѣжать отъ любви.

— Да это дико! это просто дико!

— И очень честно, очень благородно, вмѣшалась Анна Михайловна. — Съ этой минуты, Несторъ Игнатьичъ, я васъ еще болѣе уважаю и радуюсь, что мы съ вами познакомились. Дора сама не знаетъ, что она говорить. Лучше одному тянуть свою жизнь, какъ ужъ Богъ ее устроилъ, нежели видѣть около себя кругомъ несчастныхъ, да слышать упреки, видѣть страдающія лица. Нѣтъ, Боже васъ спаси отъ этого!

— Нѣтъ, извините господа, это вы-то, кажется, не знаете, что говорите! Любовь, деньги, обезпеченія... фу, какой противоестественный винигретъ! Все это очень умно, звучно, чувствительно, а самое главное то, что все это *ce sont des* пустяки. Кто ведетъ свои дѣла умно и рѣшительно, тотъ все это отлично уладитъ, а вы, мишечки мои, сами неудобъ какая-то, оттого такъ и разсуждаете.

— Дарья Михайловна смотритъ на все очень ужъ молодо, смѣло черезчуръ, снисходительно проговорилъ Долинскій, относясь къ Аннѣ Михайловнѣ.

— Крылышки у нея еще не помяты, отвѣчала Анна Михайловна.

— Именно; а пуганая ворона, какъ говорить пословица, и куста боится.

— Вотъ, вотъ, вотъ! Это—самое лучшее средство разрѣшать себѣ все пословицами, то-есть чужимъ умомъ! Ну, и поздравляю васъ, и оставайтесь вы при своемъ, что *вороны куста бояться*, а я буду при томъ, что *соколу тьма нестрашенъ*. Вѣдь это тоже пословица.

Долинскій простился съ Прохоровыми у вагона сѣверной желѣзной дороги и они дали слово иногда писать другъ другу.

— Прощайте, пуганая ворона! крикнула изъ окна Доружка, когда вагоны тронулись.

— Летите, летите, мой смѣлый соколъ.

Посмотрѣвъ вслѣдъ уносившемуся поѣзду, Долинскій обернулся, и въ эту минуту особенно тяжело почувствовалъ свое одиночество, почувствовалъ его сильнѣе, чѣмъ во всѣ протекшіе четыре года. Не тихая тоска, а какое-то зло на свое сиротство, желчная раздражительная скука, охватила его со всѣхъ сторонъ. Онъ заѣхалъ на старую квартиру Прохоровыхъ, чтобы взять оставленные тамъ книги, и пустыя комнаты, которыя мела француженка, окончательно его сдавили; ему стало еще хуже. Долинскій зашелъ въ кафе, выпилъ два грога и, возвратясь домой, заснулъ крѣпкимъ сномъ.

Опять онъ оставался въ Парижѣ одинъ-одинешенекъ, утомленный, разбитый и безотрадно-смотрящій на свое будущее.

— Вернуться бы ужъ, что-ли, самому въ Россію? подумалъ онъ, лежа на другое утро въ постели.

— Да какъ вернуться? того гляди, исторію сдѣлаешь. Нѣтъ ужъ, размышлялъ онъ, переворачивая по своему обыкновенію каждый вопросъ со всѣхъ сторонъ:— нужно имѣть надъ собою власть и мыкать здѣсь свое горе. Все же это достоинѣе, чѣмъ не устоять противъ скуки и опять рисковать попасться въ какую-нибудь гадкую исторію.

VII.

Дора знаетъ, что дѣлаетъ.

Такъ попрежнему скучно, тоскливо и одиноко прожилъ Долинскій еще полгода въ Парижѣ. Въ эти полгода онъ получилъ отъ Прохоровыхъ два или три малозначущія письма съ шутливыми приписками Ильи Макаровича Журавки. Письма эти радовали его, какъ догазательства, что тамъ на Русь у него все-таки есть люди, которые его помнятъ; но читая эти письма, ему становилось еще грустнѣе, что онъ оторванъ отъ родины и, какъ изгнанникъ какой-нибудь, не смѣетъ въ нее возвратиться безъ опасенія для себя большихъ непріятностей.

Наконецъ въ одинъ прекрасный день, Несторъ Игнатьевичъ получилъ письмо, которое сначала его нѣсколько поразило, а

потомъ весьма порадовало, и дало ему толчокъ, котораго давно ждала его робкая, нерѣшительная натура.

Письмо это сначала до конца было писано Дорушкою, безъ всякой сторонней приписки.

«Несторъ Игнатьевичъ (писала Дора Долибскому)! Я никакъ не могу себѣ опредѣлить, очень умно или до крайности глупо я поступаю, что пишу къ вамъ это письмо; но не могу удержаться и все-таки пишу его. Когда я сказала моимъ и вашимъ друзьямъ, то-есть Анѣ и Ильѣ Макаровичу, что васъ непременно надо немедленно извѣстить о томъ, о чемъ вы теперь узнаете изъ этого письма, то они подняли такой гвалтъ, что съ ними не стоило спорить и приходилось бы отказаться отъ всякаго намѣренія посвятить васъ въ ваши же собственные дѣла. Но мой грѣшный разумъ и тайный голосъ моего сердца, которыхъ я привыкла слѣшать, склонили меня къ преступленію противъ Ани и Ильи Макаровича. Я пишу вамъ это письмо тайно отъ нихъ и прошу васъ это хорошенько запомнить.

«Дѣло идетъ, конечно, о васъ и заключается въ томъ, что вашихъ дѣтей, на воспитаніе которыхъ вы высылаете деньги, уже четвертый годъ не существуетъ на свѣтѣ, а жена ваша тоже около года живетъ въ Эмсѣ съ старымъ богачомъ, откупщикомъ Штульцемъ. Дѣти ваши почти обаи разомъ умерли отъ крупа, вскорѣ послѣ вашего отъѣзда изъ Москвы, а у вашей жены за-границею родился новый ребѣнокъ, на котораго откупщикъ Штульцъ (какой-то задумевный пріятель родственниковъ вашей жены) далъ очень серьезную сумму. Говорятъ, что этою суммою на цѣлую жизнь прочно обезпечены и мать и ребѣнокъ.

«Всѣ эти аккуратно и достовѣрно собранныя свѣдѣнія привезъ намъ Илья Макаровичъ, который на дняхъ ѣздилъ въ Москву реставрировать какую-то вновь открытую изъ-подъ старой штукатурки допотопную фреску. Обстоятельства эти мнѣ показались очень важными для васъ и я настаивала, чтобы извѣстить васъ обо всемъ этомъ подробно; но и сестра, а за нею и милѣйшій другъ нашъ Журавка завопили: «нельзя; невозможно! это все нужно исподоволь, да другими путями, *чтобы не сразить* васъ и не попасть самимъ въ сплетники». Я не могла съ ними совладѣть, но и не могла съ ними согласиться, потому что все это, мнѣ кажется, должно имѣть для васъ очень большое и, по моему, не совсѣмъ грустное значеніе. А для того, чтобы на свѣтѣ не было сплетенъ, я думаю, самое лучшее дѣло—какъ можно

болѣ сплетничать. Это одно только можетъ отучить людей распускать запечные слухи. Хочу думать, Несторъ Игнатьевичъ, что я васъ понимаю и не дѣлаю ошибки, посылая къ вамъ это конфиденціальное посланіе.»

«Пребываю къ вамъ благосклонная

«Дора».

«P. S. Нашъ независимый Илья Макаровичъ продолжаетъ все болѣе и болѣе терять независимость отъ своей Граціеллы и приходить къ намъ довольно рѣдко и то урывкомъ.»

Въ отвѣтъ на это письмо Долинскій написалъ Дорѣ: «Вы прекрасно сдѣлали, Дарья Михайловна, что послушались самихъ себя и извѣстили меня о происшествіяхъ въ моей семьѣ. Сразить меня это никакъ не могло. Дѣтей, разумѣется, жалко, но если подумать, что ихъ могло ожидать при семейномъ разладѣ родителей, то, можетъ быть, для нихъ самихъ лучше, что они умерли въ самые ранніе годы. А что касается до моей жены, то я былъ всегда увѣренъ, что она устроится самымъ лучшимъ и выгоднымъ для нея образомъ. Я очень радъ за нее и не сомнѣваюсь, что она поведетъ свои дѣла прекрасно. Для меня же теперь исчезаютъ препятствія къ возвращенію на родину, и я черезъ мѣсяцъ надѣюсь лично поблагодарить васъ за оказанную мнѣ услугу».

— Да ты, стало быть, въ самомъ дѣлѣ иногда знаешь, что дѣлаешь, сказала Анна Михайловна, когда Дора, получивъ письмо Долинскаго, сама открыла свой секретъ.

Не прошло и мѣсяца, какъ одинъ разъ густыми осенними сумерками, Журавка влѣзъ въ маленькую столовую Анны Михайловны, гдѣ сидѣли хозяйка и Дора, и закричалъ:

— Неудобъ наше пріѣхало.

— Долинскій! Гдѣ-жь онъ? спросили вмѣстѣ обѣ сестры.

Въ эту же минуту въ темной рамѣ дверей показалась фигура безъ облика; но взглянувъ на эту фигуру, и Доружка и Анна Михайловна разомъ закричали: Несторъ Игнатьевичъ! это вы?

— Я, Анна Михайловна, отвѣчалъ Долинскій, цалуя руки обѣихъ сестеръ.

— Когда пріѣхали?

— Сегодня въ четыре часа.

— А теперь шесть; это очень мило, похвалила Доружка.—А мы васъ здѣсь, знаете, какъ прозвали? «Неудобъ».

Долинскій махнулъ рукой и сказалъ:

— Ужь это хоть не спрашивай, Дарья Михайловна выдумала.

— Пф! сразу, шельмецъ, узналъ, воскликнулъ Журавка, и тотчасъ же, нагнувшись къ уху Анны Михайловны, прошепталъ:

— Вы намъ, кумушка, чайника дадите, а я тѣмъ часомъ тутъ летаю; всего на одну минуточку летаю и ворочусь; дѣлишко есть у Пяти Угловъ.

— Летите, летите, отвѣчала ему Анна Михайловна, и художникъ юркнулъ.

Обѣ хозяйки были необыкновенно радушны съ Долинскимъ. Онъ его внимательно разспрашивали, какъ ему жилось, что онъ думалъ, что видѣлъ?

Долинскій давно не чувствовалъ себя такъ хорошо: словно онъ къ самымъ добрымъ, къ самымъ теплымъ роднымъ пріѣхалъ. Подали свѣчи и самоваръ; Дорушка сѣла за чай, а Анна Михайловна повела Долинскаго показать ему свою квартиру.

Квартира Анны Михайловны помѣщалась въ одномъ изъ лучшихъ домовъ на Владимірскомъ проспектѣ. Эта квартира состояла изъ шести прекрасныхъ комнатъ въ бельэтажѣ, съ параднѣйшимъ подъѣздомъ съ улицы. Самая большая комната съ подъѣзда была занята магазиномъ. Здѣсь стояли шкафы, шифоньерки, подставки и два огромныхъ, дорогихъ трюмо. За большимъ орѣховымъ шкафомъ, устроеннымъ по размѣрамъ этой комнаты и раздѣлявшимъ ее на двѣ равныя половины, помѣщался длинный липовый столъ и около него шесть или восемь такихъ же чистенькихъ, некрашенныхъ, липовыхъ табуреточекъ. Половина этого отдѣленія комнаты была еще разъ передѣлена драпировкою изъ зеленого каленкора, за которою стояли три кровати, закрытыя недорогими, сѣрыми, байковыми одѣялами. Здѣсь была спальня трехъ небольшихъ дѣвочекъ, отданныхъ ихъ родными Аннѣ Михайловнѣ, для обученія мастерству. Когда Анна Михайловна ввела за собою своего гостя въ это зашкафное отдѣленіе, на Долинскаго чрезвычайно благопріятно подѣйствовала представившаяся ему картина. Надъ чистымъ липовымъ столомъ, заваленнымъ кучею тюля, газа, лентъ и матерій, висѣла огромная мѣдная лампа, освѣщавшая весь столъ. За столомъ на табуреткахъ сидѣли четыре очень опрятныя, миловидныя дѣвушки и три дѣвочки одѣтыя, какъ институтки, въ одинаковыя люстриновыя платья съ бѣлыми передниками. Въ одномъ концѣ стола, на легкомъ деревянномъ креслѣ съ рѣшотчатою деревянною спин-

кой, сидѣла небольшая женская фигурка съ взбитымъ хохломъ и чертообразными махрами на переди сѣтки.

— Это моя помощница, mademoiselle Alexandrine, отрекомендовала Анна Михайловна эту фигурку Долинскому. Mademoiselle Alexandrine тотчасъ же, очень ловко и съ большимъ достоинствомъ удостоила Долинскаго легкаго поклона, и такъ произнесла свое bonsoir, monsieur, что Долинскій не вообразилъ себя въ Парижѣ только потому, что глаза его въ эту минуту остановились на невозможныхъ архитектурныхъ украшеніяхъ трехъ другихъ дѣвушекъ, очевидно стремившихся, во что бы то ни стало, не только догнать, но и далеко превзойти и хохоль, и чертообразность сѣтки всегда столь ненавистной русской швеѣ «француженки». Дѣвочки были острижены въ кружокъ и не могли усваивать себѣ заманчивой прически; но у одной изъ нихъ волосѣнки на лбу были подрѣзаны и торчали, какъ у самого благочестиваго раскольника. Это постриженіе надъ нею совершила Дора, чтобы освободить молодую русскую франтиху отъ воска, съ помощію котораго она старалась выстроить себѣ французскій хохоль на остриженной головкѣ. Въ другомъ концѣ стола, противъ кресла, на которомъ сидѣла mademoiselle Alexandrine, стояло точно такое же другое пустое кресло. Это было мѣсто Доры. Никакихъ атрибутовъ старшинства и превосходства не было замѣтно возлѣ этого мѣста, даже подножная скамейка возлѣ него стояла простая, деревянная, точно такая же скамейка, какія стояли подъ ногами дѣвушекъ и ученицъ. Единственное преимущество этого мѣста заключалось въ томъ, что прямо противъ него, надъ чернымъ карнизомъ драпировки, отдѣлявшей спальню дѣвочекъ, помѣщались довольно большіе часы въ черной деревянной рамкѣ. По этимъ часамъ Даша вела рабочій порядокъ мастерской. Сестра Анны Михайловны не любила высказывать по дверному звонку и торчать въ магазинѣ, что, напротивъ, очень нравилось mademoiselle Alexandrine. Поэтому продажею и пріемомъ заказовъ преимущественно завѣдывала француженка и сама Анна Михайловна, а Дора сидѣла за рабочимъ столомъ и дирижировала работою, и выходила въ магазинъ только въ крайнихъ случаяхъ, такъ-сказать, на особенно важные консилиумы. На ея же попеченіи были и три ученицы. Она не только имѣла за ними главный общій надзоръ, но она же наблюдала за тѣмъ, чтобы эти оторванные отъ семьи дѣти не терпѣли много отъ грубости и невѣжества другихъ женщинъ, по натурѣ хотя и незлыхъ, но утратившихъ

подъ ударами чужаго невѣжества всю собственную мягкость. Кромѣ того Дора по воскресеньямъ и праздничнымъ днямъ учила этихъ дѣвочекъ грамотѣ, счисленію и рассказывала имъ какъ умѣла о Богѣ, о людяхъ, объ исторіи и природѣ. Дѣвочки боготворили Дарью Михайловну; взрослые мастерицы тоже очень ее любили и довѣряли ей всѣ свои тайны, требующія гораздо большаго секрета и вниманія, чѣмъ мистеріи иной свѣтской дамы, или тайны тѣхъ безплотныхъ нимфъ, которыя «такъ непорочны, такъ умны и такъ благочестія полны», что какъ мелкіе потоки текутъ въ большую рѣку, такъ и онѣ катятся неуклонно въ одну великую тайну: добыть себѣ во что бы то ни стало богатаго мужа и роскошно пресыщаться всѣми благами жизненнаго пира, бросая честному труду обглоданную кость и презрительное снисхожденіе. Изъ четырехъ дѣвушекъ этой мастерской особеннымъ расположеніемъ Доры пользовалась Анна Анисимовна. Это была та единственная дѣвушка, у которой надо лбомъ не было французскаго хохла. Аннѣ Анисимовнѣ было отроду лѣтъ двадцать-восемь; она была высокая и довольно полная, но весьма граціозная блондинка, съ голубыми, рано померкшими глазами и характерными углами губъ, которыя, въ сочетаніи съ немного выдающимся подбородкомъ, придавали ея лицу выраженіе твердое, честное и рѣшительное. Анна Анисимовна родилась крѣпостною дѣвочкою, выучена швейному мастерству на Кузнецкомъ мосту въ Москвѣ и отпущена своею молодою барыней на волю. Имѣя девятнадцать лѣтъ, она совсѣмъ близко познакомилась съ однимъ молодымъ, заматавшимся купеческимъ сыномъ и мѣсяца черезъ два приняла своего милаго въ свою маленькую комнатку, которую нанимала неподалеку отъ магазина, гдѣ работала. Три года она работала безъ отдыха, что называется, не покладывая рукъ, денно и нощно. Въ эти три года Богъ далъ ей трехъ дѣтей. Анна Анисимовна кормила и дѣтей, и любовника, и ни на что не жаловалась. Наконецъ кончилъ ея милый курсъ покайнія, получилъ радостное извѣстіе о смерти самодура-отца и удралъ, обѣщая Аннѣ Анисимовнѣ не забывать ее за хлѣбъ и соль, за любовь вѣрную и за дружбу. О женитьбѣ, или хотя о чемъ нибудь другомъ посущественнѣе словесной благодарности, и рѣчи не было. Анна Анисимовна сама тоже не сказала ни о чемъ подобномъ ни слова. Приходили съ тѣхъ поръ Аннѣ Анисимовнѣ не разъ крутыя времена съ тремя дѣтьми, и знала Анна Анисимовна, что забывшій ее милый живетъ богато, губернато-

ровъ принимаетъ, чуть пару въ банѣ шампанскимъ не поддаетъ, но никогда ни за что она не хотѣла ему напомнить ни о дѣтихъ, ни о старомъ долгѣ. «Самъ не помнить, такъ и не надо; значить, совѣсти нѣтъ», говорила она и еще сильнѣе разрывалась надъ работой, которою и питала и обогрѣвала дѣтей своей отверженной любви. Просила у Анны Анисимовны одного ея мальчика въ сыновья бездѣтная купеческая семья, общала сдѣлать его наслѣдникомъ всего своего состоянія—Анна Анисимовна не отдала. «Счастье у своего ребѣнка отнимаете», говорили ей дѣвушки. «Ничего, отвѣчала Анна Анисимовна: за то совѣсти не отниму; не выучу бѣдныхъ дѣвушекъ обманывать, да дѣтей своихъ пускать по міру». Этой Аннѣ Анисимовнѣ Дорушка оказывала полнѣйшее уваженіе и своимъ примѣромъ заставляла другихъ уважать.

Мертвая блѣдность нѣкогда прекраснаго, рано отцвѣтшаго лица и крайняя простота наряда этой дѣвушки невольно остановили на себѣ мимолетное вниманіе Долинскаго, когда изъ противоположныхъ дверей вошла съ свѣчою въ рукахъ Дорушка и спросила:

— Правда, хорошо у насъ, Несторъ Игнатьичъ?

— Прекрасно, отвѣчалъ Долинскій.

— Вонъ тамъ мой тронъ, или, лучше сказать, мое президентское мѣсто; а это все моя республика. Аня вѣрно уже познакомила васъ съ mademoiselle Alexandrine?

Долинскій отвѣчалъ утвердительно.

— Ну, а я еще познакомлю васъ съ прочими: это—Полинька, видите, она у насъ совсѣмъ перфская красна-дѣвица, и, если у васъ есть хоть одна бапля вкуса, то вы въ этомъ должны со мною согласиться; Полинька, нечего, нечего закрываться! Сама очень хорошо знаешь, что ты красавица. Это, продолжала Дора:—это Оля и Маша, отличающіяся замѣчательною неразрывностью своей дружбы и потому называемыя «симпатичными попугаями» (дѣвушки засмѣялись); это все мелкота, пока еще неуспѣвшая ничѣмъ отличиться, сказала она, указывая на маленькихъ дѣвочекъ:—а это Анна Анисимовна, которую мы всѣ уважаемъ, и которую совѣтую уважать и вамъ. Она—самый честный человѣкъ, котораго я знаю.

Долинскій нѣсколько смѣшался и протянулъ Аннѣ Анисимовнѣ руку; дѣвушка торопливо положила на столъ свою работу; неловкою застѣнчивостью подала Долинскому свою иголку и руку.

— Ну, пойдемте дальше теперь, позвала Анна Михайловна.

Хозяйка и гость вышли за двери, которыми за минуту вошла Дора, и вслѣдъ за ними изъ мастерской послышался дружный, веселый смѣхъ нѣсколькихъ голосовъ.

— Ужасныя сороки и хохотушки, проговорила, идя впереди со свѣчкою, Дорушка: — а за то народъ все прескренній и пресердечный.

Тотчасъ за мастерскою у Анны Михайловны шелъ небольшой коридоръ, въ одномъ концѣ котораго была кухня и черный ходъ на дворъ, а въ другомъ двѣ большія, свѣтлыя комнаты, которыя Анна Михайловна хотѣла кому нибудь отдать, чтобы облегчить себѣ плату за весьма дорогую квартиру. Посрединѣ коридора была дверь, которою входили въ ту самую столовую, куда Журавка ввелъ сумерками къ хозяйкамъ Долинскаго. Эта комната служила сестрамъ въ одно и то же время и залой, и гостиною, и столовой. Въ ней были четыре двери: одна, какъ сказано, вела въ коридоръ; другая въ одну изъ комнатъ, назначенныхъ вънаймы, третья въ спальню Анны Михайловны, а четвертая въ уютную комнату Доры. Вся квартира была меблирована нероскошно и небѣдно, но съ большимъ вкусомъ и комфортно. Все здѣсь давало чувствовать, что хозяйки устраивались тутъ для того, чтобы жить, а не для того, чтобы принимать гостей и заботиться выказываться предъ ними съ какой нибудь изящной стороны. Это жилье дышало тою спокойною простотою, которая сразу даетъ себя чувствовать и которую, къ сожалѣнію, все рѣже и рѣже случается встрѣчать въ наше суетливое и суетное время.

— Очень хорошо у насъ, Несторъ Игнатьичъ? спрашивала Дора, когда всѣ усѣлись за чай.

— Очень хорошо, соглашался съ нею Долинскій.

Здѣсь нѣтъ мебели богатой,
Нѣтъ ни бронзы, ни картинъ,
И хозяинъ, слава Богу,
Здѣсь не знатный господинъ —

проговорила Дора и съ послѣдними словами сердечно поцаловала свою сестру.

— Дорого только, сказала Анна Михайловна.

— Э! полно, пожалуйста, жаловаться. Отдадимъ двѣ комнаты, такъ вовсе не будетъ дорого. За эти комнаты всякій охотно дастъ триста рублей въ годъ.

— Это даже дешево, сказалъ Долинскій.

— Но вѣдь подите же съ нами! говорила Дора.—Наняли квартиру съ тѣмъ, чтобы кому нибудь эти двѣ комнаты уступить, а перешли сюда, и баста; вотъ третій мѣсяцъ не можемъ рѣшиться. Мужчинъ боимся, женщинъ еще болѣе, а дѣти на наше горе не нанимаютъ; ну, кто же намъ виновать, скажите пожалуйста?

— Ты, отвѣчала Анна Михайловна.—Сбила меня. Послушалась ее, наняла эту квартиру; правда, она очень хороша, но велика совсѣмъ для насъ.

Изъ коридора показался Ильа Макаровичъ.

— А какъ вы люди мыслите? Я... какъ бы это вамъ помудренѣе выразиться? началъ входя художникъ.

— Крошечку выпилъ, подсказала Дора.

— Да-съ... въ этомъ въ самомъ густѣ.

— Объ этомъ и говорить не стоило, сказала разсмѣявшись Дора.

Всѣ взглянули на Илью Макаровича, у котораго на щекахъ пылалъ румянецъ и волосы слиплись на потномъ челѣ.

— Нельзя, Несторка пріѣхалъ, проговорилъ икнувъ Журавка.

— Никакъ нельзя, поддержала серьезно Дора.

Всѣ еще болѣе засмѣялись.

— Да ужъ такъ-съ! лепеталъ художникъ. — Вы сдѣлайте милость... не того-съ... не острите. Я иду, бацъ на уголѣ этакій каламбуръ.

— Хорошій человѣкъ встрѣчается, сказала Дора.

— Да-съ, именно хорошій человѣкъ встрѣчается и...

— И говоритъ, давай, говоритъ, выпьемъ! снова подсказала Дора.

— И совсѣмъ не то! Денкера приказчикъ, это... Журавка икнулъ и продолжалъ:—Денкера приказчикъ, говоритъ, просилъ тебя привезти къ нему; портретченко, говоритъ, жены хочетъ тебѣ забазать. Ну, вѣдь волка, я думаю, ножки кормятъ; такъ это я говорю?

— Такъ.

— Я, разумѣется, и пошелъ.

— И, разумѣется, выпилъ.

— Ну, и выпилъ, и работу взялъ. Вѣдь нельзя же!... А тутъ вспомнилъ, Несторка тутъ меня ждетъ! Другъ, говорю, ко мнѣ пріѣхалъ неожиданно; позвольте, говорю, мнѣ въ долгъ пару бутылоченокъ шампанскаго. И ужъ извините, кумушка, двѣ бутылочки мы разопьемъ! Вотъ онѣ, канашки французскія! вос-

кликнулъ Журавка, торжественно вынимая изъ-подъ пальто двѣ засмоленные бутылки.

Всѣ глядѣли, посмѣиваясь, на Илью Макаровича; на лицѣ котораго выражалось полнѣйшее блаженство опьяненія.

— Хорошаго, должно быть, о васъ мнѣнія остался этотъ денкеровъ приказчикъ, говорила Дора.

— А что же такое?

— Ничего; пришелъ говорить о заказѣ, сейчасъ пятанулся и еще въ долгъ пару бутылеченокъ выпросилъ.

— Да, двѣ; и вотъ онѣ здѣсь; вонъ онѣ, заморскія, засмоленные... Нельзя, Дарья Михайловна! Вы еще молоды; вы еще писанія не понимаете.

— Нѣтъ, понимаю, шутила Дора.—Я понимаю, что дома вамъ нельзя, такъ вы вотъ...

— Тсс! тс, тс, тс... нѣтъ, ей-богу же для Несторки. Несторка... вамъ вѣдь онъ ничего, а мнѣ онъ другъ.

— И намъ другъ.

— Ну, нѣтъ-съ, вы погодите еще! Я его отъ бѣды, отъ чорта оторвалъ, а вы... нѣтъ... вы...

— «А вы... нѣтъ... вы», передразнила, смѣшно кривляясь, Дора и добавила: — совсѣмъ пьянъ, голубчикъ!

— А это развѣ худо, худо? Ну, я и на то согласенъ; на то я художникъ, чтобъ все худое дѣлать. Правда, Несторъ Игнатьичъ? Канапка ты, шельмецъ ты! Журавка обнялъ и поцаловалъ Долинскаго.

— Вотъ видишь, говорилъ, освобождаясь изъ дружескихъ объятий, Долинскій:—теперь толкуешь о дружбѣ, а какъ я совсѣмъ разбитый ѣхалъ въ Парижъ, такъ небось не вздумалъ меня познакомиться съ Анной Михайловной и съ mademoiselle Дорой.

— Не хотѣлъ, братишка, не хотѣлъ; тебѣ было нужно тогда уединеніе.

— Уединеніе! Все вздоръ вретъ, просто отъ ревности не хотѣлъ васъ знакомить съ нами, разбивала художника Дора.

— Отъ ревности? Ну, а отъ ревности, такъ и отъ ревности. Вы это навѣрное знаете, что я отъ ревности его не хотѣлъ знакомить?

— Навѣрное.

— Ну, и очень прикрасно, пусть такъ и будетъ, отвѣчалъ художникъ налегая на буюву и въ умышленно портимомъ словѣ прекр

— Да, и очень прикрасно, а мы вотъ теперь съ Несторомъ Игнатычемъ вмѣстѣ жить будемъ, сказала Дора.

— Какъ это вмѣстѣ жить будете?

— Такъ; Аня отдаетъ ему тѣ двѣ комнаты.

— Да вы это со мною шутите, смѣтаетесь или просто говорите? спросилъ съ эффектомъ Журавка.

— А вотъ отгадайте?

— Я и съ своей стороны спрошу васъ, Дарья Михайловна, вы это шутите, смѣтаетесь, или просто говорите? сказалъ Долинскій.

Изъ шутки вышло такъ, что Анна Михайловна, послѣ нѣкотораго замѣшательства и нѣсколькихъ минутъ колебанья, уступила просьбѣ Долинскаго и въ самомъ дѣлѣ отдала ему свои двѣ свободныя комнаты.

— И очень прикрасно! возглашала художникъ, когда переговоры кончились въ пользу перехода Долинскаго къ Прохоровымъ.

— А прикрасно, говорила Дора:—по крайней-мѣрѣ будетъ хоть съ кѣмъ въ театръ пойти.

— Прикрасно, прикрасно, отвѣчалъ Журавка шутя, но съ тѣнью нѣкоторой, хотя и легкой, но худо скрытой досады.

Послѣ уничтоженія принесенныхъ Ильею Макаровичемъ двухъ бутылоченокъ, онъ началъ высказываться нѣсколько яснѣе:

— Еслибъ я былъ холостой, заговорилъ онъ: — ужъ тебѣ-бъ братишку тутъ не жить.

— Да вы же развѣ женаты?

— Пфъ! не женать! да вѣдь я же ей вексель выдать.

Этого событія между Ильею Макаровичемъ и его Граціэллою до сихъ поръ никто не вѣдалъ. Извѣстно было только, что Илья Макаровичъ былъ помѣшанъ на свободѣ любовныхъ отношеній и на итальяночкахъ. Счастливый случай свелъ его, гдѣ-то въ Неаполѣ, съ довольно безобразной синьорой Луизой, которую онъ привезъ съ собою въ Россію и долго не переставалъ кстати и некстати кричать о ея художественныхъ талантахъ и страстной къ нему привязанности. Поэтому извѣстіе о векселѣ, взятомъ съ него итальянкою, заставило всѣхъ очень смѣяться.

— Фу, Боже мой! да вѣдь это только для того, чтобъ я не женился, оправдывался художникъ.

Дорогою, по пути къ Васильевскому острову, Журавка все твердилъ Долинскому:

— Ты только смотри, Несторъ... ты, я знаю... ты человекъ честный...

— Ну, ну, говори яснѣе, требоваль Долинскій.

— Онѣ... вѣдь это я тебѣ говорю... пфъ! это божественныя души!... чистота, искренность... довѣрчивость...

— Да ну, чтò ты сказать-то хочешь?

— Не... обезпкой какъ нибудь, не оскорби.

— Полно, пожалуйста.

— Не скомпрометируй.

— Ну, ты, я вижу, въ самомъ дѣлѣ пьянъ.

— Это, другъ, ничего, пьянъ я, или не пьянъ—это мое дѣло; пьянъ да уменъ, два угодыя въ немъ, а ты имъ... братомъ будь. Минуть пять пріатели проѣхали молча и Журавка опять началъ:

— Потому-что, чтò-жъ хорошаго...

— Фу, надоѣлъ совсѣмъ! что я самъ будто не знаю, отговорился Долинскій.

— А знаешь, братъ, такъ и помни. Помни, что кто за довѣріе заплатитъ нехорошо, тотъ подлецъ, Несторъ Игнатьичъ.

— Подлецъ, Илья Макаровичъ, шутя отвѣчалъ Долинскій.

Оба пріатели весело разсмѣялись, и распростились у гостиницы, тотчасъ за Николаевскимъ мостомъ.

На другой день, часу въ двѣнадцатомъ, Долинскій переѣхалъ къ Прохоровымъ и прочно водворился у нихъ на жительство.

— Вчера Илья Макаровичъ цѣлую дорогу все читалъ мнѣ нотацию, какъ я долженъ жить у васъ, рассказывалъ за вечернимъ чаемъ Долинскій.

— Онъ большой нашъ другъ и, къ несчастію его, совершенно слѣпой Аргусъ, отвѣчала Дора.

— Онъ рѣдкій человѣкъ и любить насъ чрезмѣрно, проговорила Анна Михайловна.

VIII.

Пансіонеръ.

Несторъ Игнатьевичъ зажилъ такъ, какъ еще не жилось ему ни одного дня съ самого выхода изъ отцовскаго дома. Постоянная внутренняя тревога и недовольство, и собою и всѣмъ окружающимъ, совершенно его оставили въ домѣ Анны Михайловны. Аккуратный какъ часы, но необременительный, какъ несносная дисциплина, порядокъ въ жизни его хозяекъ возвратилъ Долинскаго къ своевременному труду, который смѣнялся своевременнымъ отдыхомъ и возможными удовольствіями. Всякій день неиз-

мѣнно въ восемь часовъ утра, ему приносили въ его комнату стаканъ кофе съ свѣжею булкою; въ два часа Дорушка звала его въ столовую, гдѣ былъ приготовленъ легкій завтракъ, потомъ онъ проходилъ съ Дорою (которой была необходима прогулка) отъ Владимірской до Адмиралтейства и назадъ; въ пять часовъ сажались за столъ, въ восемь пили вечерній чай и въ двѣнадцать ровно расходились по своимъ комнатамъ.

Въ недѣлю раза два Долинскій съ Дорою бывали въ театрѣ. Дни у нихъ проходили за дѣломъ, но вечерами они не отказывали себѣ въ роздыхѣ и нѣкоторыхъ удовольствіяхъ. Жизнь шла живо, ровно, безъ скуки, безъ задержки.

Пансіонеръ совершенно привыкъ къ порядкамъ своего пансіона и удивлялся, какъ могъ онъ жить иначе столько лѣтъ сряду!

Со смертію своей благочестивой матери, Несторъ Игнатьевичъ разлучился съ стройною домашнею жизнью. Жизнь у дяди, въ которой поверхъ всего плавало и все застилало собою эгоистическое самовластіе его тѣтки, оставила въ немъ однѣ тяжелыя воспоминанія. Воспоминанія о семейной жизни съ женою и тещею, уничтожавшими своею требовательностію всякую его свободу и обращавшими его въ раба жениной суетности и своко-рыстія, были еще отвратительнѣе. Съ тѣхъ поръ Несторъ Игнатьевичъ велъ студенческую жизнь въ латинскомъ кварталѣ Парижа, то-есть жилъ бездомовникомъ и отличался отъ прочихъ, истинныхъ студентовъ только развѣ тѣмъ, что немножко чаще ихъ просиживалъ вечера дома за книгою и рѣже таскался по ресторанамъ, кафе и баламъ Прадо. Впрочемъ, несмотря на это, Несторъ Игнатьевичъ все-таки совсѣмъ отъучился во время встать, во время лечь и въ свое время погулять. Обращать свѣтлый день въ скучную ночь, и скучную ночь въ бѣдный радостями день для него не составляло ничего необыкновеннаго. Онъ зналъ, что ему будетъ скучно на балѣ, потому что всѣ удовольствія этого бала можно было всегда разсказать впередъ—и все-таки онъ шелъ отъ скуки на балъ и отъ скуки зѣвалъ здѣсь, пока не пустѣла зала. Отъ скуки онъ валялся въ постели до самаго вечера; между тѣмъ позарѣзъ нужно было изготавить срочную корреспонденцію, и потомъ вдругъ садился, читалъ листы различныхъ газетъ, брошюръ и работалъ напролетъ цѣлыя ночи. Огромный расходъ силъ и постоянная тревога, происходящая оттого, что работа врывалась въ сроки отдыха, а отдыху посвящалось время труда, вовсе не обращали на себя вниманія Долинскаго.

— Все равно, какъ ни живи — все скучно, говаривалъ онъ себѣ, когда нестройность жизни напоминала ему о себѣ утомленіемъ, разстройствомъ нервной системы, или неудачею догнать бесполезно потерянное время въ работѣ.

Теперь онъ не могъ надивиться, какъ въ былое время у него недоставало досуга написать въ недѣлю двухъ довольно короткихъ корреспонденцій, когда нынче онъ свободно велъ порученный ему цѣлый отдѣлъ газеты и на все это не требовалось ни одной бессонной ночи. Несторъ Игнатьевичъ нетолько успѣвалъ кончить все къ шести часамъ вечера, когда къ нему приходилъ разсылный изъ редакціи, но даже и изъ этого времени у него почти всегда оставалось нѣсколько свободныхъ часовъ, которые онъ могъ употребить по своему произволу. Съ шести часовъ онъ обыкновенно сидѣлъ въ столовой и что нибудь читалъ своимъ хозяйкамъ. Анна Михайловна любила чтеніе, хотя въ послѣднее время за хлопотами и недосугами читала далеко меньше, чѣмъ Дора. Эта перечитала богъ-знаетъ сколько и, обладая неимоверною памятью, обо всемъ имѣла собственное, иногда не совсемъ вѣрное, но всегда вполне независимое мнѣніе.

Гостей у Анны Михайловны и у Дорушки бывало немного; даже можно сказать, что кромѣ Ильи Макаровича, у нихъ почти никто не бывалъ, но къ Долинскому кое-кто таки-навертывался, особенно изъ газетчиковъ. По семейному образу жизни, который Долинскій велъ у Прохоровыхъ, его знакомые незамѣтнымъ образомъ становились и знакомыми его хозяйекъ. Газетчики для Дорушки были народъ совершенно новый и она очень охотно съ ними знакомилась, но потомъ еще скорѣе начинала тяготиться этимъ знакомствомъ и старалась отъ нихъ отдѣлываться. Особенною ея антипатіею были два молодые газетчика: Спиридонъ Меркуловичъ Вывичъ и Иванъ Ивановичъ Шпандорчукъ. Это были люди того нехитраго разбора, который въ настоящее время не представляетъ уже никакого интереса. Нынче на нихъ смотрятъ съ тѣмъ же равнодушіемъ, съ какимъ смотрятъ на догорающій домъ, около котораго обломаны всѣ постройки и огонь ни чему по соудству сообщить не можетъ; но было другое, *старое* время, года три-четыре назадъ, когда и у насъ въ Петербургѣ и даже частію въ просторной Москвѣ на Неглинной безъ этихъ людей, какъ говорятъ, и вода не святилась. Было это доброе, простое время, когда въ извѣстныхъ слояхъ петербургскаго общества нельзя было повернуться не сталкиваясь съ Шпандорчукомъ

или Вывичемъ и когда многими нехитрыми людьми умъ и нравственные достоинства человѣка опредѣлялись тѣмъ, какъ этотъ человѣкъ относится къ Шпандорчукамъ и Вывичамъ. Такое положеніе заставляетъ насъ нѣсколько оторваться отъ хода событій и представить читателямъ образцы, можетъ быть, весьма скудныхъ разиѣровъ, выражающихъ отношеніе Доры, Анны Михайловны и Долинскаго къ этому рѣдкостному явленію петербургской цивилизаціи.

И Шпандорчукъ, и Вывичъ въ существѣ были люди незлые и даже довольно добродушные, но недалекіе и безтактные. Оба они, прочитавъ извѣстный тургеневскій романъ, начали называть себя нигилистами. Дора тоже прочла этотъ романъ и при первомъ словѣ кстати сказала:

— Нѣтъ, вы совсѣмъ не нигилисты.

— Какъ это, Дарья Михайловна?

— Да такъ, не нигилисты, да и только.

— Какъ же, когда мы сами говоримъ вамъ, что мы въ Бога не вѣруемъ и мы нигилисты.

— Сами вы можете говорить, чтó вамъ угодно, а все-таки вы не то, чтó тутъ названо нигилистомъ.

— Такъ чтó же мы такое по вашему?

— Богъ васъ, господа, знаетъ, чтó вы такое!

— Вотъ это-то и есть; вотъ такіе-то люди, какъ мы, и называются нигилистами.

— Знаете, по моему, какъ называются такіе люди, какъ вы? спросила смѣясь Дора.

— Нѣтъ, не знаемъ; скажите, пожалуйста.

— А не будете сердиться?

— Сердиться глупо. Всякая свобода—нашъ первый принципъ.

— Такъ видите ли, такіе люди какъ вы, называются *скучные люди*.

— А! а вамъ веселья хочется.

— Да не веселья, но помилуйте, что же это цѣлую жизнь сообщать въ видѣ новостей то, чтó каждому человѣку давно очень хорошо извѣстно: «А знаете ли, что мужикъ тоже человѣкъ? А знаете ли, что женщина тоже человѣкъ? А знаете ли, что богачи даютъ бѣдныхъ? А знаете ли, что человѣкъ долженъ быть свободенъ? Знаете ли, что цивилизація навывдумывала пропасть вздоровъ?» — Вѣдь это жъ, согласитесь, скучно! Кто жъ этого не знаетъ, и какой же умный человѣкъ со всѣмъ этимъ давно не согласенъ? И главное дѣло, что все-то вы насъ учите, учите... Право, даже страшно подумать, какіе мы, должно быть, всѣ умные скоро подѣлаемся! А въ самомъ-то дѣлѣ,

все это—нуль; на все это жизнь дунеть—и все это разлетѣлось; все выйдетъ совѣтъ не такъ, какъ написано въ рецептѣ.

— Да вотъ, то-то и есть, Дарья Михайловна, что вы и сами выходите нигилистка.

— Я! боже меня сохрани! отвѣчала Дора, и какъ-бы въ доказательство тотчасъ же перекрестилась.

— Да что же дурного быть нигилисткой?

— Ничего особенно дурного, и ничего особенно хорошаго, только на что мнѣ мундиръ? я не хочу его. Я хочу быть свободнымъ человѣкомъ, я не люблю зависимости.

— Да это и значить быть независимой. Вы сами не знаете, что говорите.

— Благодарю за любезность, но не вѣрю ей. Я очень хорошо знаю, что я такое. У меня есть совѣсть и какой случился свой царь въ головѣ, и кромѣ ихъ я ни отъ кого и ни отъ чего не хочу быть зависимой, отвѣчала съ раздувающимися ноздрями Дора.

— Крайнее свободолобіе!

— Самое крайнее.

— Но можно найти еще крайнѣе.

— Напримѣръ?

— Напримѣръ, можно даже стать въ независимость отъ здраваго смысла.

— А что жъ! Я, пожалуй, лучше соглашусь и на это! Лучше же быть независимою отъ здраваго смысла, и такъ ужъ и слыть дуракомъ или дурой, чѣмъ зависѣть отъ этихъ господъ, которые всѣхъ учатъ. Моя душа не дудка и я не позволю на ней играть никому, говорила она въ пылу горячихъ споровъ.

— Ну, а что же будетъ, если вы въ самомъ дѣлѣ наконецъ станете независимы отъ здраваго смысла? отвѣчали ей.

— Что? Свезутъ въ сумасшедшій домъ. Все же, говорю вамъ, это гораздо лучше, чѣмъ цѣлый вѣкъ слушать учителей, сбиваться съ толку и сдѣлаться пѣшкой, которую, пожалуй, еще другіе, чего добраго, слушать станутъ. Я жизни слушаюсь.

— Да вѣдь, странны вы, право! Теорію вѣдь жизнь же выработала, убѣждали Дашу.

— Нѣтъ-съ; ужъ это извините, пожалуйста; этому я не вѣрю! Теорія—сочиненіе, а жизнь—жизнь. Жизнь—это то, что есть, и то, что всегда будетъ.

— Значить, у васъ человѣкъ рабъ жизни?

— Извините, у меня такъ: думай что хочешь, а дѣлай, что долженъ.

— А что же вы *должны*?

— Должна? Должна я прежде всего работать и какъ можно больше работать, а потомъ не мѣшать никому жить свободно, какъ ему хочется, отвѣчала Дора.

— А не должны вы, напримѣръ, еще позаботиться о человѣческомъ счастьѣ?

— То-есть какъ же это о немъ позаботиться? Кому я могу доставить какое-нибудь счастье—я всегда очень рада; а всѣмъ, то-есть цѣлому человѣчеству, ничего не могу сдѣлать: ручки не доросли.

— Эхъ-съ, Дарья Михайловна! — ручки-то у всякаго доросли, да желанья мало.

— Не знаю-съ, не знаю. Для этого нужно очень много знать, вообще надо быть очень умнымъ, чтобъ не подѣлать еще худшей безтолочи.

— Такъ вы и рѣшаете быть въ сторонкѣ?

— Мимо чего пойду, то сдѣлаю — позволенія ни у кого просить не стану, а то, говорю вамъ, надо быть очень умной.

— Несторъ Игнатьичъ! да полноте же, батюшка, отмалчиваться! Какія же, наконецъ, *ваши* на этотъ счетъ мнѣнія? затыгивали Долинскаго.

— Это, господа, вѣдь все вещи рѣшенныя: «ищите прежде де всего царствія божія и правды его, а вся сія приложатся вамъ».

— Фу ты, какой онъ! Такъ отъ него и претъ моралью! Что это за царствіе, и что это за правда?

— Правда? Внутренняя правда—*быть*, а не *казаться*.

— А царствіе?

— Да что жъ вы меня разспрашиваете? Сами возрастъ имате: читите и разумѣйте.

— Это о небѣ.

— Нѣтъ, о землѣ.

— Обѣтованной, по которой потечетъ медъ и млеко?

— Да, конечно, объ обѣтованной, гдѣ нѣсть ни рабъ, ни свободъ, но всяческая и во всѣхъ одинъ духъ, одно желаніе любить другого, какъ самого себя.

— Я за васъ, Несторъ Игнатьичъ! воскликнула Дора.

— Да и я, и я! шумѣлъ Журавка.

— И я, говорили хорошіе глаза Анны Михайловны.

— Широко это, очень широко, батюшка Несторъ Игнатьичъ! замѣчалъ Вырвичъ.

— Да какъ же вы хотите, чтобы такая міровая идея была узка? чтобы она такъ-сказать въ аптечную коробочку, что ли, укладывалась?

— То-то вотъ отъ ширины-то ея, ей и не удастся до сихъ поръ воплотиться-то; а вы поуже, пояснѣе формулируйте.

— Да любви мало-съ. Вы говорите: идея не воплощается до сихъ поръ потому, что она очень широка, а посмотрите, не отъ того ли она не воплощается, что любви нѣтъ, что все и во имя любви-то дѣлается безъ любви вовсе.

Дорушка заплескала ладонями.

Эти споры Даша съ Вырвичемъ и съ Шпандорчукомъ обыкновенно затягивались долго. Даша давно терпѣть не могла этихъ споровъ, но по своей страстной натурѣ все-таки опять увлекалась и опять при первой встрѣчѣ готова была спорить снова. Шпандорчукъ и Вырвичъ тоже не упускали случая сказать ей нарочно что нибудь почуднѣй и снова втянуть Дорушку въ споры. За глаза же они надъ ней посмѣивались и называли ее «*философствующей воздержкой*».

Дора съ своей стороны тоже была о нихъ не очень выгоднаго мнѣнія.

— Чтѣ это за люди? говорила она Долинскому:—все вычитанное, все чужое, взятое напрокатъ, и своего рѣшительно ничего.

— Да чего вы на нихъ сердитесь? Они сколько видѣли, сколько слышали, столько и говорятъ. Все ихъ несчастье въ томъ, что они мало знаютъ жизнь, мало видѣли.

— И еще меньше думали.

— Ну, думать-то они, пожалуй, и думаютъ.

— Такъ какъ же ни до чего путнаго не додуматься?

— Да вѣдь это... Ахъ, Дарья Михайловна, и вы-то еще мало знаете людей!

— Это и неудивительно; но удивительно, какъ они другихъ учатъ, а сами какъ дѣти лепечутъ! Я, по крайней-мѣрѣ, нигдѣ невидная и ничего незнающая человѣчица, а вѣдь это... видите... разсуждаютъ совѣмъ будто какъ большіе!

Долинскій и Дора вмѣстѣ засмѣялись.

— Нѣтъ, а вы вотъ что, Несторъ Игнатьичъ, даромъ, что вы такой тихоня, а прехитрый вы человѣкъ. Что вы никогда почти не хотите меня поддержать передъ ними? говорила Дора.

— Да не въ чемъ-съ, когда вы и сами съ ними справляетесь. Я бы вѣдь такъ не соспорилъ, какъ вы.

— Отчего это?

— Да оттого, что за охота съ ними спорить? Вы вѣдь ихъ ничѣмъ не урезоните.

— Ну-съ?

— Ну-съ, такъ и говорить не стоитъ. Что мнѣ за радость открывать передъ ними свою душу! Для меня что очень дорого, то для нихъ ничего; васъ вотъ все это занимаетъ серьезно, а имъ лишь бы слова выпускать; вы убѣждаетесь, или разубѣждаетесь въ чемъ нибудь—а они много, что если зарядятся какимъ-нибудь впечатлѣніемъ, а то все такъ...

— Это, выходитъ, значить, что я глупо поступаю, споря съ ними? Долинскій тихо улыбнулся.

— Ммм, какой любезный! произнесла Дора, бросивъ ему въ лицо хлѣбнымъ шарикомъ.

— Вы думаете, что для нихъ ошибаться въ чемъ нибудь—очень важная вещь? Жизни не будетъ стоить: скажетъ, *ошибся*, да и дѣло къ сторонѣ; не изболитъ сердцемъ, и тѣломъ не похудѣетъ.

— Ахъ, Несторъ Игнатьичъ, Несторъ Игнатьичъ! кому жъ однако вѣрить-то остается? А вѣдь нужно же кому-нибудь вѣрить, хочется наконецъ вѣрить! говорила задумчиво Дора.

— Вѣруйте смѣлѣе въ себя, идите бодрѣе въ жизнь; жизнь сама покажетъ, что дѣлать: нужно имѣть умъ и правила, а не росписаніе, успокоивалъ ее Долинскій, и у нихъ перемѣнялся тонъ и заходила долгая, живая бесѣда, кончая которую Даша всегда говорила: зачѣмъ эти люди мѣшаютъ намъ говорить?

Долинскій самъ чувствовалъ, что очень досадно, зачѣмъ эти люди мѣшаютъ ему говорить съ Дорой, а эти люди являлись къ нимъ довольно рѣдко и разъ отъ разу посѣщенія ихъ становились еще рѣже.

— Ну, какое сравненіе разговаривать, напимѣръ, съ ними, или съ простодушнымъ Ильею Макаровичемъ? спрашивала Дора.— Это—человѣкъ, онъ живетъ, сочувствуетъ, любитъ, страдаетъ, однимъ словомъ *несетъ жизнь*; а тѣ, точно кукушки, по чужимъ гнѣздамъ прыгаютъ; точно ученые скворцы сверкочатъ: «дай скворушкѣ вѣшкѣ!» И еще этакія-то кукушки хотятъ, чтобы всѣ ихъ слушали. Нечего сказать, хорошо бы стало на свѣтѣ! Вышло бы что ни одной твари на землѣ нѣтъ глупѣе, какъ люди.

— Это мы вамъ обязаны за такое знакомство, шутила она

съ Долинскимъ.—Къ намъ прежде такія птицы не залетали. А впрочемъ, ничего—это очень назидательно.

— А не спорить я все-таки не могу, говорила она въ заключеніе.

Вывичъ и Шпандорчукъ пробовали заводить съ Дорушкой рѣчь о стѣсненности женскихъ правъ, но она съ перваго же слова осталась къ этому вопросу совершенно равнодушною. Развиватели дали ей прочесть нѣсколько статей, касавшихся этого предмета; она прочла всѣ эти статьи очень терпѣливо и сказала: «пожалуйста, не носите мнѣ больше этого сора».

— Неужто, говорили ей:—вы не сочувствуете и тому, что люди бьются за васъ же! бьются за ваши же естественныя права, которые у васъ отняты?

— Я очень довольна моими правами; я нахожу, что у меня ихъ ровно столько же, сколько у васъ, и отнять ихъ у меня никто не можетъ, отвѣчала Дора.

— А вотъ не можете быть судьей.

— И не хочу; мнѣ довольно судить самое себя.

— А другихъ вы судите чужимъ судомъ?

— Нѣтъ, своимъ собственнымъ.

— Спорщица! Когда ты перестанешь спорить? останавливала сестру Анна Михайловна, обыкновенно непринимавшая личнаго участія въ заходившихъ при ней длинныхъ спорахъ.

— Не могу, Аня; за живое меня задѣваютъ эти модныя фразы, горячо отвѣчала Дора.

— Но позвольте, вѣдь вы могли бы пожелать быть врачомъ? возражалъ ей Шпандорчукъ.

— Могла бы.

— И вамъ бы не позволили.

— Совершенно напрасно не позволили бы.

— А все-таки вотъ взяли бы, да и не позволили бы.

— Очень жаль, но я бы нашла себѣ другое дѣло. Нетолько свѣта, что въ окнѣ.

— Ну, хорошо-съ, ну, положимъ, вы можете себѣ создать такое другое независимое положеніе; а тѣ, которые не могутъ?

— Да о тѣхъ и говорить нечего! Кто не умѣетъ стать самъ, того не поставите. Бѣлинскій прекрасно говоритъ, что тому нѣтъ спасенія, кто въ слабости своей натуры носитъ своего врага.

— Ахъ, да оставьте вы, сдѣлайте милость, въ покоѣ вашего Бѣлинскаго! Помплуйте, что жъ это, приговоръ, что ли, что скальзъ Бѣлинскій?

— Въ этомъ случаѣ, да — приговоръ. Попробуйте-ка отнять независимость у меня, у моей сестры, или у Анны Анисимовны! Не угодно ли?

— Чтò это за Анна Анисимовна?

— А, это счастливое имя имѣетъ честь принадлежать совершенно независимой швеѣ изъ нашего магазина.

Дорушка любила ставить свою Анну Анисимовну въ примѣръ, и охотно рассказывала ея несекретную исторію.

— Вотъ видите! говорили ей послѣ этого рассказа развиватели:—а легко за то этой Аннѣ Анисимовнѣ?

— Ну, господа, простите меня великодушно! запальчиво отвѣчала Дора.—Кто смотритъ, легко ли ему, да еще выгодно ли ему отстоять свою свободу, тотъ ея не стоитъ и даже говорить о ней не долженъ.

— Да, женщина, почти каждая—раба; она раба и въ семьѣ, раба въ обществѣ.

— Потому что она большей частью раба по натурѣ.

— То-есть какъ это? Не можетъ жить безъ опеки?

— *Не хочетъ-съ*, не хочетъ сама себѣ помогать, продаетъ свою свободу за кареты, за положеніе, за прочія глупыя вещи. Раба! Всякій, кто дорожитъ чѣмъ нибудь, больше чѣмъ свободой—рабъ. Не все ли равно, женщина раба мужа, мужъ рабъ чиновъ и мѣстъ, вы рабы вашего либерализма: соболи, бобры—всѣ равны!

— Даже досюда идетъ!

— А еще бы! Вѣдь вы не смѣете быть не либераломъ?

— Потому что мы убѣждены...

— Убѣждены! съ улыбкой перебивала Дора.—Не смѣете, просто не смѣете. Не знаете, чтò дѣлать; не знаете, за что зацѣпиться, если васъ выключать изъ либераловъ. Отъ жизни даже отрекаетесь.

— Вотъ то-то, Дарья Михайловна, говорили ей:—не знаете вы, сколько труда въ послѣднее время положено за женщину.

— Это правда. Только я, господа, объ одномъ жалѣю, что я не писательница. Я бы всѣ силы мои употребила растолковать женщинамъ, что всѣ ваши о насъ попеченія... просто для насъ унизительны.

— Да что жъ, Дарья Михайловна, *унизительно*, вы говорите. Позвольте вамъ замѣтить, что въ настоящемъ случаѣ вы нѣсколько неосторожно увлеклись вашимъ самолюбіемъ. Мы хлопочемъ вовсе и не о васъ—то-есть не только не о васъ лично, а и вообще не объ однѣхъ женщинахъ.

— А о себѣ—я это такъ и догадывалась.

— Да хотя бы-съ и о себѣ! Пора наконецъ похлопотать и о себѣ, когда на насъ ложится весь трудъ и тяжесть заработка; а женщины живутъ въ тягость и себѣ и другимъ—ничего не дѣлаютъ. Вопросъ женскій—общій вопросъ.

— Да то-то вотъ, пожалуйста, хоть не называйте же вы этого вопроса *женскимъ*.

— А какъ же прикажете его называть въ вашемъ присутствіи?

— *Барыньскій, дамскій*—однимъ словомъ, какъ тамъ хотите, *только не женскій*, потому что, если дѣло идетъ о томъ, чтобъ русская женщина трудилась, такъ она, русская-то женщина, monsieur Шпандорчукъ, всегда трудилась и трудится, и трудится нерѣдко гораздо больше своихъ мужчинъ. А это вы говорите о барышняхъ, о дамахъ—такъ и не называйте же ихняго вопроса нашимъ *женскимъ*.

— Мы говоримъ вообще о развитой женщинѣ, которая въ наше время не можетъ себѣ добыть хлѣба.

— *Развившаяся до того, что не можетъ добыть себѣ хлѣба!*
ха-ха-ха...

Доружка неудержимо расхохоталась.

— Не смѣшите, пожалуйста, людей, господа! Эти ваши, такимъ манеромъ развившіяся женщины, не въ наше только время, а *во всякое время* будутъ безъ хлѣба.

— Нѣтъ-съ, это немножко не такъ будетъ. А впрочемъ, гдѣ же эти ваши и не дамы, и не барышни, и ужъ разумѣется тоже и не судомойки же, а женщины?

— А-а! это, господа, ужъ ищите, да-съ, ищите, какъ голодный хлѣба ищетъ. Женщина вѣдь стоитъ того, чтобъ ее поискать повнимательнѣе.

— Но гдѣ-съ? гдѣ?

— А-а! вотъ то-то и есть. Помните, какъ Кречинскій говорить о деньгахъ: «деньги вездѣ есть, во всякомъ домѣ, только надо знать, гдѣ онѣ лежатъ; надо знать, какъ ихъ взять». Такъ точно и женщины: вездѣ онѣ есть, въ каждомъ общественномъ кружочкѣ есть женщины, *только нужно ихъ уметь найти*, проговорила Доружка, стучая внушительно ногой по столу.

— Да и о чемъ собственно рѣчь-то? вмѣшался Долинскій. — Если объ общемъ счастьи, о мужскомъ и о женскомъ, то я все не думаю, чтобы женщины стали счастливѣе, если мы ихъ завалимъ работою и заботою; а мужчина, который дѣйствительно

любитъ женщину, тотъ самъ охотно возьметъ на себя все тяжелейшее. Что тамъ ни вводите, а полюбя женщину, я все-таки стану заботиться, чтобы ей было легче, такъ-сказать, чтобы ей было лучше жить, а не буду производить надъ ней опыты, сколько она вытянетъ. Мнѣ же пріятно видѣть ее счастливою и знать, что это я для нея устроилъ!

— Да съ, это прекрасно, только съ одной стороны — со стороны поэзіи; а вы забываете, что есть и другія точки, съ которыхъ можно смотрѣть на этотъ вопросъ: наприкладъ, съ точки хлѣба и брюха.

Долгинскій нѣсколько смутился словомъ «брюхо», и отвѣчалъ:

— То-есть вы хотите сказать: со стороны денегъ; ну, что же-съ! Если женщина даетъ вамъ счастье, создаетъ ваше благополучіе, то неужто она не участвуетъ такимъ образомъ въ вашемъ трудѣ и не имѣетъ права на вашъ заработокъ? Она вашъ половинщикъ во всемъ—въ горѣ и радостяхъ. Какъ вы разцѣните на рубли вліяніе, которое хорошая женщина можетъ имѣть на васъ, освѣжая вашъ духъ, поддерживая въ васъ бодрость, успокоивая васъ лаской, однимъ словомъ—утѣшая васъ своимъ присутствіемъ и поднимая васъ, и на работу, и на мысль, и на все хорошее? Можетъ быть, не половина, а восемь десятыхъ, даже все почти, что вы заработаете, будетъ принадлежать ей, а не вамъ, несмотря на то, что это будетъ заработано вашими руками.

— Все же, я думаю, согласитесь вы, что нужно развить въ женщинѣ вкусъ, то-есть я хотѣлъ сказать, развить въ ней любовь и къ труду и къ свободѣ, чтобы она умѣла цѣнить свою свободу и ни на что ее не промѣнивала.

— Да противъ этого никто ничего не говоритъ. Давай имъ Богъ и этой любви къ свободѣ, и умѣнья честно достигать ее—одно другому ничуть не мѣшаетъ.

— Кто цѣнить свою свободу, тотъ ни на что ее и такъ не промѣняетъ, тотъ и самъ отстоитъ ее и советамъ не по вашимъ рецептамъ, равнодушно сказала Дора.

— А вы забываете наши милые законы, заговорилъ, перемѣняя тонъ, Шпандорчукъ.

— Очень они мнѣ нужны ваши законы! Я сама себѣ законъ. Не убиваю, не краду, не буяню — какое до меня дѣло закону?

— Ну, а если вы полюбите и законъ станетъ вамъ поперегъ дороги?

— Что за вздоръ такой вы сказали! Гдѣ же есть для любви законы? Люблю—вотъ и все.

— И какъ же будете поступать?

— Какъ уважить мое чувство.—Нѣтъ, всѣ вы, господа—рабы, загнанчивала Дора.

Съ нею обыкновенно никто изъ спорящихъ не соглашался и даже нерѣдко ставили Дорушку въ затруднительное положеніе заученными софизмами, но всего чаще она на голову побивала своею живою и простою рѣчью всѣхъ своихъ ученыхъ противниковъ, и Несторъ Игнатьевичъ ликовалъ за нее, молча похаживая по оглашенной споромъ комнатѣ.

— Бѣдовая эта ученая швейка! говорили о ней ея новые знакомые.

— Да, разсуждаетъ!

— Придетъ, братъ, видно, точно шекспировское время, что мужикъ станетъ наступать на ногу дворянину и не будетъ извиняться. Я, разумѣется, понимаю *дворянина мысли*.

— Ну, еще бы!

— Надъ ней, однако, очень бы стоило поработать прилежно, заключилъ Вyrвичъ.

— Очень жаль, что вы безъ системы все читаете, поучительно заявлялъ онъ ей одинъ разъ.

— Напротивъ, спросите Нестора Игнатьича; я его, я думаю, замучила, заставляя переводить себѣ.

— Несторъ Игнатьичъ—извѣстный старовѣръ.

— А какая же новая-то есть вѣра? спросилъ сквозь зубы Долинскій.

— Вѣра въ лучшихъ людей и въ лучшее будущее.

— Это самая старая вѣра и есть, также нехотя и равнодушно отвѣчалъ Долинскій.

— Да-съ, да это не о томъ, а о томъ, что Дарья Михайловна съ вами, я думаю, въ чемъ вѣдь упражняется? Все того же Шекспира небось заставляетъ себѣ переводить?

— Русскихъ журналовъ я болѣе не читаю, отвѣчала за Долинскаго Дора.

— Это за что такая немилость?

— Нечего читать. Своихъ прежнихъ писателей я всѣхъ знаю, а новыхъ... да и новыхъ, впрочемъ, знаю.

— Даже не читавши!

— А это васъ удивляетъ? тутъ ничего нѣтъ такого удиви-

тельного. Дѣло очень извѣстное: всѣ вѣдь почти они на одинъ фасонъ! одинъ говоритъ: пусть женщина отдается по первому влеченію, другой говоритъ— пусть никому не отдается; одинъ учить, какъ наживать деньги, другой—говорить, что деньги наживать нечестно, что надо жить совсѣмъ иначе, а самъ живетъ еще иначе. Все одна докучная басня: «жили были кутиль да журавль; накосили они себѣ стожекъ сѣнца, поставили посередь поляца, не сказать ли вамъ опять съ конца?» зарядила сорока «Якова», и съ тѣмъ до всякаго.

— А у вашего Шекспира?

— А у моего Шекспира? А у моего Шекспира — вотъ что: я вотъ сегодня устала, забила свою голову всякой дразгой домашней, а прочла Ричарда—и это меня освѣжило; а прочитай я какую-нибудь вашу статью, или нравоученіе въ лицахъ—я бы только разозлилась, или еще больше устала.

— Въ Ричардѣ-Третьемъ—жизнь!... О, разумъ!—къ тебѣ взываю. Чтò это такое, эта Анна? Уродъ невозможный. Живая на небо летитъ за мертвымъ мужемъ, и тутъ же на шею вѣшается его убійца. Помилуйте, развѣ это возможно?

— Иль палецъ выломить *любя*, какъ леди Перси, вставить съ своей стороны Шпандорчукъ.

— Да... и палецъ выломить, спокойно отвѣчала Дора.

— Такъ ужъ послѣдовательно идя, почему жъ не свернуть *любя* и голову?

— Да... свернуть и голову.

— Любя!

Дорушка помолчала, и посмотрѣвъ на обоихъ оппонентовъ, медленно проговорила, качая своею головою:

— Эхъ, господа, господа! Какія у васъ должны быть крошечныя-крошечныя страстишки-то! — Она приложила палецъ къ концу ногтя своего мизинца и добавила:—вотъ этакія, должно быть, чупучныя, малюсенькія, меньше воробьиного носка.

— Прекрасно-съ! ну, пусть тамъ страсти, такъ и страсти; но зачѣмъ же въ небо-то было лѣзть?

— Да что вы такъ этого неба боятесь? Не беспокойтесь, пожалуйста, никто живьемъ ни въ небо не вскочитъ, ни въ землю совсѣмъ не закопается.

Журавка обыкновенно фыркалъ, пыхалъ, подпрыгивалъ и вообще ликовалъ при этихъ спорахъ. Вырвать и Шпандорчукъ одинъ или два раза круто поспорили съ нимъ о значеніи худо-

жества и вообще говорили объ искусствѣ неуважительно. Илья Макаровичъ былъ плохой діалектикъ; онъ не могъ соспорить съ ними, и за то питаль къ нимъ всегдашнюю затаенную злобу.

Чуть, бывало, онъ завидитъ ихъ еще изъ окна, какъ сейчасъ же завертится, забѣгаетъ, потираетъ свои руки и кричитъ: «волхвы идутъ! волхвы, гадалы! сейчасъ будутъ намъ будущее предсказывать».

Съ появленіемъ Выврича и Шпандорчука, Журавка стихаль, усаживался въ уголокъ и только тихонько пофыркивалъ. Но за то пересидѣвъ ихъ и дождавшись когда они уйдутъ, онъ тотчасъ же вскакивалъ и шумѣлъ безпощадно.

— Кошлячкй! кошлячкй! говорилъ онъ о нихъ:—отличные кошлячкй!—Славные такіе, все какъ на подборъ шершавинкйе, все сѣренкйе, сухенькйе, такіе, что хоть выжми ихъ, такъ ничего живаго не выйдетъ... То-есть, добавлялъ онъ, кипятаясь и волнуясь:—то-есть вотъ, что называется, ни вкуса-то, ни радости, опричь самой гадости... Торчатъ на свѣтѣ, какъ вывѣтрѣлыя шишки еловыя... Тѣфу, вы сморчки ненавистныя!

Долинскій всей душой сочувствовалъ Дорѣ, но вслѣдствіе ея молодости и дѣтскаго ея положенія при нѣжной, страстно ее любящей сестрѣ, онъ привыкъ смотрѣть на нее только какъ на богато-одаренное дитя, у котораго все еще... не устоялось и бродить. Онъ очень любилъ Дору и съ удовольствіемъ исполнялъ каждое ея желаніе, но ко многимъ ея требованіямъ относился какъ къ капризамъ ребѣнка и даже исполнялъ ихъ съ снисходительной улыбкой. Дорушка, при всемъ своемъ умѣ и прочихъ хорошихъ качествахъ, дѣйствительно иногда позволяла себѣ немножко покапризить, и материнское снисхожденіе Анны Михайловны къ этимъ капризамъ упрочивало за ея сестрою положеніе дитяти. Въ поведеніи Дорушки такн-случались своего рода грѣшки и странности, и Анна Михайловна не безъ основанія говаривала, что Дора про себя самое поетъ романсъ:

«То безъ рѣчей, то говорлива,
«То холодна, то жжетъ въ ней кровь».

Отношенія Долинскаго къ Аннѣ Михайловнѣ были совершенно иныя. Это было что-то въ родѣ благоговѣйнаго почтенія. Долинскій даже переиживался въ лицѣ, когда Анна Михайловна относилась къ нему съ вопросомъ. Онъ смотрѣлъ на нее, какъ на что-то неприкосновенное, высшее обыкновенной женщины; разговаривалъ съ нею онъ, не сводя своего взора съ ея прекрасныхъ

глазъ; держался передъ нею, какъ передъ идоломъ: ни слова необдуманнаго, ни шутки веселой—словомъ, ничего такого, что онъ даже позволялъ себѣ въ присутствіи одной Доры—онъ не могъ сдѣлать при Аннѣ Михайловнѣ. Если Анна Михайловна, которая любила походить въ сумерки по комнатѣ, заводила съ Долинскимъ рѣчь о дѣлахъ, онъ весь обращался въ слухъ, во вниманіе и Анна Михайловна скоро стала чувствовать безотчетное влеченіе о всѣхъ своихъ нуждахъ и заботахъ поговорить съ Несторомъ Игнатьевичемъ. Въ его бесѣдѣ не было ни энергической порывчивости Доры, ни верхолетной суетливости Ильи Макаровича, и слова Долинскаго ближе ложились къ сердцу тихой Анны Михайловны, чѣмъ слова сестры и художника. Въ чувствѣ Долинскаго къ Аннѣ Михайловнѣ преобладаю именно благоговѣйное поклоненіе высокимъ и скромнымъ достоинствамъ этой женщины, а вмѣстѣ и глубокая, нѣжная любовь, чуждая всякаго знакомства съ страстью. Анна Михайловна очень уважала въ Долинскомъ хорошаго человѣка, жалѣла о его разбитой жизни и... ей нравилось то робкое благоговѣніе къ ней, которое она внушила этому человѣку безъ всякаго умысла, но котораго однако не могла не замѣтить и которымъ не отказывала себѣ иногда скромно любоваться ея женское самолюбіе.

Такъ прошелъ цѣлый годъ. Всѣ были счастливы, всѣмъ жилось хорошо, всѣ были довольны другъ другомъ. Илья Макаровичъ, забѣгая разъ-два въ недѣлю хватить водчонки, говорилъ Долинскому: «Спасибо тебѣ, Несторка—отлично, братецъ, ты себя ведешь, отлично!» Илья Макаровичу и даже проницательной Дорѣ и въ умъ не приходило пощупать Анну Михайловну или Долинскаго съ ихъ сердечной стороны. А тѣмъ временемъ ихъ тихія чувства крѣпили и крѣпили.

Задумалъ Долинскій, по дорушкиному же подстрекательству, написать небольшую повѣсть. Писалъ онъ неспѣшно, довольно долго, и по мѣрѣ того, что успѣвалъ написать между своею срочной работой, читалъ по кусочкамъ Аннѣ Михайловнѣ и Дорушкѣ.

Сначала Дора, внимательно слѣдившая за медленно подвигавшеюся повѣстью, не замѣчала въ ней ничего, кромѣ ея красотъ или недостатковъ въ выполненіи; но вдругъ вниманіе ея стало останавливаться на сильномъ сходствѣ характера самого симпатичнаго женскаго лица повѣсти съ дѣйствительнымъ характеромъ Анны Михайловны. Еще немножко позже она замѣтила, что ея

всегда ровная и спокойная сестра слѣдитъ за ходомъ повѣсти съ страшнымъ вниманіемъ; увлекается, дѣлая замѣчанія; горячо спорить съ Дорою и просто дрожить отъ радости при каждой удачной сценкѣ. Дописавъ Долгинскій повѣсть до конца и ставъ выправлять ее и окончательно готовить къ печати. Черезъ недѣлю онъ прочелъ ее всю разомъ въ совершенно отдѣланномъ видѣ.

— Да это у васъ живая Аня списана! вскрикнула по окончаніи чтенія Дора.

Анна Михайловна и Долгинскій смутились.

Дора посмотрѣла на нихъ обоихъ и не заводила объ этомъ болѣе рѣчи; но дня два была какъ-то задумчивѣе обыкновеннаго, а потомъ опять вошла въ свою колею и шутила.

— Вотъ погоди, скоро его какой-нибудь пріятель отваяетъ за эту повѣсть, говорила она Аннѣ Михайловнѣ, когда та въ десятый разъ просматривала напечатанную въ журналѣ повѣсть Долгинскаго.

— За что же? вся вспыхнувъ и потерявшись, спросила Анна Михайловна.

— Будто ругаютъ за что нибудь. Такъ, просто, потому что это ничего не стоитъ.

Дорушка замѣтила, что сестра ея поражена мыслью о томъ, что Нестора Игнатьевича могутъ разбранить, обидѣть и вообще не пожалѣть его, когда онъ самъ такой добрый, когда онъ самъ такъ искренно всѣхъ жалѣетъ.

— Гм! такъ, видно, этому дѣлу и быть, произнесла Дора, долго посмотрѣвъ на Анну Михайловну и тихонько выходя изъ комнаты.

— Что ты, Дорушка, сказала? спросила ее вслѣдъ сестра.

— Что такъ этому дѣлу и быть.

— Какому, душка, дѣлу?

— Да никакому, мой другъ! Я такъ себѣ богъ-знаетъ что болтнула, отвѣчала Дорушка и, возвратясь, поцаловала сестру въ лобъ и ласково разгладила ея волосы.

IX.

Мальчикъ Бобка.

Прошло очень немного времени, какъ Дорѣ представился новый случай наблюдать сестру по отношенію къ Долгинскому.

Одинъ разъ, въ самый ясный погожій осенній день, позднимъ утромъ, такъ часовъ около двѣнадцати, къ Аннѣ Михайловнѣ забѣжалъ Журавка, а черезъ нѣсколько минутъ, какъ по сигналу, явились Шпандорчукъ и Вырвичъ, и у Доры съ ними, за кофе, къ которому они сошлись-было въ столовую, закипѣлъ какой-то ожесточенный споръ. Чтобы положить конецъ этому пренію, и не потерять рѣдкаго въ эту пору хорошаго дня, Долинскій, допивъ свою чашку, тихонько вышелъ и возвратился въ столовую въ пальто и въ шляпѣ: на одной рукѣ его была перекинута драповая тальма Доры, а въ другой онъ бережно держалъ ея сѣренькую кастановую шляпу съ черными марабу. Замѣтивъ Долинскаго, Дора улыбнулась и сказала:

— Pardon, господа! мой вѣрный папъ готовъ.

— Да-съ, готовъ, отвѣчалъ Долинскій:—и полагаетъ, что его благородной госпожѣ будетъ гораздо полезнѣе теперь пройтись по свѣжему воздуху, чѣмъ спорить и кипятиться.

— Кажется, вы правы, произнесла Дора, оборачиваясь къ нему спиною, для того, чтобы тотъ могъ надѣть ей тальму, которую держалъ на своей рукѣ.

Долинскій раскрылъ тальму и уже поднесъ ее къ доринимъ плечамъ, но вдругъ остановился, и поднявъ вверхъ одинъ палецъ, тихо произнесъ: тсс!

Всѣ посмотрѣли на него съ нѣкоторымъ удивленіемъ, но никто не сказалъ ни слова, а между тѣмъ Долинскій швырнулъ въ сторону тальму, торопливо подошелъ къ двери, которая вела въ рабочую комнату, и притворивъ ее безъ всякаго шума, схватилъ Дорущку за руку, и весь дрожа всѣмъ тѣломъ сказалъ ей:

— Вызовите Анну Анисимовну въ мои комнаты! Да сейчасъ! сейчасъ вызовите!

— Чтò такое!? спросила удивленная Дора.

— Зовите ее оттуда! отвѣчалъ Долинскій, крѣпко подернувъ Дорину руку.

— Да чтò? чтò?

Вмѣсто отвѣта Долинскій взялъ ее за плечи и показалъ рукою на фронтонъ высокаго надворнаго флигеля.

— Ахъ! произнесла чуть слышно Дорущка, и побѣжала къ комнатамъ Долинскаго. — Душенка! Анна Анисимовна! говорила она, пдучи: — подите ко мнѣ, мой дружочекъ, съ иглою въ Несторъ Игнатьичеву комнату.

По коридорчику вслѣдъ за Дашей прошумѣло ситцевое платье Анны Анисимовны.

Между тѣмъ всѣ столпились у окна, а Долинскій, шепнувъ имъ: «видите, Бобка на карнизѣ!» выбѣжалъ, и снова возвратясь черезъ секунду, проговорилъ, задыхаясь: «Бога-ради, чтобъ не было шума! Анна Михайловна! Пожалуйста, чтобъ ничто не привлекало его вниманія!»

Сказавъ это, Долинскій исчезъ за дверью, и въ это мгновеніе какъ-то никому не пришло въ голову ни остановить его, ни спросить о томъ, что онъ хочетъ дѣлать, ни подумать даже, что онъ можетъ сдѣлать въ этомъ случаѣ.

Общее вниманіе было занято карнизомъ. По узкому деревянному карнизу, крытому зеленымъ листовымъ желѣзомъ, и отдѣляющему фронтонъ флигеля и бѣлевую сушильню отъ верха третьяго жилого этажа, преспокойнымъ образомъ, весело и граціозно ползъ самый маленькій, трехлѣтній сынъ Анны Анисимовны, всеобщій фаворитъ Борисушка, или Бобка. Онъ ползъ на четверенькахъ по направленію отъ слуховаго окна, изъ котораго онъ выбрался, къ острому углу, подъ которымъ крыша соединяется съ фронтономъ. Передъ нимъ, въ нѣсколькихъ шагахъ разстоянія, подпрыгивалъ и взмахивалъ связанными крылышками небольшой сизый голубокъ, котораго ребѣнокъ все старался схватить своею пухленькою ручкою. Голубокъ не дѣлалъ никакой попытки разомъ отдѣлаться отъ своего преслѣдователя; чуть ребѣнокъ, подвинувшись на колѣночкахъ, распускалъ надъ нимъ свою ручку, голубокъ встрепенулся, взмахивалъ крылышками, показывая свои бѣленькія подмышки, припрыгивалъ два раза, потомъ дѣлалъ своими красненькими ножками два вершковыя шага, и опять давалъ Бобкѣ подползати и изловчаться. Голубокъ отодвигался, и Бобка сейчасъ же заносилъ ножонку впередъ и осторожно двигался на четверенькахъ. Тонкіе желѣзные листы, которыми былъ покрытъ полусгнившій карнизъ, гнулись и подъ маленькимъ тѣломъ Бобки, и гнувшись шумѣли; а изъ-подъ нихъ на землю потихоньку сыпалась гнилая пыль гнилого карниза. Бобкѣ оставалось два шага до соединенія карниза съ крышею, гдѣ онъ непременно бы поймалъ своего голубя, и откуда бы еще непременно же полетѣлъ съ нимъ вмѣстѣ съ десятисаженной высоты на дворовую мостовую. Гибель Бобки была неизбежна, потому что голубь бы непременно удалялся отъ него тѣмъ же аллюромъ до самаго угла соединенія карниза съ крышей, гдѣ маль-

чикъ ни за что не могъ ни разогнуться, ни поворотиться; надѣяться на то, чтобы ребѣнокъ догадался двигаться задомъ, было довольно трудно, да и всякій, кому въ дѣтствѣ случалось путешествовать по такъ-называемымъ «кошачьимъ дорогамъ», тотъ, конечно, пойметъ, что такой фортель былъ для Бобки совершенно невозможенъ. Еще двѣ-три минуты, или какой-нибудь шумъ на дворѣ, который бы заставилъ его оглянуться внизъ, или откуда нибудь сердобольный совѣтъ, или крикъ ужаса и состраданія—и Бобка бы непременно оборвался и легъ бы съ разможеннымъ черепомъ на гладкихъ голышахъ почти передъ самымъ окномъ, у котораго работала его бѣдная мать.

Но, на бобкино счастье, во дворѣ никто не замѣтилъ его воздушнаго путешествія. И Журавка, выбѣжавшій вслѣдъ за Долинскимъ, совершенно напрасно, тревожно стоя подъ карнизомъ, грозилъ пальцемъ на всѣ внутреннія окна дома. Даже Анны Михайловны кухарка, рубившая котлетку прямо противъ окна, изъ котораго видно было каждое движеніе Бобки, преспокойно работала сѣчкой и распѣвала:

Полюбила я любовничка,
Канцелярскаго чиновничка;
По головкѣ его гладила,
Волоса ему помадила.

Долинскій, выйдя изъ комнаты, духомъ перескочилъ дворикъ и въ одно мгновеніе очутился на чердакѣ за деревяннымъ фронтономъ.

— Бобка! позволь онъ потихоньку сквозь доски, стараясь говорить какъ можно спокойнѣе, и какъ разъ у мальчиковой головы.

— А! отозвался на знакомый голосъ юный Блондентъ.

— Гляди-ко сюда! продолжалъ Долинскій, имѣя въ виду привлечь глаза мальчика къ стѣнѣ, чтобы онъ далѣе не трогался и не глянулъ какъ-нибудь внизъ...

— Говабъ повзааетъ, говорилъ весь сіяя Бобка.

— Вижу; а ты гляди-ко, Бобка, какъ я его шельму сейчасъ изловлю!

— Ну, ну, ну, лови! отвѣчалъ мальчикъ, и самъ возрился въ одно мѣсто на нижней доскѣ фронтона.

— Ты только смотри, Бобка, не трогайся, а я уже его сейчасъ.

Мальчикъ отъ радости оскалилъ бѣленькіе зубенки, и закусилъ большой палецъ своей лѣвой руки.

Въ это же мгновеніе, въ слуховомъ окнѣ показалась прелестная голова Долинскаго. Красивое, дышащее добротою и кротостью

лицо его было оживлено свѣжею краскою спокойной рѣшимости; волнистые волосы его разсыпались отъ вѣтра и легкими, тонкими прядями прилипали къ лицу, покрывающемуся отъ страха крупными каплями пота. Черезъ мгновеніе вся его стройная фигура обрисовалась на сѣромъ фонѣ выпѣтшаго фронтона, и прежде чѣмъ желѣзные листы загромыхали подъ его ногами, лѣвая рука Долинскаго ловко и крѣпко схватила ручонку Бобки. Правую рукою онъ сильно держался за край слуховаго окна, и въ одну секунду бросилъ въ него мальчика, и вслѣдъ за нимъ прыгнуть туда самъ.

Все это произошло такъ скоро, что когда Долинскій съ Бобкою на рукахъ проходилъ черезъ кухню, кухарка еще не кончила пѣсеню про любовничка, канцелярскаго чиновничка, и рассказы-вала, какъ она

Нанюла его мятю,
Обложила кругомъ ватю.

— Ахъ, скверный ты мальчижь! нервно вскрикнула Анна Михайловна при видѣ Бобки.

— На силу поймажь, говорилъ весело Долинскій.

— Боже-мой, какой страхъ былъ!

Изъ коридора выбѣжала блѣдная Анна Анисимовна: она-было сердито взяла Бобку за щюбокъ, но тотчасъ же разжала руку, схватила мальчика на руки и страстно впиалась губами въ его розовыя щюки.

— Миндаль вамъ за спасеніе погибавшаго, проговорилъ шутливо Вирвичъ, подавая Долинскому выколупнутую съ булки поджареную миндалину.

Анна Михайловна вспыхнула.

— Страшно! у васъ голова могла закружиться, говорила она, обращаясь къ Долинскому.

— Нѣтъ, это вѣдь одна минута; не надо только смотрѣть внизъ, отвѣчалъ Долинскій, спокойно кладя на столъ поданную ему миндалинку, и съ этими словами ушелъ въ свою комнату, а оттуда вмѣстѣ съ Дашею прошелъ черезъ магазинъ на улицу.

Часа черезъ полтора, когда они возвратились домой, Дора застала сестру въ ея комнатѣ, сильно встревоженною.

— Чтò это такое съ тобою? спросила она Анну Михайловну.

— Ахъ, Дорунька, не можешь себѣ вообразить, какъ меня разбѣсили!

— Ну?

— Да вот эти господа ненавистные. Только что вы ушли, какъ начали они разсуждать, слѣдовало или не слѣдовало Долнскому снимать этого мальчика, и просто вывели меня изъ терпимости.

— Рѣшили, что не слѣдовало?

— Да! Рѣшили, что дворника надо было послать; потомъ стали увѣрять меня, что здѣсь никакого страха нѣтъ, и никакого риска нѣтъ; потомъ ужъ опять, какъ-то опять стало выходить, что рискъ былъ, и что потому-то именно не слѣдовало рисковать собой.

— Да вѣдь они ничѣмъ и не рисковали, у окошка стоя. Жаль, что я ушла, не послушала рѣчей умныхъ.

— Ужъ именно! И чтѣ только такое тутъ говорилось!... и о развитіи, и о томъ, что отъ гибели одного мальчика человечеству не стало бы ни хуже, ни лучше; что истинное развитіе обязываетъ человѣка беречь себя для жертвъ болѣе важныхъ, чѣмъ одна какая-нибудь жизнь, и все такое, что просто... разстроили меня.

— Что ты даже взялась за гофманскія капли?

— Ну, да.

— Успокойся, моя Софья Павловна, твой Молчалинъ живъ; ни лбомъ не треснулся о землю, ни затылкомъ, проговорила Дора, развязывая передъ зеркаломъ ленту своей шляпы.

— И ты тоже! нетерпѣливо сказала Анна Михайловна.

— Господи, да чтѣ такое за «негронецъ-меня» этотъ Долнскій!

— Не Молчалинъ онъ, а я не Софья Павловна.

— Пожалуйста прости, если неловко пошутила. Я не знала, что съ тобой на его счетъ ужъ и пошутить нельзя, сухо проговорила, выходя изъ комнаты, Дора.

Черезъ минуту Анна Михайловна вошла къ Дорухѣ, и молча поцаловала ея руку; Дора взяла обѣ руки сестры и обѣ ихъ поцаловала также молча.

Въ очень короткое время Анна Михайловна удивила Дору еще болѣе поступкомъ, который прямо несвойственъ былъ ея характеру. Анна Михайловна и Дора какъ-то случайно знали, что Шпандорчукъ и Вывичъ частенько заимствовали у Долнскаго небольшими деньжонгами, и что долги эти частію кое-какъ отдавались пополамъ съ грѣхомъ, а частію не отдавались вовсе и возрастали до цифръ, хотя и небольшихъ, но все-таки для рабочаго человѣка кое-что значущихъ. Было извѣстно также и то, что Долнскій иногда самъ очень сбивается съ копейки, и что въ одну изъ такихъ минутъ, онъ самымъ мягкимъ и дели-

катнымъ образомъ попросилъ ихъ, не могутъ ли они ему отдать что нибудь? но отвѣта на это письмо не было, и Долинскій пересталъ даже напоминать пріятелямъ о долгѣ. Эта деликатность злила необыкновенно самолюбиваго Шпандорчука; ему непременно хотѣлось отомстить за нее Долинскому, хотѣлось хоть какой-нибудь гадостью расквитаться съ нимъ въ долгѣ, и поссорившись уничтожить всякую мысль о какой бы то ни было расплатѣ. Но поссориться съ Несторомъ Игнатьевичемъ бывало гораздо труднѣе, чѣмъ помириться съ глупой женщиной. Шпандорчукъ пробовалъ ему и кивать головою, и подавать ему два пальца, и полунасмѣшливо отвѣчать на его вопросы, но Долинскій хорошо зналъ, сколько все это стоитъ, и не удостоивалъ этихъ продѣлокъ никакого вниманія. Шпандорчуку даже видъ Долинскаго сталъ ненавистенъ.

— Какое это у васъ лицо, гляжу я? говорилъ одинъ разъ, прощаясь съ нимъ, Вырвичъ.

— Какое лицо? спросилъ, не понимая вопроса, Долинскій.

— Да я не знаю, что такое, а Шпандорчукъ что-то увѣряетъ, что у Долинскаго, говорить, совсѣмъ неблагопристойное лицо какое-то дѣлается.

Вырвичъ откровенно захохоталъ.

— А это вѣрно господинъ Шпандорчукъ не чувствуетъ ли себя передъ Несторомъ Игнатьичемъ въ чемъ нибудь... неисправнымъ? тихо вмѣшалась Анна Михайловна. — Всѣ пустые люди, продолжала она:—у которыхъ очень много самолюбія и есть какіе-то слѣды совѣсти, а нѣтъ ни искренности, ни желанія поправиться, всегда кончаютъ этимъ, что ихъ раздражаютъ лица, напоминающія имъ объ ихъ собственной гадости. Все это Анна Михайловна проговорила съ такимъ холоднымъ спокойствіемъ и съ такимъ достоинствомъ, что Вырвичъ не нашелся сказать въ отвѣтъ ни слова, и красненькій-раскрасненькій молча вышелъ за двери.

— Вотъ, братъ, отдѣлала тебя! началъ онъ, являясь домой, и рассказалъ всю эту исторію Шпандорчуку.

— Кто васъ просить сообщать мнѣ такія мерзости! взвизгнулъ Шпандорчукъ, нестово вскакивая съ постели.—Я ей, негодяйкѣ, просто... уши оболтаю на Невскомъ! зарѣшилъ онъ, перекрутивъ и бросивъ на полъ коробочку изъ-подъ зажигательныхъ спичекъ.

Съ этихъ поръ ни Вырвичъ, ни Шпандорчукъ не показывались въ домъ Анны Михайловны, и послѣдній, встрѣчаясь съ нею,

всегда поднималъ носъ какъ можно выше, по недостатку смѣлости заодно смотрѣлъ въ сторону.

Х.

ИНТЕРЕСНОЕ ДОМНО.

Была зима. Святки наступили. Долинскому кто-то подарилъ семейный билетъ на маскарады дворянскаго собранія. Дорушка во что бы то ни стало хотѣла быть въ этомъ маскарадѣ, а Аннѣ Михайловнѣ наоборотъ—смерть этого не хотѣлось, и она всячески старалась отговорить Дашу. Для Долинскаго было все равно: ѣхать ли въ маскарадъ, или просидѣть дома.

— Охота тебѣ, право, Дора! отговаривалась Анна Михайловна.—Въ благородномъ собраніи бываетъ гораздо веселѣе—да не ѣздишь, а тутъ что? Кого мы знаемъ?

— Я? я знаю цѣлый десятокъ франтихъ и всѣ ихъ грязные романы, и нынче всѣ ихъ перепутаю. Ты знаешь эту барыню, которая какъ взойдетъ въ магазинъ—сейчасъ вотъ такъ начинается водить носомъ по потолку? Сегодня она потерпитъ самое страшное пораженіе.

— Полно вздоры затѣвать, Дора!

— Нѣтъ, пожалуйста, поѣдемъ.

И поѣхали.

О томъ, какъ залъ сіялъ, гремѣли хоры и волновалась маскарадная толпа, не стоитъ рассказывать: всему этому есть ужъ очень давно до подробности вѣрно составленныя описанія.

Дорушка какъ только вошла въ первую залу, тотчасъ же впилась въ какого-то конногвардейца, и исчезла съ нимъ въ густой толпѣ. Анна Михайловна прошлаъ раза два съ Долинскимъ по заламъ и стала искать укромнаго уголка, гдѣ бы можно было усѣсться поспокойнѣе.

— Душно мнѣ—уже устала; терпѣть я не могу этихъ маскарадовъ, жаловалась она Долинскому, который отыскалъ два свободныхъ кресла въ одномъ пзъ менѣе освѣщенныхъ угловъ.

— Я тоже небольшой ихъ почитатель, отвѣчалъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Духота, давка и всякаго вздора наслушаешься — только и хорошаго.

— Ну, вѣдь для этого же вздора, Анна Михайловна, собственно и ѣздить.

— Не понимаю этого удовольствія. Я, знаете, просто.. боюсь масокъ.

— Боптесъ!

— Да, дерзкія онѣ... имъ все ни по чемъ... Не люблю.

— За то можно многое сказать, чего не скажешь безъ маски.

— Тоже не люблю и говорить съ незнакомыми.

— Да и съ знакомыми такъ какъ-то совсѣмъ иначе говорится.

— Да это въ самомъ дѣлѣ. Отчего бы это?

Разсуждая, почему и отчего подъ маскою говорится совсѣмъ не такъ, какъ безъ маски, они сами незамѣтно заговорили иначе, чѣмъ говаривали внѣ маскарада.

Прошелъ часъ-другой, голубое домино Доры мелькало въ толпѣ; изрѣдка оно, проносясь мимо сестры и Долинскаго, ласково кивало имъ головою, и опять исчезало въ густой толпѣ, гдѣ ее неотступно преслѣдовали разные фешенебельные господа и грандіозныя черныя домино. Дора была въ ударѣ и бросала на всѣ стороны самыя ѣдкия шпильки, постоянно увеличивавшія гонимый за нею хвостъ. Анна Михайловна тоже развеселилась и не замѣчала времени. Несмотря на то, что онѣ видѣлись съ Долинскимъ каждый день, и, кажется, могли бы затрудниться въ выборѣ тѣмы для разговора, особенно занимательнаго, у нихъ шла самая оживленная бесѣда. По поводу нѣкоторыхъ припомненныхъ ими здѣсь извѣстныхъ маскарадныхъ интригъ, они незамѣтно перешли къ разговору объ интригѣ вообще. Анна Михайловна возмущалась противъ всякой любовной интриги и относилась къ ней презрительно, Долинскій еще презрительнѣе.

— Ужь если случится такое несчастье, то лучше нести его прямо, разсуждала Анна Михайловна. Долинскій былъ съ нею согласенъ во всѣхъ положеніяхъ и на эту тѣму. — Или бороться, говорила Анна Михайловна; Долинскій и здѣсь былъ снова согласенъ и не ставилъ борьбу съ долгомъ, съ привычнымъ уваженіемъ къ извѣстнымъ правиламъ, ни въ вину, ни въ порицаніе. — Борьба всегда говоритъ за хорошую натуру, неспособную перешвыривать всѣмъ, какъ попало, между тѣмъ, какъ обманъ...

— Гадость ужасная! съ омерзѣніемъ произнесла Анна Михайловна. — Странно это, говорила она черезъ нѣсколько минутъ: — какъ люди мало цѣнятъ то, что въ любви есть самаго лучшаго, и спѣшатъ падать, какъ можно грязнѣе.

— Таковъ ужъ человѣкъ, да можетъ быть, его въ этомъ даже нельзя слишкомъ и винить.

— Нѣтъ, все это очень странно... ни борьбы, ни увѣренности, что мы любимъ другъ въ другѣ... что-то все-таки высшее... человеческое... Неужто-жъ ужъ это въ самомъ дѣлѣ только чувство! неужто ужъ такъ нельзя любить?

Анна Михайловна выговорила это съ затрудненіемъ, и она бы вовсе не выговорила этого Долянскому безъ маски.

— Какъ же нельзя, если мы и въ литературѣ и въ жизни встрѣчаемъ множество примѣровъ такой любви?

— Ну, не правда ли, всегда можно любить чисто? Ну, что эти волненія крови... интриги...

— Да, мнѣ кажется, что вы совершенно правы.

— Какъ, Несторъ Игнатьичъ, кажется! Я вѣрю въ это, отвѣчала Анна Михайловна.

— Да, конечно... Борьба .. а не выйдешь изъ этой борьбы побѣдителемъ, то все-таки знаешь, что я—человѣкъ, я спорилъ, боролся, но не совладѣлъ, не устоялъ.

— Нѣтъ, зачѣмъ? Чистая-чистая любовь и борьба — вотъ настоящее наслажденіе; «блѣднѣть и гаснуть... вотъ блаженство».

— Долинскій, здравствуй! произнесло, остановясь передъ ними, какое-то черное, кружевное домино.

Несторъ Игнатьевичъ посмотрѣлъ на маску, и никакъ не могъ догадаться, кто бы могъ его знать на этомъ аристократическомъ маскарадѣ.

— Давай свою руку, несчастный страдалецъ! звало его пискливымъ голосомъ домино.

Долинскій отказался, говоря, что у него есть своя очень интересная маска.

— Лжешь, совсѣмъ неинтересная, нищало домино.—Я ее знаю—совсѣмъ неинтересная. Пора ужъ вамъ наскучить другъ другу.

— Иди-иди себѣ съ Богомъ, маска, отвѣчалъ Долинскій.

— Нѣтъ, я хочу идти съ тобою, настаивало домино.

Долинскій едва-едва могъ отдѣлаться отъ привязчивой маски.

— Вы не знаете, кто это такая? спросила Анна Михайловна.

— Рѣшительно, не знаю.

— Долинскій! опять заинищала та же маска, появляясь съ другой стороны подъ руку съ другою маскою, покрытою звѣзднымъ покрываломъ.

Несторъ Игнатьевичъ оглянулся.

— Оставь же, наконецъ, на минутку свое сокровище, начала смѣясь маска.

— Оставь меня, пожалуйста, въ покоѣ.

— Нѣтъ, я тебя не оставлю; я не могу тебя оставить, мой милый рыцарь! рѣшительно отвѣчала маска.—Ты мнѣ очень дорогъ, пойми ты—дорогъ мнѣ Долинскій.

Маски слегка хихикали.

— Ахъ, ужъ оставь его! Онъ радъ бы, видишь ли, и самъ идти съ тобой, да не можетъ, картавило звѣздное покрывало.

— Ты думаешь, что она его причаровала?

— О, нѣтъ! Она не чаровница. Она его просто пришила — *пришила его*, отвѣчало, громко разсмѣявшись, звѣздное покрывало, и обѣ маски побѣжали.

— Пойдемте, пожалуйста, ходить... Гдѣ Дора? говорила нѣсколько смущенная Анна Михайловна, еще болѣе смущенному Долинскому.

Они встали и пошли, но не успѣли сдѣлать двадцати шаговъ, какъ снова увидѣли тѣ же два домино, шедшія на встрѣчу имъ подъ руки съ очень молодымъ конногвардейцемъ.

— Пойдемте отъ нихъ, сказала оробѣвшая Анна Михайловна и, дернувъ Долинскаго за руку, повернула назадъ.

— Чего она насъ такъ боится? спрашивало, нагоняя ихъ сзади, черное домино у звѣзднаго покрывала.

— Она не сшила мнѣ къ сроку панталонъ, издѣвалось звѣздное покрывало, и обѣ маски вмѣстѣ съ конногвардейцемъ задились.

— Возьмемъ его приступомъ! продолжало шутить за спиною у Анны Михайловны и Долинскаго звѣздное покрывало.

— Возьмемъ, соглашалось домино.

Долинскій терялся, не зная, чтò ему дѣлать, и тревожно искалъ глазами голубого домино Доры. «Вотъ... чортъ-знаетъ, чтò я могу, чтò я долженъ сдѣлать? Еслибъ Дора! ахъ, еслибъ она!» Онъ посмотрѣлъ въ глаза Аннѣ Михайловнѣ — глаза эти были полны слезъ.

— Ну, бери! произнесло сквозь смѣхъ заднее домино, и схватило Долинскаго за локоть свободной руки.

Въ то же время звѣздное покрывало ловко отодвинуло Анну Михайловну, и взялось за другую руку Долинскаго.

Несторъ Игнатьевичъ слегка рванулся: маски висѣли крѣпко, какъ хорошо принявшіяся пивки, и только захохотали.

— Ты не думаешь ли драться? спросило его покрывало

Долинскій, ничего не отвѣчая, только оглянулся; конногвар-

деецъ, сопровождавшій полонившихъ Долинскаго масокъ, рассказывалъ что-то лейб-казацкому офицеру и старичку самой благонамѣренной наружности. Всѣ они трое помирали со смѣха и смотрѣли въ ту сторону, куда маски увлекали Нестора Игнатьевича. Пунсовый бантъ на капюшонѣ Анны Михайловны робко жался къ стѣнѣ, за колонадою.

— Пустите меня, бога-ради! просилъ Долинскій и ворохнулъ руками тихо, но гораздо посерьёзнѣе.

— Послушай, Долинскій, будь панька, не дурачься, а не то, *mon cher*, самъ пожалѣешь.

— Дѣлайте, что хотите, только отстаньте отъ меня теперь.

— Ну, хорошо, иди, а мы сдѣлаемъ скандалъ твоей маскѣ.

Долинскій опять оглянулся. Одинокая Анна Михайловна по-прежнему жалась у стѣны, но изъ ближайшихъ дверей показался голубой капюшонъ Доры. Конногвардеецъ съ лейб-казакомъ и благонамѣреннымъ старичкомъ попрежнему веселились. Лицо благонамѣреннаго старичка показалось что-то знакомымъ Долинскому.

— Боже мой! вспоминалъ онъ: — да это, кажется, благодѣтель Азовцовыхъ — откупщикъ, и, оглянувшись на висѣвшее у него на правомъ локтѣ черное домино, Долинскій проговорилъ строго:

— Юлія Петровна, это вы мнѣ дѣлаете такіе сюрпризы?

Онъ узналъ свою жену.

— Ну, пойдемте же, куда вамъ угодно и, пожалуйста, говорите скорѣе, чего хотите вы отъ меня—безсовѣстная вы, ненавистная женщина!

XI.

Звѣздочка счастья.

Анна Михайловна, встрѣтивъ Дору, упросила ее тотчасъ же уѣхать съ маскарада.

— Я совсѣмъ нездорова — голова страшно разболѣлась, говорила она сестрѣ, скрывая отъ нея причину своего настоящаго разстройства.

— Позовемъ же Долинскаго, отвѣчала Дора.

— Нѣтъ, Богъ съ нимъ—пусть-себѣ повеселится.

Сестры пріѣхали домой, слегка закусили, и разошлись по своимъ комнатамъ.

Долинскій позвонилъ съ чернаго входа часа черезъ два, или ч. I.

даже нѣсколько болѣе. Кухарка отперла ему дверь, подала спички, и опять повалилась на кровать.

Спички оказались вовсе ненужными. На столѣ въ столовой горѣла свѣча и стояла тарелка, покрытая чистою салфеткою, подъ которой лежалъ ломоть хлѣба и кусокъ жареной индѣйки.

Несторъ Игнатьевичъ взглянулъ на этотъ ужинъ и, дунувъ на свѣчу, тихонько прошелъ въ свою комнату.

Минуть черезъ пять кто-то очень тихо постучался въ его двери.

Долинскій, азартно шагавшій взадъ и впередъ, остановился.

— Можно войти? тихо произнесъ за дверью голосъ Анны Михайловны.

— Сдѣлайте милость, отвѣчалъ Долинскій, смущаясь и оглянувъ порядокъ своей комнаты.

— Отчего вы не закусили? спросила, входя тоже нѣсколько смущенная Анна Михайловна.

— Сытъ—благодарю васъ за вниманіе.

Анна Михайловна очевидно пришла говорить не о закускѣ, но не знала съ чего начать.

— Садитесь, пожалуйста—вы устали, отнесся къ ней Долинскій, подвигая кресло.

— Чтò это было за явленіе такое? спросила она, опускаясь въ кресло, и стараясь спокойно улыбнуться.

— Боже мой! я просто теряю голову, отвѣчалъ Долинскій.— Я былъ причиною, что васъ такъ тяжело оскорбила эта дрянная женщина.

— Нѣтъ... что до меня касается, то... вы, пожалуйста, не думайте объ этомъ, Несторъ Игнатьичъ. Это — совершенный вздоръ.

— Я далъ бы дорого—о, я дорого бы далъ, чтобы этого вздора не случилось.

— Эта маска была ваша жена?

— Почему вы это подумали?

— Такъ какъ-то, сама не знаю. У меня было нехорошее предчувствіе, и я не хотѣла ни за что ѣхать — это все Даша упрямая виновата.

— Пожалуйста, забудьте этотъ возмутительный случай, упрасивалъ Долинскій, протягивая Аннѣ Михайловнѣ свою руку.— Иначе это убьетъ меня; я... не знаю, право... я уйду богъ-знаетъ куда: я просто хотѣлъ уѣхать, хоть въ Москву, что ли.

— Очень мило, прошептала, качая съ упрекомъ головою, Анна Михайловна.—Вы лучше скажите мнѣ, не было ли съ вами чего дурнаго?

— Ничего. Она хочетъ съ меня денегъ, и я ей обѣщала.

— Какая странная женщина!

— Богъ съ ней, Анна Михайловна. Мнѣ только стыдно... больно... кажется, сквозь землю бы пошелъ за то, что вынесли вы сегодня. Вы не повѣрите, какъ мнѣ это больно...

— Вѣрю-вѣрю, только успокойтесь и забудьте этотъ нехорошій вечеръ, отвѣчала Анна Михайловна, подавая Долинскому свои обѣ руи.—Вѣрьте и вы, что изъ всего, что сегодня случилось, я хочу помнить одно: вашу боязнь за мое спокойствіе.

— Боже мой! да что же у меня остается въ жизни, кромѣ вашего спокойствія?

Анна Михайловна взглянула на Долинскаго и молча встала.

— Позвольте на одно слово, попросилъ ее Долинскій.

Анна Михайловна остановилась.

— Вы не разсердитесь? спросилъ Несторъ Игнатъевичъ.

— Я увѣрена, что вы не можете сказать ничего такого, что бы меня разсердило, отвѣчала Анна Михайловна.

— Я васъ всегда очень уважалъ, Анна Михайловна, а сегодня, когда мнѣ показалось, что я болѣе не буду васъ видѣть, не буду слышать вашего голоса, я убѣдился, я понялъ, что я страстно, глубоко васъ люблю, и я рѣшился... уѣхать.

— Зачѣмъ? краснѣя, и взглянувъ на дверь, отвѣчала Анна Михайловна.

Долинскій молчалъ.

— Вамъ никто не мѣшаетъ... и...

— И что?

— Вы никогда не будете имѣть права подумать, что васъ любятъ меньше, чуть слышно уронила Анна Михайловна.

Долинскій сжалъ въ своихъ рукахъ ея руку. Анна Михайловна ничего не говорила, и опустивъ глаза смотрѣла въ землю.

Въ домѣ было до жуткости тихо, и сердце билось точно подъ самымъ ухомъ. И онъ и она были въ крайнемъ замѣшательствѣ, изъ котораго Анна Михайловна вышла, впрочемъ, первая.

— Пустите, прошептала она, легонько высвобождая свою руку изъ рукъ Долинскаго.

Тотъ было-тихо приподнялъ ея руку къ своимъ устамъ, но взглянулъ въ лицо Аннѣ Михайловнѣ, и робко остановился.

Анна Михайловна сама взяла его за голову, тихо, беззвучно его подаловала, и быстро отодвинулась назадъ. Приложивъ палецъ къ губамъ, она стояла въ волненіи у притолка.

— Ахъ! ненадо, ненадо, бога-ради ненадо! заговорила она, торопясь и задыхаясь, когда Долинскій сдѣлалъ къ ней одинъ шагъ, и переведа духъ, какъ тѣнь, неслышно, скользнула за его двери.

Прошелъ круглый годъ; Долинскій продолжалъ любить Анну Михайловну такъ точно, какъ любилъ ее до маскараднаго случая, и никогда не сомнѣвался, что Анна Михайловна любитъ его не меньше. Ни о чемъ происшедшемъ не было и помину.

Единственною разницею въ ихъ теперешнихъ отношеніяхъ отъ прежняго было то, что они знали изъ устъ другъ друга о взаимной любви, нѣжно лелѣяли свое чувство, «блѣднѣли и гасли», ставя въ этомъ свое блаженство.

ХІІ.

Симпатическіе попугаи.

Въ теченіе цѣлаго этого года не произошло почти ничего особенно замѣчательнаго, только доружкины симпатическіе попугаи, Оля и Маша, къ концу мясоѣда выкинули преуморительную штуку, еще болѣе упрочившую за ними названіе *симпатическихъ попугаевъ*. Въ одинъ прекрасный день, они сообщили Дорѣ, что онѣ выходятъ замужъ.

— *Объ вѣстѣ?* спросила удивясь Дора.

— Да; такъ вышло, Дарья Михайловна, отвѣчали дѣвушки.

— По крайней-мѣрѣ, не за одного хоть?

— Нѣтъ-съ, какъ можно?

— То-то.

Онѣ выходили за двухъ родныхъ братьевъ, наборщиковъ изъ бывшей по сосѣдству типографіи.

Затѣялась свадьба, въ устройствѣ которой Даша принимала самое жаркое участіе, и наконецъ, въ одинъ вечеръ передъ масляницей, симпатическихъ попугаевъ обвѣнчали. Свадьба справлялась въ двухъ комнатахъ, нанятыхъ въ томъ же домѣ, гдѣ помѣщался магазинъ Анны Михайловны. Анна Михайловна была посажною матерью дѣвушекъ, Несторъ Игнатьевичъ посаженнымъ отцомъ, Доружка и Анна Анисимовна — друзьями у Оли и Маши.

Илья Макаровичъ былъ на эту пору боленъ, и не могъ принять въ торжествѣ никакого личнаго участія, но прислалъ дѣвушкамъ по парѣ необыкновенно изящно-разрисованныхъ вѣнчальныхъ свѣчъ, бѣлаго пѣтуха съ краснымъ гребнемъ и бѣлую курочку.

Магазинъ въ этотъ день закрыли ранѣе обыкновеннаго, и всѣ столпились въ немъ около Даши, подъ надзоромъ которой передъ большимъ трюмо происходило одѣванье невѣстъ.

Даша была необыкновенно занята и оживлена; она хлопотала обо всемъ, начиная съ башмака невѣстъ и до каждаго бантика въ ихъ головныхъ уборахъ. Наряды были подарены невѣстамъ Анной Михайловной и частію Дорой, изъ ея собственнаго заработка. Она также сдѣлала на свой счетъ два самыя скромныя, совершенно одинаковыя бѣлыя платья для себя, и для своего друга — Анны Анисимовны. Дорушка и Анна Анисимовна, обѣ были одѣты одинаково, какъ двѣ родныя сестры.

— Что это за прелестное созданіе наша Дора! говорила Анна Михайловна, взойдя въ комнату Долинскаго, когда былъ оконченъ уборъ.

— Да, что ужъ о ней, Анна Михайловна, и говорить! отвѣчалъ Долинскій. — Счастливый будетъ человѣкъ, кого она полюбитъ.

Анна Михайловна случайно чихнула, и сказала:

— Вотъ и правда.

— Господа! Симпатическіе попугаи! позвала, спѣшно пріотворивъ дверь и выставивъ свою головку, Дора. — Чего жъ вы сюда забилесь? — Пожалуйте благословлять моихъ попугаевъ.

Кончилось благословеніе и вѣнчаніе, и начался пиръ. Анна Михайловна пробыла съ часъ и стала прощаться; Долинскій послѣдовалъ ея примѣру. Ихъ удерживали, но они не остались, боясь стѣснять своимъ присутствіемъ гостей жениховыхъ, и поступили очень основательно. Все-таки Анна Михайловна была хозяйка, все-таки Долинскій — *баринъ*.

Дорушка была совсѣмъ иное дѣло. Она умѣла всегда держать себя со всѣми какъ-то особенно просто, и невѣсты были бы очень огорчены, еслибы она оставила ихъ торжественный пиръ, ранѣе чѣмъ ему положено было окончиться по порядку.

Въ комнатахъ была изрядная давка и духота, но Дора не тяготилась этимъ, и подъ звуки плохинькаго квартета танцевала съ наборщиками двѣ кадрили.

Въ квартирѣ Анны Михайловны не оставалось ни души; даже дѣвочки были отпущены веселиться на свадьбѣ. Двери съ обоихъ

подъѣздовъ были заперты, и Анна Михайловна, съ работою въ рукахъ, сидѣла на мягкомъ диванѣ въ комнатѣ Долинскаго.

Вездѣ было такъ тихо, что черезъ три комнаты было слышно, какъ кто-нибудь шмыгалъ резиновыми калошами по парадной лѣстницѣ. Красивый и очень сторожкій кинг-чарльзъ Анны Михайловны, «Риголетка», непривыкшая къ такой ранней тишинѣ, безпрестанно поднимала головку, взмахивала волнистыми ушами и сердито рычала.

— Успокойся, успокойся, Риголеточка, уговаривала ее Анна Михайловна, но собачка все тревожилась, и насилу заснула.

— Что это за жизнь безъ Доры-то была бы такая скучная, сказала послѣ долгой паузы Анна Михайловна, относясь къ настоящему положенію.

— Да, въ самомъ дѣлѣ, какъ безъ нея тихо.

— Я тамъ было-сѣла у себя, такъ даже какъ будто страшно, молвила Анна Михайловна, и послѣ непродолжительнаго молчанія добавила: — ужасно дурная вещь одиночество!

— И не говорите. Я такъ отъ него настрадался, что до сихъ поръ, кажется, еще никакъ не отдышусь.

Анна Михайловна снова помолчала, и съ едва замѣтной улыбкой сказала:

— А ужъ, кажется, пора бы.

— Впрочемъ, чедовѣкъ никогда не бываетъ совершенно счастливъ, проговорила она, вздохнувъ и черезъ нѣсколько времени.

— Сердце будущимъ живетъ.

— А вотъ это-то и нехорошо. Вѣдь вотъ я же счастлива.

Долинскій промолчалъ. Онъ стоялъ у печки и грѣлся.

— А вы, Несторъ Игнатьичъ? спросила она, улыбнувшись и положивъ на колѣна свою работу.

— Я очень счастливъ и доволенъ.

— Чѣмъ?

— Судьбой, и чѣмъ хотите, отвѣчалъ весело Долинскій.

— А я, знаете, чѣмъ и кѣмъ болѣе всего довольна? Анна Михайловна нѣсколько лукаво посмотрѣла искоса на молчавшаго Долинскаго, и договорила: — вами.

Долинскій шутливо поклонился.

— Въ самомъ дѣлѣ, Несторъ Игнатьичъ, продолжала, краснѣя и волнуясь Анна Михайловна: — вы мнѣ доказали истинно, и не словами, что вы меня дѣйствительно любите.

Долинскій также шутливо поклонился еще ниже.

— Я думала, что такъ въ наше время ужъ никто не умѣетъ любить, произнесла она мѣшаясь, багъ переконфуженный ребѣнокъ.

Долинскій подошелъ къ Аннѣ Михайловнѣ, взялъ и поцаловалъ ея руку.

Анна Михайловна безотчетно задержала его руку въ своей.

— Вы—хорошій человѣкъ, прошептала она, и подняла къ его плечу свою свободную руку.

Въ это же мгновеніе, Риголетка насторожила уши, и съ звонкимъ лаемъ кинулась къ черному входу. Послышался сильный и нетерпѣливый стукъ.

— Посмотрите, пожалуйста, кто это? произнесла Анна Михайловна, вздрогнувъ, и скоро выбрасывая изъ своей руки руку Долинскаго.

Долинскій пошелъ въ кухню, и тамъ тотчасъ же послышался голосъ Даши:

— Чего это вы до сихъ поръ не отпираете? Десять часовъ стучусь, и никакъ не могу достучаться, выскликала она съ Долинскаго.

— Не слышно было.

— Помилуйте, мертвые бы, я думаю, услышали, отвѣчала она, пробѣгая.

— Сестра! позвала она.

— Ну, откликнулась Анна Михайловна изъ комнаты Долинскаго. Дорушка вбѣжала на этотъ голосъ, и остановась, спросила:

— Чтò это ты такая?

— Какая? мѣшаясь, и еще болѣе краснѣя, проговорила Анна Михайловна.

— Странная какая-то, проронила скороговоркой Дора, и сейчасъ же добавила:—дай мнѣ десять рублей, у нихъ недостасть чего-то.

Анна Михайловна пошла въ свою комнату, и достала Дашѣ десять рублей.

— Не бѣгай ты такъ, Дора, бога-ради, въ одномъ платьѣ по лѣстницамъ, попросила она Дорушку, но та ей не отвѣтила ни слова.

Анна Михайловна, проводивъ сестру до самаго порога, торопиво прошла прямо въ свою комнату, и заперла за собою дверь.

XIII.

Маленькія неприємности починають нѣсколько мѣшати большому удовольствію.

Послѣ сочетанія симпатическихъ попугаевъ, почти цѣлый домъ у Анны Михайловны переболѣлъ. Первая начала хворать Дорушка. Она простудилась, и на другой же день послѣ этой свадьбы закашляла, и захрипѣла, а на третій слегла. Стали Дорушку лечить, а она стала разнемогаться, и наконецъ заболѣла самымъ серьезнымъ образомъ. Долинскій и Анна Михайловна не отходили отъ ея постели. Болѣзнь Доры была не острая, но угрожала весьма нехорошимъ. Въ домѣ это всѣ чувствовали и, кажется, только боялись произнести слово *чахотка*; но когда кто-нибудь произносилъ это слово случайно, всѣ оглядывались на комнату Дашу, и умолкали. Такъ прошло около мѣсяца. Наконецъ стало Дашѣ чуть-чуть будто полегче — Анна Михайловна простудилась и захворала. Болѣзнь Анны Михайловны была непродолжительная и неопасная. Дора во время этой болѣзни чувствовала себя на столько сильною, что даже могла ухаживать за сестрою, но тотчасъ же, какъ Анна Михайловна начала обмогаться, Дора опять сошла въ постель, и еще посерьѣзнѣе прежняго.

— Ну, ужъ теперь, кажется, будетъ кранкенъ, сказала она сама.

Характеръ Доры мало измѣнялся и въ болѣзни, но все-таки она жаловалась, говоря: «не знаете вы, господа, сколько нужно силы надъ собою имѣть, чтобы никому не надоѣдать и не злиться».

Иногда, впрочемъ, и Дорушка не совсѣмъ владѣла собою; и у нея можно было замѣчать движенія беспокойныя, которыхъ бы она вѣроятно не допустила въ здоровомъ состояніи. Это не были ни дерзости, ни придирки, а такъ... больная фантазія. Во время болѣзни Анны Михайловны, когда еще Дора бродила на ногахъ, она, напримѣръ, одинъ разъ ужасно разсердилась на Риголетку за то, что чуткая собачка залаяла, когда она входила въ слабо-освѣщенную комнату сестры. Даша вспыхнула, схватила лежавшій на комодѣ зонтикъ, и кинулась за собачкой. Риголетка изъ комнаты Анны Михайловны бросилась въ столовую, гдѣ Долинскій пилъ чай, и спряталась у него подъ стуломъ. Даша въ азартѣ достала ее изъ-подъ стула, и нѣсколько разъ больно ударила ее зонтикомъ.

— Дорушка! Дарья Михайловна! останавливалъ ее Долинскій.

— Даша! что это съ тобой? слышался изъ спальни голосъ Анны Михайловны.

Даша все-таки хорошенько прибила Риголетку, и когда наказанная собачка жалобно визжала, спрятавшись въ спальнѣ Анны Михайловны, сама спокойно сѣла къ самовару.

— Ну, за что вы били бѣдную собачку? обрезаеи валъ ее тихо и кротко Долинскій.

— Такъ, для собственнаго удовольствія... За то, что она любить меня меньше, чѣмъ васъ, отвѣчала запальчиво Дора.

— Достойная причина!

— Пусть не лаетъ на меня, когда я вхожу въ сестриную комнату.

— Темно было, она васъ не узнала.

— А зачѣмъ она васъ узнаетъ и не лаетъ? возразила Даша, съ раздувающимися ноздрями.

— О, ну, Богъ съ вами! что вамъ ни скажешь, все не впадетъ, за все вы готовы сердиться, отвѣчалъ покраснѣвъ Долинскій.

— Потому что вы вздоръ все говорите.

— Ну, я замолчу.

— И гораздо умнѣе сдѣлаете.

— Даже и уйду, если хотите, добавилъ беззвучно смѣясь Долинскій.

— Отправляйтесь, серьезно проводила Даша. — Отправляйтесь, отправляйтесь, добавила она, сводя его за руку со стула.

Несторъ Игнатьевичъ всталъ и тихонько пошелъ въ комнату Анны Михайловны. Чуть только онъ переступилъ порогъ этой комнаты, изъ-подъ кровати раздалось сердитое рычаніе напуганной Риголетки.

— Ага! исправилась? отвесилъ Долинскій къ собачкѣ. — Ну, Риголеточка, утѣшь, утѣши Дарью Михайловну еще!

Риголетка снова сердито залаяла.

— Мимъ! — дуракъ, настоящій дуракъ, произнесла, смотря на Долинскаго, Дора и, соблазненная его искреннимъ смѣхомъ, сама тихонько надъ собой разсмѣялась.

Такъ время подходило къ веснѣ; Дорушка все — то вставала, то опять ложилась, и все хворала и хворала; Долинскій и Анна Михайловна попрежнему тщательно скрывали свою великопостную любовь отъ всякаго чужого глаза, но, однако, тѣмъ не менѣе никто не вѣрилъ этому пурризму, и въ мастерской, при разгово-

рахъ объ Аннѣ Михайловнѣ и Долинскомъ, собственныя имена ихъ не употреблялись, а говорилось просто: *сама и ейный*.

XIV.

Капризы.

Наконецъ, на дворѣ запахло гнилою гадостью: гнилая петербургская весна приближалась. Здоровье Дашы со всякимъ днемъ становилось хуже. Она видимо таяла. Она давно уже, что говорится, дышала на ладонь. Докторъ, который ее пользовалъ, отказался брать деньги за визиты.

«Вы мнѣ лучше платите въ мѣсяцъ, сказалъ онъ: я буду заѣзжать къ больной, и буду стараться ее поддерживать. Больше я ничего сдѣлать не могу.»

— У нея чахотка? спросилъ Долинскій.

— Несомнѣнная.

— Долго она можетъ жить?

Докторъ пожалъ плечами и отвѣчалъ:

— Болѣзнь въ сильномъ развитіи.

Съ четвертой недѣли поста, Даша вовсе не вставала съ постели. Въ домѣ все приняло еще болѣе грустный характеръ. Ходили на ципочкахъ, говорили шепотомъ.

— Господи! вы меня уморите прежде чѣмъ смерть придетъ за мною, говорила больная. — Все шушукуютъ, да скользятъ безъ слѣда, точно тѣни могильныя. Да поживите вы еще со мною! дайте мнѣ послушать человѣческаго голоса! дайте хоть поглядѣть на живыхъ людей!

Ухода и заботливости о дорушкиномъ спокойствіи было столько, что они ей даже надоѣдали. Проснувшись какъ-то разъ ночью, еще сначала болѣзни, она обвела глазами комнату, и къ удивленію своему, замѣтила при лампадѣ, кромѣ дремлющей на диванѣ сестры, крѣпко спящаго на плетеномъ стулѣ Долинскаго.

— Кто это, Аня? спросила шепотомъ Дорушка, указывая на Долинскаго.

— Это Несторъ Игнатьичъ, отвѣчала Анна Михайловна, оправляясь, и подавая Дорѣ ложку лекарства.

Дорушка выпила микстуру, и сдѣлавъ гримаску, спросила, глядя на Долинскаго:

— Зачѣмъ эта мумія тутъ торчитъ?

— Онъ все сидѣлъ... и какъ удивительно онъ спитъ!

— Еще упадетъ и перепугаетъ.

— Бѣдняжка! — три ночи онъ совсѣмъ не ложился.

— Спасибо ему, отвѣчала тихо Дора.

— Да, преуморительный; сегодня всталъ, чтобы дать тебѣ лекаства, налилъ, и самъ всю цѣлую ложку со сна и выпилъ.

Анна Михайловна беззвучно размѣялась.

— Мѣское челобитье, въ лубочкѣ связанное, проговорила, глядя на Долинскаго, Дора.

— Голубиное сердце, добавила Анна Михайловна.

Въ другой разъ, Дашѣ все казалось, что о ней никто не хочетъ позаботиться, что ее всѣ бросили.

Анна Михайловна не отходила отъ сестры ни на минуту. Въ магазинѣ всѣмъ распоряжалась m-lle Alexandrine, и тамъ все шло капрѣмъ да въ кучу, но Анна Михайловна не обращала на это никакого вниманія. Она выходила изъ комнаты сестры только въ сумерки, когда мастерицы кончали работу, оставляя на это время у больной Нестора Игнатьевича. Впрочемъ, они всегда сидѣли вмѣстѣ. Анна Михайловна работала въ ногахъ у сестры, а Несторъ Игнатьевичъ читалъ вслухъ какую-нибудь книгу. Больная лежала, и смотрѣла на нихъ, иногда слушая, иногда далеко летая отъ того, о чемъ рассказывалъ авторъ.

Насталъ канунъ вербнаго воскресенья. Въ этотъ вечеръ, въ въ магазинѣ никого не было. Мастерицы разошлись, дѣвочки спали на своихъ постелькахъ. Все было тихо. Анна Михайловна, по обыкновенію, заготавливала на живую нитку разныя работы. Она очень спѣшила, потому что заказовъ къ празднику было множество. Несторъ Игнатьевичъ сидѣлъ за тѣмъ же столикомъ возлѣ Анны Михайловны, и правилъ какіи-то корректуры. Даша, казалось, спала очень покойно. За пологомъ не было слышно даже ея тихаго дыханія. Но среди всеобщей тишины, нарушаемой только черканьемъ стального пера, да щелканьемъ иглы, прокалывавшей крѣпкую шелковую матерію, больная начала что-то нашептывать. Несторъ Игнатьевичъ и Анна Михайловна перестали работать и подняли головы. Больная все шептала внятнѣе и внятнѣе. Наконецъ, она произнесла совершенно внятно:

«И схоронятъ въ сырую могилу,
Какъ пройдешь ты тяжелый свой путь,
Безполезно угасшую силу
И ничѣмъ несогрѣтую грудь».

Дорушка тяжело вздохнула и сказала:

— Господи! какъ глупо такъ умереть.

— Она бредить? спросилъ шопотомъ Долинскій.

— Должно быть, шопотомъ же отвѣчала ему Анна Михайловна.

— Что вы тамъ все шепчетесь? тихо проговорила больная.

— Что ты, Даша? спросила ее Анна Михайловна, какъ будто не разслышавъ ея вопроса.

— Я говорю, что вы все шепчетесь, точно влюбленные, или какъ надъ покойникомъ.

— Богъ-знаетъ, что тебѣ все приходитъ въ голову! Намъ просто показалось, что ты бредишь; мы не хотѣли тебя разбудить.

— Нѣтъ, я не брежу; я не спала. Откройте мнѣ занавѣсъ, сказала Даша, ударивъ рукою по пологу.

Долинскій всталъ и откинулъ половицу полога.

— Все, все отбросьте, вотъ такъ! сказала больная. — Ну, говорите теперь, добавила она, оправивъ на себѣ кофту.

— О чемъ прикажете говорить, Дарья Михайловна? спросилъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Не умѣете говорить! Ну, прочитайте мнѣ что-нибудь Некрасова, я бы послушала, хоть: «гробикъ ребѣнку, ужинъ отцу» прочтите.

Долинскій зналъ, что Даша любила въ Некрасовѣ, и зналъ, что чтеніе этихъ любимыхъ вещей очень сильно ее волновало и вредило ея здоровью.

— Некрасова-то нѣтъ дома, отвѣчалъ онъ.

— Куда же это онъ уѣхалъ?

— Я его далъ одному знакомому.

— Все вретъ! Какъ вы всѣ безъ меня изоврались! говорила Даша, улыбаясь черезъ силу: — а особенно вы и Анна. Что ни ступите, то солжете. — Ну, вотъ читайте мнѣ Лермонтова — я его никому не отдала, и Даша, доставъ изъ-подъ подушки роскошно переплетенное изданіе стихотвореній Лермонтова, подала его Долинскому.

— «Мцыри», сказала Даша.

Несторъ Игнатьевичъ прочелъ «Мцыри».

— «Бояринъ Орша», сказала больная снова, когда Долинскій дочиталъ «Мцыри».

Онъ прочелъ «Боярина Оршу», а она ему заказывала новое чтеніе. Такъ прочли «Хаджи Абрека», «Молитву», «Сказку для дѣтей» и наконецъ нѣсколько главъ изъ «Демона».

— Ну, довольно, сказала Даша. — Хорошенького понемножку. Дайте-ка мнѣ мою книгу.

Долинскій подаль ей книжку, она вложила ее въ футляръ и сунула подъ подушку. Долго-долго смотрѣла она, облокотясь своей исхудалой ручкой о подушку, то на сестру, то на Нестора Игнатьевича; кусала свои пересмяглыя губки и вдругъ совершенно спокойнымъ голосомъ сказала:

— Поцалуйте пожалуйста.

Анна Михайловна вспыхнула и съ упрекомъ сказала:

— Что ты это говоришь, Даша!

— Что-жь я сказала? Я сказала: поцалуйте пожалуйста.

Долинскому и Аннѣ Михайловнѣ было до крайности неловко, и они оба не находили словъ.

— Чтò ты, съ ума сошла, Дора! могла только проронить Анна Михайловна.

— Какіе вы смѣшные! проговорила, улыбаясь, больная. — Вѣдь вы же любите другъ друга.

— Что вы это говорите? что вы говорите! повторялъ съ упрекомъ переконфуженный Долинскій, глядя на еще болѣе сконфуженную Анну Михайловну.

Больная отвернулась къ стѣнѣ, не удостоивъ этихъ упрековъ ни малѣйшаго вниманія и, помолчавъ... съ минуту, опять сказала:

— Да поцалуйте, что ли! Мнѣ такъ хочется видѣть, какъ вы любите другъ друга.

— Даша! тебѣ, вѣрно, хотѣлось видѣть, какъ я плачу, такъ ты какъ нельзя лучше этого достигла, сказала полголосомъ Анна Михайловна и, сбросивъ съ колѣнъ работу, быстро вышла изъ комнаты. Слезы текли у нея по обѣимъ щекамъ.

Долинскій посмотрѣлъ ей вслѣдъ и остался молча на своемъ мѣстѣ.

— Вотъ чудак! тихо заговорила Дора и начала досадливо кусать губки. Это означало, что Даша одинаково недовольна и другими, и сама собою.

— Смѣшно! воскликнула она черезъ минуту съ тою же досадою и съ явнымъ желаніемъ вызвать на разговоръ Долинскаго.

— Да, кошкѣ игрушки, а мышкѣ слезки, отвѣтилъ, не поднимая глазъ отъ бумаги, Долинскій.

Даша вспыхнула.

— Э! ужъ хоть вы по крайней-мѣрѣ перестаньте пожалуйста комонничать! крикнула она запальчиво на Долинскаго.

— Что такое значить *комонничать*? Извините пожалуйста, я даже слова такого не знаю, отвѣчать сухо Долинскій.

— Русское слово.

— Никогда не слыхалъ въ моей жизни.

— Мало ли чего вы еще не слыхали въ вашей жизни!

Въ это время въ комнату снова вошла Анна Михайловна и опять спокойно сѣла за свою работу. Глаза у нея были заплаканы.

Дора посмотрѣла на сестру, слегка поморщила свой лобъ и попросила ее переложить себѣ подушки.

— Ну, а теперь уйдите отъ меня, сказала она неоправившимся отъ смущенія голосомъ сестрѣ и Долинскому.

— Я останусь съ тобою, отвѣчала ей Анна Михайловна.

— Нѣтъ, нѣтъ! Идите оба: «мнѣ видъ вашъ ненавистенъ», тихо улыбаясь шутила Дора. — Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, мнѣ хочется быть одной... спать хочется. Идите себѣ съ богомъ.

XV.

ПРИБЛАЗКА КОНЧАЕТСЯ И НАЧИНАЕТСЯ СКАЗКА.

На третій день праздника пріѣхалъ докторъ, поговорилъ съ больною, и прописавъ ей малиновый сиропъ съ какою-то невинною примѣсью, сказалъ Аннѣ Михайловнѣ, что въ этомъ климатѣ Дашѣ остается жить очень недолго, и что какъ послѣднее средство продлить ея дни, онъ совѣтуетъ немедленно повезти ее на югъ, въ Италію, въ Ницу.

— Природа нерѣдко дѣлаетъ чудеса, утѣшала онъ Анну Михайловну.

— А для нея, докторъ, возможно еще такое чудо?

— Отчего нѣтъ? Природа чародѣйка, ея аптека всѣмъ богата.

— Какъ же это сдѣлать? спрашивала Анна Михайловна Долинскаго.

— Надо ѣхать въ Ницу.

— Да не то, что надо. Объ этомъ ужъ и говорить нечего что надо; а какъ ее везть? Какъ ее уговорить ѣхать?

— Въ самомъ дѣлѣ: кто же ее повезетъ? Кому съ нею ѣхать?

— Или мнѣ, или вамъ. Объ этомъ послѣ подумаемъ. Безъ меня тутъ все стало — да это богъ съ нимъ, пусть все пропадетъ; а какъ ее приготовить?

— Хотите, я попробую? вызвался Долинскій.

— Да. Очень хочу, но только надо осторожно, ловко, чтобъ не перепугать ее. Она все-таки еще, можетъ быть, не знаетъ, что ей такъ худо.

— Лучше вмѣстѣ, заведемъ разговоръ сегодня вечеромъ.

— И прекрасно.

Но вечеромъ они разговора не завели; не завели они этого разговора и на другой, и на третій, и на десятый вечеръ. Все смѣлости у нихъ недоставало. Дашѣ, между тѣмъ, стало какъ будто полегче. Она вставала съ постели и ходила по комнатѣ. Докторъ былъ еще два раза, торопиль отправленіемъ больной въ Италію и подтрунивалъ надъ нерѣшимостью Анны Михайловны. Приѣхавъ въ третій разъ, онъ сказалъ, что рѣшительно весны упускать нельзя, и поговоривъ съ больной въ очень удобную минуту, сказалъ ей:

— Вы теперь слава-богу ужъ гораздо крѣпче, m-lle Dorothée; вамъ бы очень хорошо было теперь проѣхаться на югъ. Это бы васъ совсѣмъ оживило и разсѣяло.

Больная посмотрѣла на него долгимъ, пристальнымъ взглядомъ и сказала:

— Что-жъ, я не противъ этого.

— Такъ и поѣзжайте.

— Это не отъ меня зависитъ, докторъ. Надо знать, какъ се-стра, или лучше, какъ ея средства.

— Сестра ваша совершенно согласна на эту поѣздку.

— Вы съ ней развѣ говорили?

— О! да. Давно, нѣсколько дней назадъ говорилъ.

— Что-жъ это они мнѣ ни слова не сказали! Все боятся, что умру, добавила она съ грустной улыбкой.

— Они васъ очень любятъ.

— Очень любятъ, подтвердила задумчиво больная.

— Такъ вы поѣдете? спросилъ ее снова докторъ.

— Пусть везутъ, пусть везутъ. Пусть, что хотятъ со мной дѣлаютъ; только пожить бы немножко.

— Поживете! отвѣчалъ докторъ спокойно, берясь за шляпу.

— Немножко?

Докторъ протянулъ ей руку, и не отвѣчая на вопросъ, сказалъ:

— Такъ до свиданія, m-lle Dorothée!

Даша удержала его руку и опять спросила его: «табъ немножко»?

— Что́ немножко?

— Поживу-то?

— Поживете, поживете, отвѣчалъ докторъ, чтобы чтонибудь отвѣчать.

— Ну, а не хотите сказать правды, такъ и богъ съ вами, сказала Даша. — Заѣзжайте-жь хоть проститься.

— Непремѣнно.

— То-то; а то вѣдь пожалуй ужъ не увидимся до радостнаго утра.

Докторъ ушелъ, а Даша позвала сестру, попеняла ей за нерѣшительность и объявила, что она съ большимъ удовольствіемъ готова ѣхать въ Италію.

Поѣздка была отложена до перваго дня, когда докторъ найдеть Дашу способною выдержать дорогу. Изъ аптеки ей приносили всякій день укрѣпляющія лекарства, а Анна Михайловна собирала ея бѣлье, платье; все осматривала, поправляла и укладывала въ особый ящикъ.

— Золотая ты моя! Точно она меня замужъ снаряжаетъ, говорила, глядя на сестру, Даша.

Дарья Михайловна обмогалась. Хотя она еще не выходила изъ своей комнаты, но докторъ надѣялся, что она на дняхъ же будетъ въ состояніи выѣхать за границу. Вечеромъ въ тотъ день, когда докторъ высказалъ это мнѣніе, Анна Михайловна сидѣла у конца письменнаго стола въ комнатѣ Нестора Игнатьевича. Она сводила счеты и безпрестанно надъ ними задумывалась. Денегъ было мало. Дашина болѣзнь и зашедшіе во время этой болѣзни безпорядки серьезно разстроили дѣла Анны Михайловны, державшіяся только ея неуспынными заботами и бережливостью.

— Ну, что? спросилъ Долинскій, видя, что рука Анны Михайловны провела черту и подписала итогъ.

— Плохо, улыбаясь, отвѣтила Анна Михайловна.

— Сколько же?

— Всего въ сборѣ около тысячи рублей, около двухъ тысячъ въ долгахъ; тѣхъ теперь и думать нечего собрать. Изъ тысячи, четыреста сейчасъ надо отдать, рублей триста надо здѣсь на мѣсяцъ...

Въ это время за дверью кто-то запѣлъ медвѣдя, какъ поютъ его маленькія дѣти, когда они думаютъ кого-нибудь испугать:

«Я скрипу-скрипу медвѣдь,
Я на липовой ногъ;
Въ сафьянномъ сапогѣ».

— Кто бы это? сказали въ одинъ голосъ оба, и Долинскій пошелъ къ двери. Не успѣлъ онъ взяться за ручку, какъ дверь сама отворилась и ему предстала Дорушка, въ бѣломъ пеньюарѣ и въ большихъ теплыхъ вязаныхъ сапогахъ. Въ одной рукѣ она держала свѣчку, а другою опиралась на палочку.

— Дарья Михайловна, что вы это дѣлаете? вскрикнулъ Несторъ Игнатьевичъ:—вѣдь вамъ еще не позволено выходить.

— Молчите, молчите, запыхавшись и грозя пальчикомъ отвѣчала Даша.—Послѣ будете разсуждать, а теперь давайте-ка мнѣ поскорѣй кресло. Да не туда, а вонъ къ камину. Ну, вотъ такъ. Теперь подбросьте побольше угля и одѣньте меня чѣмъ нибудь теплымъ—я все забну.

Несторъ Игнатьевичъ поставилъ Дашѣ подъ ноги скамейку, набросалъ въ каминъ изъ корзины новаго кокса, а Анна Михайловна взяла съ дивана бѣличій халатъ Долинскаго и одѣла имъ больную.

— Ишь какой онъ нѣжуха! Какой у него халатикъ мягенькій, говорила Даша, проводя ручкою по нѣжному бѣличьему мѣху.—И какъ тутъ все хорошо! И въ мастерской такъ хорошо, и вездѣ... вездѣ будто какъ все новое стало. Какъ я вылежалась-то, боже-мой, руки-то, руки-то, посмотрите, Несторъ Игнатьичъ! Видите? спросила она, поставивъ свои ладони противъ камина:—насъвозъ свѣтятся.

— Поправитесь, Дорушка, сказалъ Долинскій.

— А?

— Поправитесь, я говорю.

Даша глубоко вздохнула и проговорила:

— Да, поправлюсь. Чего ты на меня такъ смотришь? спросила она сестру, которая забылась и не умѣла скрыть всего страданія, отразившагося въ ея глазахъ, устремленныхъ на угасающую Дашу.—Не смотри такъ пожалуйста, Аня, это мнѣ непріятно.

— Я такъ, Даша, задумалась.

— О чемъ тебѣ думать?

— Такъ, о дѣлахъ.

Вышла маленькая пауза.

— Сколько я въ нынѣшнемъ году заработала? проговорила Даша, глядя въ огонь.—Рублей двадцать?

— Что это тебѣ вздумалось, Даша?

— А на леченье мое, я думаю, богъ-знаетъ сколько вышло?

— Да я не считала, Даша, и что это тебѣ приходится въ голову.

— Нѣтъ, ничего, я такъ это.

— Даша, Даша, какъ тебѣ не грѣшно, за что ты меня обижаешь? Неужто ты думаешь, что мнѣ жалъ для тебя денегъ?

— Кто жъ думаетъ, что тебѣ жалъ? я только думаю, есть ли у тебя чего жалѣть, покажите-ка мнѣ, что вы считали?

Анна Михайловна подала Дашѣ исписанную карандашомъ бумажку.

— Что жъ это значить, денегъ почти что нѣтъ! сказала Даша, положивъ счетъ на колѣни.

— Есть около четырехсотъ на поѣздку, отвѣчала Анна Михайловна.

— Около семисотъ, потому что у меня есть триста.

— Вамъ же надо высылать ихъ?

Долинскій поморщился и отвѣчалъ:

— Нѣтъ, не надо.

— Какъ же не надо, когда надо?

— Надо высылать еще черезъ пять мѣсяцевъ.

— Куда ему высылать нужно? спросила Даша, смотря въ каминъ прищуренными глазками. Ей никто не отвѣчалъ. Несторъ Игнатьевичъ стоялъ у печи, заложивъ назадъ руки, а сестра разглаживала ногтемъ какую-то ни къ чему негодную бумажку.

— А, это пенсіонъ за безпорочную службу той барынѣ, которая все любитъ *очень*, а деньги больше всего, сказала подумавъ Дора:—хоть бы передъ смертью посмотрѣть на эту особу; полтинникъ бы, кажется, при всей нынѣшней бѣдности, заплатила.

— Дорушка, вполголоса проговорила Анна Михайловна.

— Что ты?

Анна Михайловна качнула головой, показала глазами на Долинскаго. Долинскій слышалъ слово отъ слова все, что сказала Даша на счетъ его жены, и сердце его не скалось тою мучительною болью, которою оно сжималось прежде, при каждомъ касающемся ея словѣ. Теперь при этомъ разговорѣ онъ оставался совершенно покойнымъ.

— А вы вотъ о чемъ, Дорушка, поговорите лучше, сказали онъ:—кому съ вами ѣхать?

— Въ самомъ дѣлѣ, мы все толкуемъ обо всемъ, а не рѣшимъ, кому съ тобой ѣхать, Даша.

— Вѣдь паспорта нужно взять, замѣтилъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Киньте жребій, кому выпадетъ это счастье, шутила Дора.—

Тебѣ, сестра, будетъ очень трудно уѣхать. Alexandrine твоя, что называется, пустельга чистая. Тебѣ положиться не на кого. Все тутъ безъ тебя въ разоръ пойдетъ. Помнишь, какъ тогда, когда мы были въ Парижѣ. Такъ тогда всего на какихъ-нибудь три мѣсяца уѣзжали и въ глухую пору, а теперь... Нѣтъ, тебѣ никакъ нельзя ѣхать со мной.

— Да это что! Пусть идетъ какъ пойдетъ.

— За эту готовность цалую твою ручку, только вѣдь и тамъ безъ денегъ макаронъ не дадутъ, а денегъ безъ тебя брать не откуда.

Всѣ задумались.

— Вѣрно ужъ съѣздите вы съ нею, сказала Анна Михайловна, обратясь къ Долинскому.

— Вы знаете, что я никогда не думалъ отказываться отъ услугъ Дорушкѣ.

— Поѣдьте, мой милый! сказала Даша, обернувъ къ нему свое милое личико и протянувъ руку.

Долинскій скоро подошелъ къ креслу больной, поцаловалъ ея руку и отвѣчалъ:

— Поѣдьте, поѣдьте, Дорушка. Я только боюсь, съумѣю-ли я васъ успокоить!

— Вы не боятесь чахотки? спросила Даша, едва удерживая своими длинными рѣсницами слезы, наполнившія ея глаза.

— Нѣтъ, не боюсь, отвѣчалъ Долинскій.

— Ну, такъ дайте, я васъ поцалую. Она взяла руками его голову и крѣпко поцаловала его въ губы.

— Женщины отсюда брать не надо. Мы вездѣ найдемъ женскую прислугу, соображалъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Ненадо, ненадо, говорила Даша, махая рукой:—ничего не надо. Мы будемъ жить экономно въ двухъ комнаткахъ. Можно тамъ найти квартиру въ двѣ комнаты и невысоко?

— Можно.

— Ну, вы будете работать, пишете корреспонденции, начинайте другую повѣсть. Говорятъ, заграницей хорошо писать о родинѣ. Мнѣ кажется, что это правда. Никогда родина такъ не мила, какъ тогда, когда ее не видишь. Все маленькое, все скверненькое останется, а хорошее встаетъ и рисуется въ памяти. Будете мнѣ читать, что напишите; будемъ марать, поправлять. А я буду лечиться, гулять, дышать теплымъ воздухомъ, смотрѣть на голубое небо, спать подъ горячимъ солнцемъ. Ахъ, вотъ я ужъ, право,

какъ будто чувствую, кажется, какъ я тамъ согрѣюсь, какъ прилетитъ въ мою грудь струя новаго, ласковаго воздуха. Да скорѣй, скорѣй ужъ, что-ли, везите меня съ этого «милаго сѣвера въ сторону южную».

XVI.

Дѣло темной ночи.

Черезъ три дня все было готово и на завтра назначенъ выѣздъ. Вечеромъ пили чай въ комнатѣ Даши. О чтеніи никто не думалъ, но всѣ молчали, какъ это часто бываетъ передъ разлукою у людей, которые на прощанье много-много чего-то хотѣли бы сказать другъ другу и не могутъ; мысли разсыпаются, разговоръ не вяжется. Они или не говорятъ вовсе, стараясь *насмотрѣться* другъ на друга, или говорятъ о пустякахъ, о вздорахъ, объ изломанной ножкѣ у кресла, словомъ обо всемъ, кромѣ того, о чемъ бы имъ хотѣлось и слѣдовало говорить. Только опытное, искушенное жизнью ухо съумѣетъ иногда подслушать въ небрежно-оброненномъ словѣ такихъ разговорѣ цѣлую идею, цѣлую цѣпь идей, толпящихся въ головѣ человѣка, обронившаго это слово. Въ комнатѣ у Даши пробовали-было шутить, пробовали говорить серьезно, но все это не удавалось.

— Пишите чаще, говорила Анна Михайловна, положивъ свою хорошенькую голову на одну руку, а другой мѣшая давно остывшій стаканъ чаю.

— Будемъ писать, отвѣчалъ Долинскій.

— Не лѣнитесь пожалуйста.

— Я буду писать акуратно всякую недѣлю.

— Ты наблюдай за нимъ, Даша.

— За Дорушкой за самой нужно наблюдать, отвѣчалъ смѣясь Долинскій.

— Ну, и наблюдайте другъ за другомъ, а главное дѣло, Несторъ Игнатьичъ... то, что это я хотѣла сказать?... Да, берегите бога-ради Дору. Старайтесь, чтобъ она не скучала, развлекайте ее...

Разговоръ опять прервался. Рано разошлись по своимъ комнатамъ. Завтра въ восемь часовъ нужно было ѣхать, и Дашу раньше уложили въ постель, чтобъ она выспалась хорошенько, чтобъ въ силахъ была провести цѣлый день въ дорогѣ.

Долинскій тоже легъ въ постель, но какъ было еще довольно рано, то онъ не спалъ и просматривалъ новую книжку. Прошелъ

часть, или два. Вдругъ дверь изъ коридора очень тихо скрипнула и отворилась. Долинскій опустилъ книгу на одѣяло, и внимательно посмотрѣлъ изъ-подъ ладони.

Въ его первой комнатѣ быстро мелькнула бѣлая фигура. Долинскій приподнялся на локоть. Чтò это такое? спрашивалъ онъ себя, не зная, чтò подумать. На порогѣ его спальни показалась Анна Михайловна. Она была въ бѣломъ ночномъ пеньюарѣ, но голова ея еще не была убрана по ночному. При первомъ взглядѣ на ея лицо, видно было, что она находится въ сильнѣйшемъ волненіи, съ которымъ никакъ не можетъ справиться.

— Чтò вы? чтò съ вами? спрашивалъ пораженный ея посѣщеніемъ и ея разстроеннымъ видомъ Долинскій.

— Ахъ, Боже мой! отвѣтила Анна Михайловна, отчаянно заломивъ руки.

— Да чтò же такое? чтò? допрашивался Долинскій.

— Ахъ, не знаю, не знаю... я сама не знаю, проговорила со слезами на глазахъ Анна Михайловна.—Я... ничего... не знаю, зачѣмъ это я хожу... Зачѣмъ я сюда пришла? добавила она съ страданіемъ на лицѣ и въ голосѣ, и опустившись сѣла въ ноги Долинскаго и заплакала.

— О чемъ? О чемъ вы плачете? упрасивалъ ее Долинскій, дрожа самъ и цалуя съ участіемъ ея руки.

— Не знаю сама; я сама не знаю, о чемъ я плачу, тихо отвѣчала Анна Михайловна, и спустя одну короткую секунду, вдругъ вздрогнула — страстно его обняла, и Долинскій почувствовалъ на своихъ устахъ и влажное, и горячее прикосновеніе какого-то жгучаго яда.

— Слушай! заговорила страстнымъ шопотомъ Анна Михайловна.—Я не могу... Ты никого не люби, кромѣ меня... потому, что я очень... я ужасно люблю тебя.

Долинскій дрожащею рукою обнялъ ее за талію.

— Тебя одну, всегда, весь вѣкъ, прошепталъ онъ сохнувшимъ языкомъ.

— Мой милый! Я буду ждать тебя... ждать буду, лепетала Анна Михайловна, страстно цалуя его въ глаза, щоки и губы.—Я буду еще больше любить тебя! добавила она съ истерическою дрожью въ голосѣ, и, какъ мокрый вьюнь, выскользнула изъ рукъ Долинскаго и пропала въ черной темнотѣ ночи.

XVII.

Опять ничего не видно.

Извозищья карета, нанятая съ вечера, прїѣхала въ семь часовъ утромъ. Дашу разбудили. Анна Михайловна то бросалась къ самовару, то бралась помогать дѣвушкамъ одѣвать сестру, то вошла въ комнату Долинскаго. Взойдетъ, посмотритъ по сторонамъ, какъ будто она что-то забыла, и опять выйдетъ.

— Какъ тебѣ не стыдно такъ тревожиться! говорилъ Долинскій, взглянувъ на нее и покачавъ головой.

— Ахъ! не говори ничего, бога-ради! отвѣчала Анна Михайловна, и махнувъ рукой опять вышла изъ его комнаты.

Чаю напились молча и стали прощаться. Дѣвушки вынесли извознику два чемодана и картонку. Даша цаловала дѣвушекъ, и особенно свою «маленькую команду». Всѣ плакали. Анна Михайловна стояла молча, блѣдная, какъ мраморная статуя.

— Прощай, сестра! сказала, наконецъ, подойдя къ ней Даша.

— Прощай! тихо проговорила Анна Михайловна, и начала крестить Дашу.—Лечись, выздоравливай, возвращайся скорѣй, говорила она, цалуя сестру за каждымъ словомъ.

Сестры долго цаловались, плакали, и наконецъ, поцаловали другъ у друга руки.

Несторъ Игнатьевичъ подошелъ и тоже поцаловалъ ея руку. Онъ не зналъ, какъ ему проститься съ нею при окружавшихъ ихъ дѣвушкахъ.

— Дайте, я васъ перекрещу, сказала Анна Михайловна, улыбувшись сквозь слезы и положивъ рукою символическое знаменье на его лицѣ, спокойно взяла его руками за голову и поцаловала. Губы ея были холодны и дрожали, на рѣсницахъ блестѣли слезы.

Даша вошла первая въ карету, за ней сѣла Анна Михайловна, а потомъ Долинскій съ дорожною сумкою черезъ плечо.

Дѣвушки стояли у дверей съ заплаканными глазами и говорили: «прощайте, Дарья Михайловна! Прощайте, Несторъ Игнатьичъ. Ворочайтесь скорѣе». Дѣвочки плакали, заложа ручонки подъ бумажные шейные платочки, и отирая повременамъ слезы уголками этихъ же платочковъ, ничего не говорили.

Извознику велѣли ѣхать тихо, чтобы не трясло больную. Карета тронулась, дѣвушки еще равъ крикнули: «Прощайте!», а

Даша, высунувшись изъ окна, еще разъ перекрестила въ воздухѣ дѣвочекъ и экипажъ завернулъ за уголъ.

На станцію пріѣхали въ время. Долинскій отправился къ кассѣ купить билеты и сдать багажъ, а Анна Михайловна съ Дашею усѣлись въ уголокъ на диванъ въ пассажирской комнатѣ. Онѣ обѣ молчали и обѣ страдали. На прекрасномъ лицѣ Анны Михайловны это страданіе отражалось спокойно; хорошенькое личико Даши болѣзненно подергивалось, и она кусала до крови свои губы.

Подошелъ Долинскій, и укладывая въ сумку билеты, сказалъ:
— Все готово. Остается всего пять минутъ, добавилъ онъ послѣ коротенькой паузы, взглянувъ на свои часы.

— Дайте мнѣ свои руки! тихо сказала Анна Михайловна сестрѣ и Долинскому.

Анна Михайловна пристально посмотрѣла на путешественниковъ и сказала:

— Будьте, пожалуйста, благоразумны; не обманывайте меня, если случится что дурное; что бы ни случилось—все пишите мнѣ.

— Пожалуйста садитесь! крикнулъ кондукторъ, отворяя двери на платформу. Долинскій взялъ сак-вояжъ въ одну руку и подалъ Дашѣ другую. Они вышли вмѣстѣ, а Анна Михайловна пошла за ними. У барьера ее не пустили, и она остановилась противъ вагона, въ который вошли Долинскій съ Дорой. Усѣвшись, они выглянули въ окно. Анна Михайловна стояла прямо передъ окномъ въ двухъ шагахъ. Ихъ раздѣлялъ барьеръ и узенькій проходъ. На глазахъ Анны Михайловны еще дрожали слезы, но она была покойнѣе, какъ часто успокоиваются люди въ самую послѣднюю минуту разлуки.

— Смотри же, Даша, выздоравливай, говорила она громко сестрѣ.

— А ты не грусти, отвѣчала ей Даша.

— Ворочайтесь оба скорѣе! Ахъ, Несторъ Игнатьичъ!—я забыла спросить! что дѣлать съ письмами, которыя будутъ приходить на ваше имя?

— Отвѣчай на нихъ сама, сказала Даша.

Анна Михайловна засмѣялась.

— Да, право! что тамъ такими пустяками нарушать наше спокойствіе.

Раздался третій свистокъ; вагоны дернулись, покатились, и исчезли въ густомъ облакѣ сѣраго пара.

Анна Михайловна вернулась домой довольно спокойною—даже она сама не могла надивиться своему спокойствію. Она хлопотала въ магазинѣ, распоряжалась работами, обѣдала вмѣстѣ съ m-lle Alexandrine, и только къ вечеру, когда начало темнѣть, ей стало скучнѣе. Она вошла въ комнату Даши — пусто, вошла къ Долинскому — тоже пусто. Присѣла на его креслѣ и невыносимая тоска, словно какъ нѣжнѣйшій другъ, такъ и обняла ее изъ-за мягкой спинки. Въ глазахъ у Анны Михайловны затуманилось и зарябило.

«Какое дѣтство!» подумала она, и поспѣшно отерла слезы.

Такъ просидѣла она здѣсь больше двухъ часовъ, молча, спокойно, не сводя глазъ съ окна, и ей все становилось скучнѣе, и скучнѣе. Одиночество сухимъ чучеломъ выросло въ холодномъ полумракѣ белѣсоватой полярной ночи, въ которую смотришь не то какъ въ день, не то какъ въ ночь, а будто вотъ глядишь по какой-то обязанности въ сѣдую грудь сонной совы. Анна Михайловна пошла въ кухню, позвала кухарку и дѣвочекъ. Съ ними она отставила шкафъ отъ дверей, соединявшихъ ея комнату съ комнатою Долинскаго, отставила комодъ отъ дверей, соединявшихъ ея спальню съ спальнею Даши, отворила всѣ эти двери и долго ходила вдоль открывшейся анфилады.

Была уже совсѣмъ поздняя ночь. Луна свѣтила во всѣ окна, и Аннѣ Михайловнѣ не хотѣлось остаться ни въ одной изъ трехъ комнатъ. Тутъ она лелѣяла красавицу Дору и завивала ея локоны; тутъ онъ, съ слезами въ голосѣ, рассказывалъ ей о своей тоскѣ, о сухомъ одиночествѣ; а тутъ... Сколько надъ собою выказано силы, сколько уваженія къ ней? Сколько времени чистый потокъ этой любви не мутился страстью, и... и зачѣмъ это онъ не мутился? *Зачѣмъ* онъ не замутился... И какой онъ... странный человѣкъ, право!...

Наконецъ, далеко за полночь Анна Михайловна устала; ноги болѣли и голова тоже. Она поправила лампаду передъ образомъ въ комнатѣ Даши, и посмотрѣла на ея постельку, задернутую чистымъ, бѣлымъ пологомъ, потомъ вошла къ себѣ, бросила блузу, подобрала въ ночной чепецъ свою черную косу и новилась у своей постели. Очень скучно ей здѣсь показалось.

— Тоска! произнесла про себя Анна Михайловна, и прошла въ комнату Долинскаго.

Здѣсь было также пусто и невесело. Анна Михайловна взяла подушку, бросила ее на диванъ и на свѣту тревожно заснула.

Много грезилось ей чего-то страшнаго, безпокойнаго, и въ восемь часовъ утра она проснулась, держа у груди обнятую во снѣ подушку.

Вставши, Анна Михайловна принялась за дѣло. Въ комнатѣ Нестора Игнатьевича и Даши все убрала, но все оставила въ старомъ порядкѣ. Казалось, что жильцы этихъ комнатъ только что вышли пройтись по Невскому проспекту.

Время Анны Михайловны шло скоро. За безпрестанной работой она не замѣчала, какъ дни бѣжали за днями. Письма отъ Даши и Долинскаго начали приходить акуратно и Анна Михайловна была спокойна насчетъ путешественниковъ.

Сама она никуда почти не выходила, и у нея никто почти не бывалъ иначе, какъ по дѣлу. Только не забывалъ Анну Михайловну одинъ Илья Макаровичъ Журавка, котораго, впрочемъ, въ этомъ домѣ никто и не считалъ гостемъ.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

FACTS & FIGURES

I.

Маленькій человекъ съ просторнымъ сердцемъ.

Въ этомъ романѣ, какъ читатель могъ легко видѣть судя по первой части, все будутъ люди очень маленькіе — до такой степени маленькіе, что авторъ считаетъ своею обязанностью еще разъ предупредить объ этомъ читателя загодя. Пусть читатель не ожидаетъ встрѣтиться здѣсь, ни съ героями русскаго прогреса, ни съ свирѣпыми ретроgrадами. Въ романѣ этомъ не будетъ ни уѣздныхъ учителей, открывающихъ дешевыя библіотеки для безграмотнаго народа, ни мужей, выдающихъ субсидіи любовникамъ своихъ сбѣжавшихъ женъ, ни гвоздевыхъ постелей, на которыхъ какъ-то умѣютъ спать образцовые люди, ни самодуровъ отцовъ, специально занимающихся угнетеніемъ гениальныхъ дѣтей. Все это уже описано, описывается и вѣроятно еще, всему этому пока не конецъ. Еще на дняхъ новая книжка одного періодическаго журнала вынесла на свѣтъ повѣсть, гдѣ снова дѣйствуетъ такой *организмъ*, который материнское молоко чуть не отравило, который чуть не запороли въ училищѣ, но который все-таки выкорабкался, открылъ библіотеку, и сейчасъ поскорѣе поспѣлъ, сталъ топить горе въ водкѣ и далъ себѣ зарокъ не носить новыхъ сапогъ, а всегда съ заплатками. Благородный *организмъ* этотъ развиваетъ женщинъ, говоритъ самыя ехидныя рѣчи, и все-таки сознаетъ, что онъ пришелъ въ свѣтъ не въ-время; что даже и при немъ у знакомаго этому *организму* лакея *насыкомья* все-таки *могутъ отъѣсть голову*. Таковы были его рѣчи.

Ни уѣзднаго учителя съ библіотекою для безграмотнаго народа, ни сѣдого въ тридцать лѣтъ женскаго развивателя, ни образцоваго безребренника, словомъ — ни одного гражданскаго ге-

роя здѣсь не будетъ; а будутъ люди съ слабостями, *люди дурнаго воспитанія*. И потому кто хочетъ слушать что-нибудь про тирановъ, или про героевъ, тому лучше далѣе не читать этого романа; а кто и за симъ не утратитъ желанія продолжать чтеніе, такого читателя я долженъ просить о небольшомъ вниманіи къ маленькому человѣчку, о которомъ я непремѣнно долженъ здѣсь кое-что поразсказать.

Самый проницательный изъ моихъ читателей будетъ тотъ, который отгадаетъ, что выступающій маленькій человѣчекъ есть не кто иной, какъ старшій нашъ знакомый Илья Макаровичъ Журавка.

Несмотря на то, что мы давно знакомы съ художникомъ по нашему разсказу, здѣсь будетъ нелишнимъ сказать еще пару словъ о его теплой личности. Ильѣ Макаровичу Журавкѣ было лѣтъ около тридцати-пяти; онъ былъ бѣлокуръ, съ горбатымъ тонкимъ носомъ, очень выпуклыми близорукими глазами, довольно окладистой бородкой и такимъ курьезнымъ ротикомъ, что мало привычный къ нему человѣкъ, глядя на собранныя губки Ильи Макаровича, все ожидалъ, что онъ вотъ-вотъ сейчасъ свиснетъ.

Илья Макаровичъ былъ чистый хохоль до самой невозможной невозможности. Онъ нетолько не хотѣлъ зарабатывать новаго карбованца, пока у него въ карманѣ былъ еще хоть одинъ старшій, но даже при видѣ сала или колбасы способенъ былъ забывать о цѣломъ мірѣ, и чувствуя свою несостоятельность оторваться отъ сѣдмаго, говаривалъ: «а возмнть, будьтэ ласковы, або ковбасу отъ менэ, або менэ отъ ковбасы, а то або я ни зымъ, або вона менэ зыистъ». Но, несмотря на все чистокровное хохлячество Ильи Макаровича, судьба выпустила его на свѣтъ съ самой бѣлокурѣйшей нѣмецкой фізіономіей. Фізіономія эта была для Журавки самой несносной обидой, ибо по ней его безпрестанно принимали за нѣмца и начинали говорить съ нимъ по-нѣмецки тогда, какъ онъ относился къ доброй нѣмецкой расѣ съ самымъ глубочайшимъ презрѣніемъ и объяснялся по-нѣмецки непозволительно гадко. Ходилъ на острову такой анекдотъ, что будто работая что-то такое въ дрезденской галереѣ, Журавка хотѣлъ объяснить своему профессору несовершенства нарисованной гдѣ-то собаки и заговорилъ:

— Herr Professor... Hund...

— Bitte sehr halten sie mich nicht für einen Hund, отвѣчалъ профессоръ.

— Aber ist sehr schlechter Hund... Professor, поправлялся и выяснял Илья Макаровичъ.

Снисходительное великодушіе нѣмецкаго професора изсякло; онъ поднялъ свой тевтонскій клювъ и произнесъ съ важною: Ich höre Sie mich zum zehnten mal Hund nennen; erlauben sie endlich, dass ich kein Hund bin!

Илья Макаровичъ покраснѣлъ, задвигалъ на носу свои очки и задумалъ-было въ тотъ же день уѣхать отъ нѣмцевъ.

Но, на несчастіе свое, этотъ маленькій человѣкъ имѣлъ слабость, свойственную многимъ даже и очень великимъ людямъ: это—слабость подвергать свои рѣшенія, составленныя въ пылу негодованія, долгому позднѣйшему раздумыванію и передумыванію. Очень многихъ людей это вредное обыкновеніе отъ одного тяжелаго горя вело къ другому, гораздо большому, и оно же сыграло презлую шутку съ Ильею Макаровичемъ.

Журавка, огорченный своимъ пассажемъ съ нѣмецкимъ языкомъ у професора, прогулялся за-городъ, напился гдѣ-то въ форштадтѣ пива и, успокоясь, возвращался домой, съ новою рѣшимостью уже не ѣхать отъ нѣмцевъ завтра же, а прежде еще докончить свою копію, и тогда точтася же уѣхать съ готовой работой. Идетъ этакъ Илья Макаровичъ по улицѣ, такъ-сказать, нѣсколько примиренный съ нѣмцами и успокоенный—а ужъ огни вездѣ были зажжены, и видить—маленькая парикмахерская, и сидитъ въ этой парикмахерской прехорошенькая нѣмочка. А Илья Макаровичъ, хоть и не любилъ нѣмцевъ, но бѣлокуренькія нѣмочки, съ личиками Гретхенъ и съ руками колбасницъ нашей Гороховой улицы, все-таки дощупывались до его художественнаго сердца.

Журавка остановился подъ окномъ и смотритъ, а Гретхенъ все сидитъ, и дѣлаетъ частые штычки своей иглочкой, да нѣтъ-нѣтъ, и подниметъ свою головку съ русыми кудерьками и голубыми глазками.

— Ахъ, ты шельменокъ ты этакой; какіе у нея глазенки, думаетъ художникъ.—Отлично бы было посмотрѣть на нее ближе. А какъ на тотъ грѣхъ, дверь изъ парикмахерской вдругъ отворилась у Ильи Макаровича подъ самымъ носомъ и высокій сѣдой нѣмецъ съ фізіономіей королевско-прускаго вахмистра высунулся и сердито спрашиваетъ: Was wollen Sie hier, mein Herr?

«Чортъ бы тебя побралъ!» подумалъ Журавка, и вмѣсто того, чтобы удирать, остановился съ вопросомъ:

— Я полагаю, что здѣсь можно остричься?

Ильѣ Макаровичу вовсе не было никакой необходимости стричься, потому что онъ, какъ художникъ, носилъ длинную гривку, составлявшую, до введенія въ Россійской Имперіи нигилистической ереси, исключительную привилегію василеостровскихъ художниковъ. И нужно вамъ знать, что Ильѣ Макаровичъ такъ дорожилъ своими лохмами, что не разстался бы ни съ однимъ вершкомъ ихъ ни за какіе крендели; берегъ ихъ, какъ невѣста свою дѣвичью честь.

Но не бѣжать же было въ самомъ дѣлѣ Ильѣ Макаровичу отъ нѣмца! Вопервыхъ, это ему показалось нечестнымъ (проклятая щепетильность!), а вовторыхъ, вѣдь и чортъ его знаетъ, чѣмъ такой вахмистръ можетъ швырнуть въ догонку.

— Чортъ его возьми совсѣмъ! — подстригусь немножко. Немножко только—совсѣмъ немножко, этасъ... бисхенъ, лепеталь онъ заискивающимъ снисхожденія голосомъ, идучи вслѣдъ за нѣмцемъ и уставляясь глазами на Гретхенъ.

Нѣмецъ посадилъ Илью Макаровича такъ, что онъ могъ въполнѣ наслаждаться созерцаніемъ своей красавицы, и вооружился гребенкой и ножницами.

— Wie befehlen Sie Ihnen die Haare zu schneiden, mein Herr? спросилъ пунктуальный нѣмецъ.

— Ja, bitte, твердо отвѣчалъ Ильѣ Макаровичъ, не сводя глазъ съ шьющей Гретхенъ.

— Nichts über dem Kamm soll bleiben? спросилъ нѣмецъ снова.

Ильѣ Макаровичъ не понялъ, и сильно сконфузился: не хотѣлось ему сознаться въ этомъ при Гретхенъ.

— Ja, отвѣчалъ онъ наугадъ, чтобъ отвязаться.

— Oder nichts für den Kamm? пристаётъ опять вахмпстръ, не приступая къ своей работѣ.

«Чортъ его знаетъ, чтò это такое значить», подумалъ Журавка, чувствуя, что его всего бросило въ краску и на лбу выступила потъ.

— Ja, махнулъ онъ на смѣлость.

— Nichts über den Kamm, oder nichts für den Kamm?

«Oder» и «oder» показали Ильѣ Макаровичу, что тутъ однимъ *ja* не отдѣлаешься.

«Была, не была», подумалъ онъ, и смѣло повторилъ послѣднюю часть нѣмцевой фразы: «Nichts für den Kamm!»

Нѣмецъ откашлянулся, съ особеннымъ чувствомъ, съ трескомъ высморкался въ синій бумажный платокъ гамбургскаго изготовленія и пріятельскимъ тономъ дорф-барбира произнесъ:

— Ich werde sie Ihnen *ganz akkurat* schneiden.

По успокоительному тону, которымъ были произнесены эти слова, Илья Макаровичъ сообразилъ, что лингвистическая пытка его кончается. Онъ съ одобряющей миной отвѣчалъ твердо:

«Recht wohl!, и ничѣмъ несмущаемый, началъ опять любоваться своей Далилой.—Да, это была новая Далила, глядя на которую, нашъ Самсонъ не замѣчалъ, какъ жречески священнодѣйствовавшій нѣмецъ прибралъ его *ganz akkurat* до самого черепа. Илья Макаровичъ все смотрѣлъ на свою Гретхенъ и не замѣчалъ, что ножницы ея отца снесли съ его головы всю его художническую красу. Когда Журавка взглянулъ въ стоявшее передъ нимъ зеркало, онъ даже не ахнулъ, но только присѣлъ книзу. Онъ былъ остриженъ подъ щотку, такъ что еслибы плюнуть на ладонь и хлопнуть Илью Макаровича по маковѣ, то за стѣною можно бы подумать, что нѣмецъ поцаловалъ его въ темя.

— Sehr hübsch! Sehr akkurat! произнесъ нѣмецъ, окончивъ свое жреческое священнодѣйствіе и отходя полюбоваться издали своей работой.

Илья Макаровичъ всталъ, заплатилъ бѣлокурой Далилѣ пять зильбергрошей и бросился домой опрометью. Шляпа вертѣлась на его оголенной головѣ и безпрестанно напоминала ей о ея неслыханномъ въ василеостровской академіи позорѣ.

— Нѣтъ, я вижу, нѣчего тутъ съ этими чертами дѣлать! рѣшилъ Илья Макаровичъ, и на другой же день бросилъ свою копію и уѣхалъ отъ нѣмцевъ въ Италію, но уѣхалъ, увы! не съ художественной гривкой, а съ форменной стрижкой прусскаго рекрута.

Бѣдный Илья Макаровичъ стыдился убѣжать отъ нѣмца, а долженъ былъ болѣе полугода безстыдно лгать, что у него было воспаленіе мозга.

Характеръ у Ильи Макаровича былъ необыкновенно живой и непостоянный; легкость въ мысляхъ, какъ говорилъ Хлестаковъ, необыкновенная; ко всему этому скорость, сердечность и добро-

та безграничная. Илья Макаровичъ выше всего на свѣтѣ ставилъ дружбу и товарищество. Для друга и товарища онъ былъ готовъ идти хоть въ огонь и въ воду. Однако, Илья Макаровичъ былъ очень обидчивъ, и только одна Дора владѣла секретомъ раструнивать его, соблюдая мѣру, чтобы не переходить его терпѣнія. Отъ другихъ же Илья Макаровичъ всѣмъ очень скоро и очень легко обижался, но сердился рѣдко и обыкновенно довольно жалостнымъ тономъ, говорилъ только: «ну, да-да, я знаю, что я смѣшонъ; но есть люди и смѣшнѣй меня, да надъ ними не смѣются». Въ жизни онъ былъ довольно смѣшной человѣкъ. По суетливости и легкости въ мысляхъ, онъ, напримѣръ, вдругъ воображалъ себя механикомъ, и тутъ въ его квартирѣ сейчасъ же появлялся верстакъ, чертежи, циркуля; потомъ, словно по какому-то волшебному мановенію, все это вдругъ исчезало, и у Ильи Макаровича являлось ружье за ружьемъ, англійскій штуцеръ за штуцеромъ, старинный самопалъ и, наконецъ, барочная, мѣдная пушка. Обзаводясь этимъ арсеналомъ, Илья Макаровичъ воображалъ себя Дирслейеромъ, или Ласкаро. Какъ зачарованный швабскій поэтъ, сидѣлъ онъ скорчась мопсомъ, чистилъ и смазывалъ свои смертоносныя оружія, лилъ изъ свинца разнокалиберныя пули и все собираясь на какую-то необыкновенную охоту. Охоты эти, впрочемъ, оканчивались всегда пальбою въ цѣль на смоленскомъ полѣ, или подстрѣливаньемъ воронъ, печально скитающихся по заживо умершимъ деревьямъ, которыя торчатъ за смоленскимъ кладбищемъ. Ружья и самопалы у Ильи Макаровича разновременно получали, одно передъ другимъ, то повышеніе въ чинахъ, то пониженіе.

— Это подлое ружьенко, говорилъ онъ насчетъ какого нибудь ружья, къ которому начиналъ имѣть личность за то, что не умѣлъ пригнать пуль къ его калиберу—и опальное ружье тотчасъ терло тесменный пагонъ и презрительно ставилось въ уголъ.

Илья Макаровичъ кипятился непомѣрно, и ругался съ ружьенкомъ на чемъ свѣтъ стоитъ.

— А этотъ штуцеришко бардзо добрый! весь сіяя отзывался онъ въ другой разъ о штуцерѣ, механизмъ котораго дался ему разгадать себя съ перваго раза. И добрый штуцеришко внезапно же получалъ красную полосу экипажнаго басона, и вѣшался на стѣнѣ надъ кроватью Ильи Макаровича.

Разъ Илья Макаровичъ купилъ случайно пару орловъ и одного коршуна и рѣшился заняться прирученіемъ хищныхъ птицъ. Птицы были посажены въ желѣзную клѣтку и прирученіе ихъ началось съ того, что коршунъ разодралъ Ильѣ Макаровичу руку. Вслѣдствіе этого несчастнаго обстоятельства, Илья Макаровичъ возымѣлъ къ коршуну такую же личность, какую онъ имѣлъ къ своему ружью, и все прирученіе ограничивалось тѣмъ, что онъ не оказывалъ никакого вниманія своимъ орламъ, но за то коршуна раза три въ день принимался толкать линейкой.

— Нѣтъ, она понимаетъ, подлая птица, говорилъ онъ людямъ, увѣщавшимъ его прекратить бесполезную личность къ коршуну. — О! о! видите, якъ тулается подлецъ по клѣткѣ! указывалъ онъ на бѣдную птицу, которая искала какого нибудь убѣжища отъ преслѣдующей ее линейки.

Въ Италіи Илья Макаровичъ обзавелся итальянкой, m-lle Луизой, тоже по скорости и по легкости мыслей, представлявшихъ ему въ итальянкахъ какихъ-то особенныхъ, художественныхъ существъ. Не прошло года, какъ Илья Макаровичъ возымѣлъ нѣкоторую личность и противъ своей Луизы; но съ Луизой было не такъ легко справиться, какъ съ ружьемъ, или съ коршуномъ. Илья Макаровичъ было-заегозился, только вскорѣ осѣлъ и замолкъ. Синьора Луиза была высока, изжелта смугла, съ очень хорошими черными глазами и весьма неизящными длинными зубами. Характеръ у нея былъ смѣлый, язвительный и сварливый. Большинство людей, знавшихъ семейный бытъ Журавки, во всѣхъ домашнихъ непріятностяхъ болѣе обвиняли синьору Луизу, но въ существѣ и синьора Луиза никакъ не могла ужиться въ ладу съ Ильею Макаровичемъ. Въ ладу съ нимъ могла бы жить женщина добрая, умная и снисходительная, которая умѣла бы ни плестъ всякое лыко въ строку и проходить мимо его смѣшныхъ сторонъ съ веселой шуткой, а не съ высокоумной доктриной и не ядовитымъ шипѣніемъ. Конечно, синьорѣ Луизѣ бывало не очень весело, когда Илья Макаровичъ послѣдній рубль, нужный завтра на базаръ, употреблялъ на покупку орловъ да коршунъ, или вдругъ, ни уха ни рыла не смысля въ музыкѣ, обзаводился скрипкой и начиналъ нарѣзывать на ней лазаревскіе концерты; но все же она слишкомъ обижала художника и не деликатно стѣсняла его свободу. По крайней-мѣрѣ, она дѣлала это такъ, какъ нравственно развитая и умная женщина ни за что бы эн сдѣлала.

— Надъ Ильею Макаровичемъ нельзя иногда не смѣяться, но огорчать его за его наивность очень неблагородно, говорила Дора, когда заходила рѣчь о художникѣ.

Синьора Луиза недолюбливала ни Анну Михайловну, къ которой она ревновала своего сожителя, ни Дору, которая обыкновенно не могла удерживаться отъ самаго веселаго смѣха, когда итальянка съ отчаяніемъ рассказывала о какомъ нибудь новомъ сумасбродствѣ Ильи Макаровича. Не смѣяться надъ этими рассказами точно было невозможно, и Дора не находила ничего ужаснаго въ томъ, что Илья Макаровичъ, напримѣръ, являлся домой съ какимъ нибудь трехрублевымъ полированнымъ столикомъ; два или три дня онъ обдувалъ, обтиралъ этотъ столикъ, не позволяя къ нему ни притрогиваться, ни положить на него что-нибудь—и вдругъ этотъ же самый столикъ попадалъ въ немилость: Илья Макаровичъ вытаскивалъ его въ переднюю, ставилъ на немъ сушить свои калоши, или начиналъ стругать на немъ разныя палки и палочки. Дора сама была разъ свидѣтельницею, какъ Илья Макаровичъ оштрафовалъ своего грудного ребѣнка. Ребѣнокъ захотѣлъ груди, и въ отсутствіи синьоры Луизы раскричался, что называется, благимъ матомъ. Илья Макаровичъ урезонивалъ его тихо, потомъ сталъ кипятиться, началъ угрожать ему розгами, и вдругъ, вынувъ его изъ колыбели, положилъ на подушкѣ въ уголъ.

Даша расхохоталась.

— Нѣтъ, его надо проучить, оправдывался художникъ.—О! о! о! вотъ-вотъ видите! Нѣтъ, не бойтесь, оно, шельмовское дитя, все понимаетъ, говорилъ онъ Дорѣ, когда ребѣнокъ замолчалъ, уставя удивленные глазки въ пестрый карнизъ комнаты.

Дора взяла наказаннаго ребѣнка, и положила обратно въ колыбель, и никогда не переставала преслѣдовать Илью Макаровича этимъ его обдуманнмъ поступкомъ.

Болѣе всего у Ильи Макаровича стычки происходили за дѣтей. На Илью Макаровича иногда находило неотразимое стремленіе заниматься воспитаніемъ своего потомства, и тотчасъ двухлѣтняя дѣвочка опредѣлялась къ растиранію красокъ, трехлѣтній сынъ плавилъ свинецъ и долженъ былъ отливать пули, или изучать механизмъ добраго шуцера; но синьора Луиза поднимала бунтъ и воспитаніе дѣтей немедленно же прекращалось.

Илья Макаровичъ въ качествѣ васплеостровскаго художника также не прочь былъ выпить въ пріятельской бесѣдѣ, и не прочь

поподчивать пріятелей чѣмъ Богъ послалъ дома, но синьора Луиза смотрѣла на все это нескоса и дѣлала Ильѣ Макаровичу сцены немилосердныя. Такою рѣшительною политикою синьора Луиза, однако, вполне достигла только одного, чего обыкновенно легко достигаютъ сварливыя и ревнивыя женщины. Ильа Макаровичъ совсѣмъ пересталъ ее любить, сталъ искусно скрывать отъ нея свои маленькія шалости, чаще началъ бѣгать изъ дома и пересталъ хвалить итальяночъ. Дѣтей своихъ онъ любилъ до сумашествія и каждый годъ хотъ по сту рублей клалъ для нихъ въ сохранную казну. Кромѣ того, онъ давно застраховалъ въ трехъ тысячахъ рублей свою жизнь и тщательно вносилъ ежегодную премію.

На сердце и нравъ Ильи Макаровича синьора Луиза не имѣла желаемого вліянія. Онъ оставался попрежнему безпардонно добрымъ «товарищескимъ» человѣкомъ и всѣ его знакомые очень любили его попрежнему. Анну Михайловну и Доружку онъ тоже попрежнему считалъ своими первыми друзьями и готовъ былъ для нихъ хотъ лечь въ могилу. Ильа Макаровичъ всегда рвался услужить имъ, и не было такой услуги, на которую бы онъ не былъ готовъ, хотя бы эта услуга и далеко превосходила всѣ его силы и возможность.

Этотъ-то Ильа Макаровичъ въ цѣломъ многолюдномъ Петербургѣ оставался единственнымъ человѣкомъ, который зналъ Анну Михайловну болѣе, чѣмъ всѣ другіе, и имѣлъ право называться ея другомъ.

II.

Темныя предчувствія.

Былъ пыльный и душный вечеръ. Ильа Макаровичъ зашелъ къ Аннѣ Михайловнѣ съ синьорой Луизой и засидѣлись.

— Что это вы, Анна Михайловна, такія скупыя стали? спросилъ поглядѣвъ на часы художникъ.

— Чѣмъ, Ильа Макаровичъ, я стала скупа? спросила Анна Михайловна.

— Да вотъ десять часовъ, а вы и водченки не дадите.

— Que diu? спросила итальянка, строго взглянувъ глазами на своего сожителя.

Ильа Макаровичъ дмухнулъ два раза носомъ и пробурчалъ что-то съ весьма рѣшительнымъ выраженіемъ.

— Вотъ срамъ! Какая я въ самомъ дѣлѣ невнимательная! сказала Анна Михайловна, поднявшись и идя къ двери.

— Постойте! постойте, крикнулъ Илья Макаровичъ:—я вѣдь это такъ спросилъ. Если есть, такъ хорошо, а нѣтъ—и не нужно.

— Постойте, я посмотрю въ шкафъ.

— Пойдемте вмѣстѣ, крикнулъ Илья Макаровичъ, и засеменилъ за Анной Михайловной.

Въ шкафъ нашлось немного водки, въ графинчикѣ, который ставили за столъ при Долинскомъ.

— Вотъ и отлично, сказалъ художникъ.—Теперь бы кусочекъ чего нибудь.

— Да вы идите въ мою комнату — я велю туда подать, что найдутъ.

— Нѣтъ, зачѣмъ хлопотать? ненадо! ненадо. Вотъ это, что у васъ въ банкѣ?

— Грибы.

— Маринованные! Отлично. Я вотъ грибченковъ закушу.

Илья Макаровичъ, тутъ же стоя у шкафа, выпилъ водченки и закусилъ грибченкомъ.

— Хотите еще рюмченку? сказала Анна Михайловна, держа въ рукахъ графинъ съ остаткомъ водки.—Пейте, чтобъ ужъ зла не оставалось въ домѣ.

Илья Макаровичъ мыкнулъ въ знакъ согласія и, показавъ черезъ плечо рукою на дверь, за которою осталась его сожительница, покачалъ головою и помоталъ въ воздухѣ пальцами.

Анна Михайловна разсмѣялась, какъ умѣютъ смѣяться однѣ женщины, когда хотятъ, чтобы не слышали ихъ смѣха, и вылила въ рюмку остатокъ водки.

— За здоровье отсутствующихъ! возгласилъ Илья Макаровичъ.

— Да пейте, безтолковый, скорѣй! отвѣчала шопотомъ Анна Михайловна, тихонько толкнувъ художника подъ руку.

Журавка какъ будто спохватился, и разомъ выливъ въ ротъ рюмку, чуть-было не поперхнулся.

— А грибченки бардзо добрые, заговорилъ онъ, громко откашливаясь за каждымъ слогомъ.

Анна Михайловна, закрывъ ротъ батистовымъ платкомъ, смѣялась отъ всей души, глядя на «свободнаго художника, потерявшаго свободу».

— Ахтителные грибченки, говорилъ Илья Макаровичъ, входя

въ комнату, гдѣ оставалась его итальянка. Синьора Луиза стояла у окна и смотрѣла на стѣну сосѣднаго дома.

— Пора домой, сказала она, не оборачиваясь.

— Ту минуту, ту минуту. Вотъ только сверну сигареточку, отвѣчалъ художникъ, доставая изъ кармана табакъ и папиросную бумажку.

Анна Михайловна вошла и положила ключи въ карманъ своего платья и сѣла.

— Чего вы торопитесь? спросила она пофранцузски.

— Да вонъ, синьора приказываетъ, отвѣчалъ порусски и пожимая плечами Илья Макаровичъ.

— Пора, дѣти скучать будутъ. Не улягутся безъ меня, отвѣчала синьора Луиза.

— А что-то нашъ Несторушка теперь подѣлываетъ? спросилъ Илья Макаровичъ, котораго двѣ рюмченки видимо развеселили.

— А Богъ его знаетъ, вздохнувъ отвѣчала Анна Михайловна.

— Теперь хорошо въ Италиі!

— Да, я думаю.

— А у насъ-то какая дрянь! бррр! Колорить-то! колорить-то! Экая гадость. А пишутъ они вамъ?

— Вотъ только десятый день что-то нѣтъ писемъ, и это меня очень тревожитъ.

— Не случилось ли чего съ Дарьей Михайловнѣй?

— Богъ-знаетъ. Писали, что ей лучше, что она почти совсемъ здорова и ни на что не жалуется, а впрочемъ всего надумается.

— Не влюбился ли Несторушка въ итальяночку какую? посмѣиваясь и потирая руки, сказалъ художникъ.

Анна Михайловна слегка смѣшалась, какъ человѣкъ, котораго поймали на самой сокровенной мысли.

— Что жъ, очень умно сдѣлаетъ. Пусть себѣ влюбляется хоть и не въ итальянку, лишь бы былъ счастливъ, проговорила она съ самымъ спокойнымъ видомъ.

— Нѣтъ, Анна Михайловна! на свѣтѣ нѣтъ лучше женщинъ, какъ наши русскія, сказалъ вздохнувъ Журавка.

— Въ самомъ дѣлѣ? спрашивала его, улыбаясь, Анна Михайловна.

— Да, право! Гдѣ всеѣмъ этимъ *талиянкамъ* до нашей до русской! Наша русская какъ полюбить, такъ и пригрѣетъ, и приглубить, и пожалѣетъ, а это все...

— Qua? спросила синьора Луиза, услыхавъ нѣсколько разъ повторенное слово «итальянка».

— Квакай, матушка, отвѣчалъ Илья Макаровичъ, и безъ того недовольный тѣмъ, что его почти насильно уводить домой. — Научись говорить порусски, да тогда и квакай; а то капусту выучилась ѣсть вмѣсто апельсинъ, а говорить въ пять лѣтъ не выучилась. Ну, прощайте, Анна Михайловна! добавилъ онъ, взявъ шляпу и подавъ свернутую кренделемъ руку подругѣ своей жизни.

Анна Михайловна подала руку Ильѣ Макаровичу и поцаловала синьору Луизу, оскалившую при семъ случаѣ свои длинные зубы, закусившіе русскаго маэстро.

— Колорить-то, колорить-то какой! говорилъ Журавка, вертась передъ окномъ передней. — Буря, кажется, будетъ.

Ему смерть не хотѣлось идти домой.

Анна Михайловна улыбнулась и сказала:

— Да, въ одинадцатой линіи, какъ говаривалъ Несторъ Игнатьичъ, того и гляди, что къ ночи соберется буря.

— Да, съострилъ, шельмецъ—чтобъ ему самому вымокнуть.

— Будетъ съ него, батюшка мой, и того, что было.

Итальянкѣ наскучилъ этотъ разговоръ и она незамѣтно толкнула Журавку локтемъ.

— Сейчасъ, матушка! отвѣчалъ онъ, и обратясь къ Аннѣ Михайловнѣ, спросилъ: — а что, барыня-то его бомбардируетъ?

— Нѣтъ, теперь, слава-богу не шипеть — успокоилась. Анна Михайловна лгала.

— Экая егарма! сказалъ Журавка, дмухнувъ носомъ.

— Вотъ вамъ и русская.

— Кой-чортъ это русская! Вы вотъ русская, а это чортъ, а не русская.

— Идите ужъ, полно толковать, сказала Анна Михайловна, видя, что итальянка сердится и нѣсколько разъ еще толкнула локтемъ Журавку, который не замѣчалъ этого, слагая свой панегирикъ нѣкогда сильно захаянной имъ русской женщинѣ. — Идите, а то того и гляди, что громъ грянетъ и перекреститься не успѣете.

Журавка махнулъ рукой и потащилъ за двери свою синьору; а Анна Михайловна, проводивъ гостей, вошла въ комнату Долинскаго; сѣла у его стола, придвинула къ себѣ его большую фотографію и сидѣла какъ окаменѣлая, не замѣчая какъ бѣлобрюхой,

холодной жабой проползала надъ угрюмыми, каменными массами столицы безстыдно-наглая, петербургская лѣтняя ночь.

Часто Аннѣ Михайловнѣ выпадали такія ночи, и такъ тянулось до осени. Письма изъ-за границы начали приходить все какъ-то рѣже. Сначала вмѣсто двухъ писемъ въ недѣлю, Анна Михайловна стала получать по одному, а тамъ письмо являлось только разъ въ двѣ недѣли, и даже еще рѣже. И всѣ письма эти стали казаться Аннѣ Михайловнѣ какъ-то странными. Долинскій извѣщалъ въ нихъ, что Доружкѣ лучше, что Доружка совсѣмъ почти выздоровѣла, а тамъ говорилъ что-то о хорошей итальянской природѣ, о русскихъ за-границей, а о себѣ никогда ни слова. Доружка же только дѣлала приписки подъ его письмами и то не всегда. «Что это значить»? думала Анна Михайловна: «Доружкѣ лучше, Доружка почти здорова и отъ Доружки не добьешься слова. Неужто же она меня разлюбила? Неужто Долинскій забылъ меня? Неужто они оба»... Анна Михайловна блѣднѣла отъ своихъ догадокъ и ужасно страдала, но письма въ Италію писала ровныя, теплыя, безъ горечи и упрека. Она не писала имъ ни чаще, ни рѣже, но всякое воскресенье своими руками аккуратно бросала одно письмо въ заграничный ящикъ. Иногда вся сила ея надъ собою истощалась; горячая натура брала верхъ надъ разумомъ, и Анна Михайловна хотѣла завтра же взять паспортъ и летѣть въ Ницу, но безсонная ночь проходила въ размышленіяхъ и утромъ Анна Михайловна говорила себѣ: «зачѣмъ? къ чему?—Чему быть, тому ужъ не миновать», прибавляла она въ раздумѣ. Такъ все и ползло и лѣзло скучное время.

III.

Шпилька.

Передъ новымъ годомъ у Анны Михайловны была куча хлопотъ. Отъ заказовъ некуда было дѣваться; мастерицы работали рукъ не покладывая; а Анна Михайловна немножко поблѣднѣла и сдѣлалась еще интереснѣе. Въ темно-коричневомъ шерстяномъ платьѣ, подъ самую шею, перетянутая по талии чернымъ шелковымъ поясомъ, Анна Михайловна стояла въ своемъ магазинѣ съ утра до ночи, и съ утра до ночи можно было видѣть на противоположномъ тротуарѣ не одного, такъ двухъ, или трехъ зѣвакъ, любовавшихся ея фигурою.

— Еслибъ я была хоть въ половину такъ хороша, какъ эта дура, разсуждала съ собою m-lle Alexandrine, глядя презрительно на Анну Михайловну:—что бы я только устроила... *Tiens. Oui! oui... une petite maisonette et tout ça...*

Анна же Михайловна, разумѣется, ко всѣмъ поклоненіямъ своей красотѣ оставалась совершенно равнодушною.

Она держала себя съ большимъ достоинствомъ. Съ такимъ тактомъ встрѣчала она своихъ то надменныхъ, то суетливыхъ заказчицъ, такъ ловко и такими парижскими оборотами отпарировала всякое покушеніе бомонда потретировать модистку съ выскоты своего величія, что засмотрѣться на нее было можно.

Въ одинъ изъ такихъ дней магазинъ Анны Михайловны былъ полонъ существами, обсуждавшими достоинство той и другой шляпки, той и другой мантильи. Анна Михайловна терпѣливо слушала пустые вопросы и отвѣчала на нихъ со вниманіемъ, щадя пустое самолюбіе и смѣшныя претензіи. Въ часъ въ дверь вошелъ почтальонъ. Письмо было изъ-за границы; адресъ надписанъ Дашею.

— *Je vous demande bien pardon, je dois lire cette lettre immédiatement,* сказала Анна Михайловна.

— *Oh! je vous en prie, lisez! Faites moi la grâce de lire!* отвѣчала ей гостя.

Анна Михайловна отошла къ окну и поспѣшно разорвала конвертъ. Письмо все состояло изъ десяти строкъ, написанныхъ дашиной рукою. Доружка поздравляла сестру съ новымъ годомъ, благодарила ее за деньги и по русскому обычаю желала ей съ новымъ годомъ новаго счастья. На сдѣланный когда-то Анной Михайловной вопросъ: когда они думаютъ возвратиться, Даша теперь коротко отвѣчала въ *post scriptum*: «Возвращаться мы еще не думаемъ. Я хочу еще пожить тутъ. Не хлопочи о деньгахъ. Долинскій получилъ за повѣсть, и намъ есть чѣмъ жить. Въ этомъ долгѣ я надѣюсь съ нимъ счесться». Долинскій только приписывалъ, что онъ здоровъ, и что на дняхъ будетъ писать больше. Этимъ давно уже онъ обыкновенно оканчивалъ свои коротенькія письма, но обѣщанныхъ большихъ писемъ Анна Михайловна никогда «на дняхъ» не получала. Послѣднее письмо такъ поразило Анну Михайловну своею оригинальною краткостью, что, положивъ его въ карманъ, она подошла къ оставленнымъ ею покупательницамъ совершенно растерянная.

— Не отъ mademoiselle Доры ли? спросила ее давняя за-
казчица.

— Да, отъ нея, отвѣчала какъ могла спокойнѣе Анна Ми-
хайловна.

— Здорова она?

— Да, ей лучше.

— Скоро возвратится?

— Еще не собирается. Пусть живетъ тамъ; тамъ ей здоровѣе.

— О, да, это конечно. Россія и Италія—какое же сравненіе?—
Но вамъ безъ нея большая потеря. Ты не можешь вообразить,
chère Vera, отнеслась дама къ своей очень молоденькой спутни-
цѣ:—какая это геніальная дѣвушка, эта mademoiselle Дора! Какой
вкусъ, какая простота и отчетливость во всемъ, что бы она ни
сдѣлала, а вѣдь русская! Удивительныя руки! Все въ нихъ какъ
будто оживаетъ, все измѣняется. Вообще артистка.

— Гдѣ же она теперь? спросила m-lle Vera.

— Въ Ниццѣ, отвѣчала Анна Михайловна.

— Въ Ниццѣ?!

— Да, въ Ниццѣ.

— Я тоже провела это лѣто съ матерью въ Ниццѣ.

— Это m-lle Vera Онучина, назвала дама дѣвушку.

Анна Михайловна поклонилась.

— Очень можетъ быть, что я гдѣ нибудь встрѣчала тамъ вашу
сестру.

— Очень немудрено.

— Съ кѣмъ она тамъ?

— Съ однимъ... нашимъ родственникомъ.

— Если это не секретъ, кто это такой?

— Долинскій.

— Долинскій, его зовутъ Несторъ Игнатьичъ?

— Да, его такъ зовутъ.

— Такъ онъ ей не мужъ?

— Нѣтъ. Съ какой стати?

— Онъ вамъ родственникъ?

— Да, отвѣчала Анна Михайловна, проклиная эту пытливую
особу, и чтобы отклонить ее отъ вопроса, сама спросила:—такъ
вы знали... видѣли мою сестру въ Ниццѣ, вы ее знали тамъ?

— Une tête d'or! Кто же ее не знаетъ? Вся Ницца знаетъ une
tête d'or.

— Это, вѣрно, ее тамъ такъ прозвали?

— Да, ее всѣ такъ зовутъ. Необыкновенно интересное лицо; она ни съ кѣмъ не знакома, но ее всѣ русскіе знаютъ и никто ее иначе не называютъ, какъ *une tête d'or*. Мой братъ познакомился гдѣ-то съ Долинскимъ, и онъ бывалъ у насъ, а сестра ваша, кажется, совсѣмъ дикарка.

— Нну... это не совсѣмъ такъ, произнесла Анна Михѣйловна и спросила:

— Здорова она на видъ?

— Кажется; но что она прекрасна, это я могу вамъ сказать навѣрно, отвѣчала смѣясь незнакомая дѣвица.

— Да, она хороша, сказала Анна Михайловна, и разсѣянно спросила:—а господинъ Долинскій часто бывалъ у васъ?

— О, нѣтъ! Три или четыре раза за все лѣто, и то братъ его затаскивалъ. У насъ случилось много русскихъ и Долинскій былъ такъ любезенъ, прочелъ у насъ свою новую повѣсть. А то, впрочемъ, и онъ тоже нигдѣ не бываетъ. Они всегда вдвоемъ съ вашей сестрой. Вмѣстѣ бродятъ по окрестностямъ, вмѣстѣ читаютъ, вмѣстѣ живутъ, вмѣстѣ скрываются отъ всѣхъ глазъ... кажется, вмѣстѣ дышатъ одной грудью.

— Какъ я вамъ благодарна за этотъ рассказъ! проговорила Анна Михайловна, держась рукой за столъ, за которымъ стояла.

— Мнѣ самой очень пріятно вспомнить обворожительную *tête d'or*. А знаете, я черезъ мѣсяцъ опять ѣду въ Ниццу съ моей маман. Можетъ быть, хотите что нибудь передать имъ?

— *Merci bien*. Я имъ пишу часто.

Свѣтская дама съ свѣтской дѣвицей вышли.

— Какъ она забавно мѣнялась въ лицѣ, замѣтила дѣвица.

— Ну да, еще бы! Это ея *amant*.

— Я такъ и подумала. Какой оригинальный случай!

Дамы засмѣялись.

— И въ какомъ, однако, странномъ кружкѣ вращаются эти господа! пройдя нѣсколько шаговъ сказала *m-lle Vega*.

— И, *ma chère*! въ какомъ же по твоему кружкѣ имъ должно вращаться?

— А онъ уменъ, въ раздумѣ продолжала дѣвица.

— Мало ли, мой другъ, умныхъ людей на свѣтѣ?

— И довольно интересенъ, то-есть я хотѣла сказать, довольно оригиналенъ.

Дама взглянула на дѣвицу, и саркастически улыбнулась.

— Не на столько, однако, надѣюсь, интересенъ, пошутила она:—чтобъ приснился во снѣ mademoiselle Вѣрѣ.

— М-м-м-ъ... за сны свои, ma chère Barbe, никто не отвѣчаетъ, отшутилась m-lle Вѣра, и онѣ обѣ весело разсмѣялись, встрѣтились съ знакомымъ гусаромъ, и заговорили ни о чемъ.

IV.

Туманная даль близится и яснѣетъ.

Какъ только дамы вышли изъ магазина, Анна Михайловна написала къ Ильѣ Макаровичу, прося его сегодня же принести ей книжку журнала, въ которомъ напечатана послѣдняя повѣсть Долинскаго, и ждала ее съ нетерпѣніемъ. Илья Макаровичъ черезъ два часа прибѣжалъ изъ своей одинадцатой линіи, немножко разстроенный и надутый, и принесъ съ собою книжку.

— Что жъ это Нестерка-то! началъ онъ, только входя въ комнату.

— А что? спросила Анна Михайловна, перелистывая съ нетерпѣніемъ повѣсть.

— И повѣсти вамъ не прислалъ?

— Вѣрно, у него у самого ея нѣтъ. Нескоро доходить за границу.

Илья Макаровичъ заходилъ по комнатѣ, и все дмухалъ сердито носомъ.

— Читали вы повѣсть? спросила Анна Михайловна.

— Читалъ, какъ же не прочесть? — читалъ.

— Хороша?

— Хорошую написалъ повѣсть.

— Ну, и слава-богу.

— Денегъ онъ пропасть зарабатываетъ какую!

— Еще разъ слава-богу!

— А что, онъ вамъ пишетъ?

— Пишетъ, медленно проговорила Анна Михайловна.

Илья Макаровичъ опять задмухалъ.

— Водченки пропустить хотите? спросила Анна Михайловна, не подымая глазъ отъ вниги.

— Нѣтъ, чортъ съ ней! Чаишки развѣ, такъ отъ скуки—могу. Анна Михайловна позвонила.

Подали самоваръ.

Ч. II. — Обойд.

— Вы на меня не въ претензіи? спросила она Илью Макаровича.

— За что?

— Что я при васъ читаю.

— Сдѣлайте милость!

— Скучно безъ нихъ ужасно, сказала Анна Михайловна, обваривая чай.

— И чего они тамъ сидятъ?

— Для Даши.

Илья Макаровичъ опять задмухаль.

— Знаете, что я подозреваю? сказалъ онъ. — Это у него все теперь эти *идеи* въ головѣ бродятъ.

— Попали пальцемъ въ небо.

Илья Макаровичъ хотѣлъ употребить дипломатическую, успокоительную хитрость, и очень сконфузился, что она не удалась.

— А вотъ что, Анна Михайловна! сказалъ онъ, пройдясь нѣсколько разъ по комнатѣ, и снова остановясь передъ хозяйкой, сидѣвшей за чайнымъ столомъ, надъ раскрытою книгою журнала.

— Что, Илья Макаровичъ?

Художникъ долго смотрѣлъ ей въ глаза, и наконецъ, съ добродушнѣйшей улыбкой произнесъ:

— Махну-ка я, Анна Михайловна, въ Италію.

— Это же ради какихъ благъ?

— Еще разъ передъ старостью, небо теплое увидѣть. Душу свою обогрѣю.

— Э, не сочиняйте-ка вздоровъ! У бога душа тепла, такъ вездѣ она будетъ тепла, и подъ этимъ небомъ.

Илья Макаровичъ не умѣлъ сказать обинякомъ то, что онъ думалъ.

— Ихъ посмотрю, сказалъ онъ прямо.

— Ну, и что жъ будетъ?

Илья Макаровичъ долго молчалъ, мѣнялся въ лицѣ и моргалъ глазами.

— Обрезонить надо человѣка; вотъ что будетъ! наконецъ вымолвилъ онъ съ таинственнымъ придыханіемъ.

— Это вы Долинскаго хотите обрезонивать! Онъ не мальчикъ, Илья Макаровичъ. Ему уже не двадцать лѣтъ; самъ понимаетъ, что дѣлаетъ.

— И ее, еще тише продолжалъ художникъ.

— Ее?

Илья Макаровичъ сдѣлалъ самую строгую мину и качнулъ въ знакъ согласія головою.

— Дашу? переспросила его Анна Михайловна.

— Ну, да.

— Не знаете вы, за что беретесь, мой милый! отвѣчала улыбавшись Анна Михайловна.

— Слово надо сказать; одно слово иногда заставляетъ человека опомниться, таинственно произнесъ художникъ.

— Кому же это вы будете говорить, что вы будете говорить, и по какому праву, наконецъ, Илья Макарычъ?

— Право! Съ подлецомъ нечего разбирать правъ!

— Пожалуйста, только не горячитесь.

— Нѣтъ-съ, я не горячусь и не буду горячиться, а я только хочу ему высказать все, что у меня накипѣло на сердцѣ, только и всего; и чортъ съ нимъ послѣ.

Анна Михайловна махнула рукой.

— Да и ей тоже-съ. Воля милости ея, а пусть слушаетъ. А ужъ я наговорю!

— Дашъ?

— Да съ.

— О, Аркадія священная! Дашъ не слова человѣческія, а если бы громъ небесный упалъ передъ нею, такъ она... и на этотъ громъ, я думаю, не обратила бы вниманія. — Что тутъ слова, когда, видите, ей меня не жаль—а вѣдь она меня любитъ! Нѣтъ, Илья Макарычъ, когда сердце занялось пламенемъ, тутъ ужъ никакой разумъ и никакія слова не помогутъ!

— Такъ, что жъ они о себѣ теперь думаютъ! грозно крикнулъ и привскочилъ съ мѣста Журавка.

— А ничего не думаютъ.

— Какъ же ничего не думаютъ?

— А такъ — зачѣмъ думать?

— Какъ зачѣмъ думать? Помилуйте, Анна Михайловна, да это... что же это такое вы сами-то наконецъ говорите?

— Я вамъ говорю, что они ничего не думаютъ.

— Да что же онъ-то такое? Послѣ этого вѣдь онъ же выходитъ подлецъ! Илья Макаровичъ въ азартѣ стукнулъ кулакомъ по столу и опять закричалъ:—подлецъ!

— За что вы его такъ браните? Ну что, отъ этого поправится, или получитъ?

— Зачѣмъ же онъ сбилъ дѣвушку?

Анна Михайловна улыбнулась.

— Чего вы смѣтаетесь?

— Надъ вами, Илья Макарычъ! Ничего-то вы не разумѣете хоть и въ Италіи были.

— Чего-съ я не разумѣю?

Анна Михайловна промолчала.

— Нѣтъ-съ, позвольте же, Анна Михайловна, если ужъ начали говорить, такъ вы извольте же договаривать: чего это-съ я не разумѣю?

— Да какъ вы можете утверждать, что онъ ее съ чего ни-будь сбивалъ? сказала Анна Михайловна.

Илья Макаровичъ дмухнулъ носомъ и немолчавъ спросилъ:

— Такъ какъ же это по вашему было?

— Дору никто не собьетъ и... никто Илью Макаровича ни отъ чего не удержать.

Журавка опять забѣгала.

— Да... однако-жь... позвольте: на что же это она бьетъ, въ чью же-съ это голову она бьетъ?! спросилъ онъ, остановившись.

— Любить.

— Да ну-те-жь бо, Богъ съ вами, Анна Михайловна, что жъ будетъ изъ такой любви?

— Чтò изъ любви бываетъ—радость, счастье и жизнь.

— Да вѣдь позвольте... мы вѣдь съ вами старые друзья. Вѣдь... вы его наконецъ любите?

— Ну-съ; такъ чтò же далѣе? произнесла немного конфузясь Анна Михайловна.

— И онъ васъ любилъ?

— Положимъ.

— Ничего не понимаю! крикнулъ пожавъ плечами Илья Макаровичъ и опять ожесточенно забѣгала, мотая повременамъ головою и повторяя съ ажитацией:—ничего... ровно ничего не понимаю! Хоть голову мою срубайте, ничего не понимаю!

— А какъ же это вы однако поняли, что тамъ что-то есть? спросила послѣ паузы Анна Михайловна съ цѣлію повѣрить свои соображенія чужими.

— Да такъ просто. Думаю себѣ иной разъ, сидя за мольбертомъ: чтò онъ тамъ наконецъ, собака, дѣлаетъ? Знаю, вѣдь онъ такой олухъ царя небеснаго; даже прекраснаго, шельма, не понимаетъ; идетъ все понѣрный, на женщину никогда не взглянетъ, а

женщины на него, какъ мухи на медъ. Душа у него такая кроткая, чистая и вся на лицѣ.

— Да, уронила Анна Михайловна, вспоминая лицо Долгивскаго и опять невинно смущаясь.

— Не полюбить-то его почти нельзя!

— Нельзя, сказала улыбнувшись Анна Михайловна.

— То-есть именно, я говорю, чортъ его знаетъ, каналью, ну нельзя, нельзя.

— Нельзя, подтвердила Анна Михайловна нѣсколько серьёзнѣе.

— Ну, вотъ и думаю: чего до грѣха, свихнетъ онъ Дорушку!

— Ничего я не вижу отсюда, а совершенно увѣрена... Да, Илья Макарычъ, о чемъ это мы съ вами толкуемъ—а?... развѣ они не свободные люди?

Художникъ вскочилъ и нестово крикнулъ:

— А ужъ это нѣтъ-съ! Это извините-съ, бо онъ, низкій онъ человѣкъ, долженъ былъ помнить, что онъ оставилъ!

— Эхъ, Илья Макарычъ! А еще вы художникъ и «свободный художникъ»! А молодость, а красота, а коса золотая, сердце горячее, душа смѣлая! Мало вамъ адвокатовъ?

— То-есть чортъ его знаетъ, Анна Михайловна, вѣдь въ самомъ дѣлѣ можно съ-ума сойти! отвѣчалъ художникъ, заламывая на брющѣ свои ручки.

— То-то и есть. Вспомните-ка ея пѣсенку:

То горделива, какъ свобода,
То вдругъ покорна, какъ раба.

— Да, да, да... то-есть именно, я вамъ, Анна Михайловна, скажу, это чортъ-знаетъ, что такое!

Долго Анна Михайловна и художникъ молчали. Одна тихо и неподвижно сидѣла, а другой все бѣгалъ, и то дмухалъ носомъ, то что-то вывертывалъ въ воздухѣ рукою, но наконецъ это его утомило. Илья Макаровичъ остановился передъ хозяйкой и тихо спросилъ:

— Ну, и что жъ дѣлать однако?

— Ничего, такъ же тихо отвѣтила ему Анна Михайловна.

Художникъ походилъ еще немножко, сидѣлъ на одномъ поворотѣ руками жестъ недоумѣнія, и произнесъ:

— Прощайте, Анна Михайловна.

— Прощайте. Вы домой прямо?

— Нѣтъ, забѣгу въ Палкинъ, водченки хвачу.

— Что жъ вы не сказали, здѣсь бы была водченка, спокойно говорила Анна Михайловна, хотя лицо ея то и дѣло покрывалось пятнами.

— Нѣтъ, ужъ тамъ выпью, разсуждалъ Журавка.

— Ну, прощайте.

— А написать ему можно? шопотомъ спросилъ художникъ, снова возвращаясь въ комнату въ шинели и калошахъ.

— Ни, ни, ни! Чужая собака подъ столъ, знаете пословицу? отвѣчала Анна Михайловна, стараясь держаться шутливого тона.

— Господи Боже мой! Какая вы дивная женщина! воскликнулъ восторженно Журавка.

— Такая, которую всегда очень легко забыть, отшутилась Анна Михайловна.

V.

Немного назадъ.

Съ тѣхъ поръ, какъ Долинскій съ Дарьей Михайловной отѣхали отъ петербургскаго амбаркадера варшавской желѣзной дороги, они проводили свое время въ слѣдующихъ занятіяхъ: Доружка утерла набѣжавшія слезы, и упорно смотрѣла въ окошко вагона. Природа ее занимала, или просто молчать ей хотѣлось— глядя на нее рѣшить было трудно. Долинскій тоже молчалъ. Онъ попробовалъ-было заговорить съ Дашей, но та кинула на него бѣглый взглядъ, и ничего ему не отвѣтила. Подѣзжая къ Острову, Даша сказала, что она устала, и дальше ѣхать не можетъ. Отыскали въ гостиницѣ номеръ съ передней. Долинскій приготовилъ чай, и спросилъ ужинъ.

Даша ни къ чему не притронулась.

— Ну, такъ ложитесь спать, сказалъ ей Долинскій.

— Да я спать хочу, отвѣчала Даша.

Она легла на кровати въ комнатѣ, а Долинскій завернулся въ шинель, и легъ на диванчикѣ въ передней.

Они оба молчали. Даша была не то печальна, не то угрюма; Долинскій приписывалъ это слабости и болѣзненной раздраженности. Онъ не беспокоилъ ее никакими вопросами.

— Прощайте, моя милая нянюшка! слабо проговорила черезъ перегородку Даша, полежавъ минутъ пять въ постели.

— Прощайте, Доружка. Спите спокойно.

— Вамъ тамъ скверно, Несторъ Игнатьичъ?

— Нѣтъ, Дорушка — хорошо.

— Потерпите, мой милый, ради меня, чтобъ было по чѣмъ вспомнить.

— Спите, Дорушка.

Больная провела ночь очень покойно и проснулась утромъ довольно поздно. Долинскій нашелъ женщину, которая помогла Дашѣ одѣться, и велѣлъ подать завтракъ. Даша кушала съ аппетитомъ.

— Несторъ Игнатьичъ! сказала она, оканчивая завтракъ:—вотъ сейчасъ вамъ будетъ испытаніе, какъ вы понимаете наставленія моей сестры. Чтò она приказала вамъ на мой счетъ?

— Беречь васъ.

— А еще?

— Служить вамъ.

— А еще?

— Ну, чтò жь еще?

— Еще, еще?

— Право, не знаю, Дарья Михайловна.

— Вотъ память-то!

— Да что же? она просила исполнять ваши желанія и только.

— Ну, наконецъ-то! *Исполнять мои желанія*, а у меня теперь есть желаніе, которое не входило въ наши планы: исполните-ли вы его?

— Чтò же это такое, Дорушка?

— Сvezите меня въ Варшаву. Смерть мнѣ хочется посмотрѣть поляковъ въ ихъ городѣ. У васъ тамъ есть знакомые?

— Должны быть; но какъ же это сдѣлать? Вѣдь это намъ составитъ большой расчетъ, Дорушка, да и экипажа нѣтъ.

— Какъ нибудь. Вы не повѣрите, какъ мнѣ этого хочется.

Факторъ въ Вильно нашелъ старую, очень покойную коляску, оставленную кѣмъ-то изъ варшавянъ, и устроилъ Долинскому все очень удобно. Желѣзная дорога тогда еще была неокончена. Погода стояла прекрасная, путешественники ѣхали безъ непріятностей и Даша была очень счастлива.

— Люблю я, говорила она:—ѣхать на лошадахъ. Отсталая женщина—терпѣть не могу желѣзныхъ дорогъ и этихъ глухихъ вагоновъ.

Долинскій смѣялся и рассказывалъ ей разныя непріятности путешествія на лошадахъ по Россіи.

— Все это можетъ быть такъ; я только одинъ разъ всего ѣхала

далеко на лошадяхъ, когда Аня взяла меня изъ деревни, но терпѣть не могу, какъ въ вагонахъ запирають, прихлопнуть, да еще съ наслажденіемъ ручкой повертять: дескать, не смѣешь выльзть.

Дорога шла очень пріятно. Даша много спала въ покойномъ экипажѣ и говорила, что она оживаетъ. Въ самомъ дѣлѣ, несмотря на дорожную усталость, она чувствовала себя крѣпче и дышала свободнѣе.

Въ Варшавѣ они размѣстились очень удобно въ большомъ номерѣ, состоявшемъ изъ трехъ комнатъ. Долинскій отыскалъ много знакомыхъ поляковъ съ Волини и Подоліи и представилъ ихъ Дашѣ. Даша много съ ними говорила — и осталась очень довольна новыми знакомствами.

Долинскій нашелъ тоже пани Свѣнтоховскую, извѣстную варшавскую модистку, съ которою Анна Михайловна и Даша познакомились въ Парижѣ, и которую принимали у себя въ Петербургѣ. Пани Свѣнтоховская, женщина строгая и ультра-католичка, пріѣхала къ Дашѣ, когда Долинскаго не было дома, и разсыпалась передъ Дорою въ поздравленіяхъ и благожеланіяхъ.

— Да съ чѣмъ вы меня поздравляете? спросила Даша.

— Какъ съ чѣмъ? Съ мужемъ.

— Съ какимъ мужемъ? разсмѣявшись спросила ее Даша.

— А панъ Долинскій!

Даша еще громче разсмѣялась.

— Да какъ же вы ѣдете? спросила нѣсколько обиженная ея смѣхомъ полька.

— Простите мнѣ, мой ангелъ, этотъ глупый смѣхъ, отвѣчала Даша, обтирая выступившія у нея отъ хохота слезы, и рассказывала пани Свѣнтоховской, какъ устроилась ея поѣздка.

Солидная пани Свѣнтоховская покачала головой.

— Чтò жъ, вы развѣ находите это очень ужъ неприличнымъ? А будто приличнѣе было бы оставить меня умирать для приличія

— Не то, что очень неприлично, а...

— А чтò?

— Оно... небезопасно.

Даша опять захохотала, и немного покраснѣвъ, сказала:

— Какіе пустяки!

Когда пришелъ Долинскій, не заставъ уже пани Свѣнтоховской, Даша встрѣтила его веселымъ смѣхомъ.

— Чего вы такъ смѣетесь, Дора? освѣдомился Долинскій.

— Знаете, Несторъ Игнатьичъ, что вы въ опасности.

— Въ какой опасности?

— Въ опасности.

— Полноте шалить, Дора! скажите толкомъ, отвѣчалъ нѣсколько встревоженный Долинскій.

— Не пугайтесь, милая няня! Опасностью вамъ угрожаю я. *Я, моей собственной персоной!* Даша разсказала опасенія madame Свѣнтоховской.

И онъ и она усердно смѣялись.

Вечеромъ Даша и Долинскій долго просидѣли у пани Свѣнтоховской, которая собрала нѣсколькихъ своихъ знакомыхъ дамъ, съ ихъ мужьями, и ни за что не хотѣла отпустить петербургскихъ гостей безъ ужина. Долинскій ужасно безпокоился за Дашу. Онъ не сводилъ съ нея глазъ, а она превесело щебетала съ польками, и на ея миломъ личикѣ не было замѣтно ни малѣйшаго признака усталости, хотя часъ былъ уже поздній.

— Домой пора, Дора, не разъ шепталъ ей Долинскій.

— Погодите—невѣжливо же уѣхать!

— Заболѣете.

— Ахъ! Какъ вы мнѣ надоѣли съ вашимъ менторствомъ.

Долинскій отходилъ прочь.

Вернулся домой только во второмъ часу. Войдя въ нумеръ, Долинскій взялъ Дашу за обѣ руки и сказалъ:

— Смерть я боюсь за васъ, Дорушка! Того и гляжу, что вы сляжете.

— Не бойтесь, не бойтесь, мой милый, отвѣчала она, пожимая его руки.

— А вы слышали, что о васъ говорили паны? спросилъ Долинскій, усадивъ Дору въ кресло.

— Нѣтъ. Что они говорили?

— Говорили: какая хорошенькая московка!

Даша сдѣлала гримасу, и сказала:

— Это мы и безъ нихъ знали, а потомъ спросила:

— А вы слышали, что о васъ говорили паны?

— Нѣтъ.

Даша разсмѣялась.

— Говорили, что вы аниинъ «коханогъ».

— Кому это они говорили?

— Сами съ собой говорили.

— Ворона вѣсть принесла.

— Ворона, именуемая панею Свѣнтоховскою.

— А ей кто доложилъ?

— Ахъ, Несторъ Игнатьичъ! слухомъ, сударь, земля полнится. Долинскій ничего не отвѣчалъ.

— А странный вы господинъ! начала, подумавъ, Даша.—Громами гремите противъ предрасудковъ, а самимъ ухъ какъ жутко становится, если дѣло на чистоту выходитъ! Чтò же вамъ! Развѣ вы не любите сестры, или стыдитесь быть ея, какъ онѣ говорятъ, «коханкомъ?»

— Да мнѣ все равно, только... зачѣмъ? Я вѣдь знаю, чтò у этихъ господъ значитъ *коханекъ*.—Мнѣ это, конечно, все равно, а...

— А кому жъ неравно? Ужъ не за сестру ли вы печалитесь?—Мы съ ней люди простые, въ пансіонахъ не воспитывались: ѣдимъ пряники неписанные.

— Да я-жъ вѣдь ничего и не сказалъ, кажется.

— А только подумалъ! отвѣчала съ ироніей Даша.—Нѣтъ, Несторъ Игнатьичъ, крѣпко еще, вѣрно, сидать въ насъ бабушкины-то присказки!

Даша тоже задумалась и стала смотрѣть на свѣчу, а Долинскій молча прошелся нѣсколько разъ по комнатѣ и сказалъ:

— Ложитесь спать, Даша.

Даша не отвѣчала.

— Идите въ постель, Дора, повторилъ черезъ минуту Долинскій.

Даша молча встала, пожала Долинскому руку и, выходя изъ комнаты, громко продекламировала:

О, жалкій, слабый родъ! О, время,
Полупорывовъ, долгихъ думъ
И робкихъ дѣлъ! О, вѣкъ! О, племя!
Безъ вѣры въ собственный свой умъ!

VI.

Все обстоитъ благополучно.

Путешественники наши пробыли въ Варшавѣ пять дней, и написали Аннѣ Михайловнѣ два длинные письма. На шестой день панна Свѣнтоховская проводила ихъ на желѣзную дорогу. Усаживая Дашу въ вагонъ, она шепнула ей нѣсколько словъ, на которыя та отвѣчала гримаскою. Дорогою Даша первый день чувствовала себя нѣсколько слабою. Закачало ее, и потому Долинскій

рѣшился вовсе не везти ее ночами. Но на другой день Дашѣ было гораздо лучше, и она хохотала надъ Долинскимъ, представляя, какое у него длинное лицо бываетъ, когда она охнетъ.

— Смотрите, Несторъ Игнатьичъ, говорила она: — чтобъ, въ самомъ дѣлѣ, не вышло на слова пани Свѣнтоховской. Въ самомъ дѣлѣ, какъ она говоритъ, «небезпечно» вамъ, кажется, разгуливаться со мной по бѣлу-свѣту. Чего добраго, влюбитесь вы въ меня. Въ два-то года живя вмѣстѣ, вы меня не разсмотрѣли хорошенько, а теперь вотъ дѣлать вамъ нечего, со скуки, какъ разъ злой недугъ приключится. Вотъ анекдотъ-то выйдетъ! Хотъ со свѣта бѣжи тогда.

— Чтò вы выдумываете, Дорушка!

— А чтò жь! Всѣ подь-богомъ ходимъ. Развѣ ужъ въ меня и влюбиться нельзя?

— Какая вы хорошенькая! смѣясь воскликнулъ Долинскій.

— Вотъ то-то и оно! Въ Варшавѣ, въ царствѣ женской красоты таковою признана.

— А встати, Дора, я и забылъ васъ спросить: какъ вамъ понравилась Варшава?

— Очень хорошій, типическій городъ.

— А варшавяне?

— Мужчины, или женщины?

— Тѣ и другіе?

— Однимъ словомъ на это отвѣчать нельзя.

— Ну, можете двумя словами.

— Въ полякахъ мнѣ одно только нравится, а въ полькахъ одно только не нравится.

— Значить, въ мужчинахъ вы замѣтили только одну добродѣтель, а въ женщинахъ только одинъ порокъ?

— Не то совсѣмъ. Мужчины почти точно такіе же, какъ и наши; даже у этихъ легкости этой ненавистной, пожалуй, какъ будто, еще и больше — это мнѣ противно; но они вотъ чѣмъ умнѣе: они за однимъ другого не забываютъ.

— Какъ это, Дорушка?

— А такъ! У нихъ пѣнію время, а молитвѣ часъ. Они не требуютъ, чтобъ люди уродами подѣлались за то, что ихъ матери не въ тотъ, а въ другой годъ родили. У нихъ божіе идетъ Богови, а кесарево Кесареви. Они и живутъ и думаютъ, и любятъ и не надоѣдаютъ своимъ женщинамъ одною докучною фразою. Мнѣ, вы знаете, смерть надоѣли эти наши ораторы! Все

чувства бояться! Сердчишекъ не далъ Богъ, а они еще мечами картонными отмахиваются. Любовь и привязанность будто чему-нибудь хорошему могутъ мѣшать? Будто любовь чему-нибудь мѣшаетъ? Даша разгорячилась.—Шуты святочные! сказала она съ презрѣніемъ, и стала смотрѣть въ окошко вагона.

— Ну, а о женщинахъ-то польскихъ, что же вы, Даша, расскажете?

Даша обернулась съ веселой улыбкой.

— Прелестъ! Я не знаю, гдѣ у васъ царь въ головѣ былъ, Долинскій?

— Когда?

— Когда вы чортъ-знаетъ какъ обрѣштитесь.

Долинскій ничего не отвѣчалъ и по лицу его пробѣжала тучка. Даша поняла, что она тронула больную рану Долинскаго. Она тронула его пальчикомъ по губамъ и сказала:

— У-у. Бука! стыдно дуться! Городничій поѣдетъ и губы отдавить.

Долинскій вздохнулъ.

— А знаете же, что я одно только невзлюбила въ польбахъ? заговаривала Дора.

— Что? спросилъ въ свою очередь Долинскій, проведя рукою по лбу.

— Отгадайте?

— Богъ васъ знаетъ, Доружка! отвѣчалъ Долинскій, все еще невошедшій въ свою тарелку.

— Ну, отгадайте?

— Да, право, не знаю.

Даша нагнулась, и пристально посмотрѣвъ въ глаза Долинскаго, спросила:

— Вы, кажется, все еще дуетесь?

— Нѣтъ, за что же?

— То-то. Видѣли вы, какъ поляки лошадей запрягаютъ?

— Видѣлъ.

— Ну, какъ?

— Въ шоры.

— Нѣтъ, вотъ тутъ на голову — какъ это называется?

Даша приложила ладони къ своимъ вискамъ.

— Наглазники.

— Ну, да, наглазники. Вотъ эти самые наглазники есть у польскихъ женщинъ. По дорогѣ онѣ идутъ хорошо, а въ сто-

рову ничего не видать. Или одна крайность, или другая чрезвычайность.

— Какъ это, Доружка?

— А такъ; или строгость, или ужъ распушенность, есть своеволие, а между тѣмъ свободы честной нѣтъ.

— А у нашихъ есть?

— Ну, какъ же ровнять! отвѣчала качая головкой Дора.

— Способнѣе полагаете наши къ честной свободѣ-то?

— Еще бы! какъ ихъ можно и сравнивать въ этомъ отношеніи! У нашихъ дѣйствительно смѣлость; наши женщины — хорошія женщины; онѣ дѣйствительно хотятъ быть честно свободными.

— Да много ли ихъ?

— Разумѣется, немного пока; а погодите, я увѣрена, что съ нашими женщинами будетъ жить легче, чѣмъ со всякими другими. Вѣдь неплохо и теперь живетъ съ ними? добавила она, улыбаясь.

— Хорошо, Доружка, отвѣчалъ спокойно Долинскій.

— А что, кого вспомнили?

Долинскій улыбнулся и отвѣчалъ:

— Какая вы наблюдательная, Дора!

— А вы это только теперь замѣтили?

— Только теперь.

— Ну, да! вѣдь я недаромъ говорила, что въ два года вы меня хорошенько не разсмотрѣли! Даша помолчала, вздохнула и проговорила:

— Что-то она теперь подѣлываетъ?

На другой день по приѣздѣ въ Ниццу, Долинскій оставилъ Дашу въ гостиницѣ, а самъ до изнеможенія бѣгалъ, отыскивая квартиру. Задача была немалая. Даша хотѣла жить какъ можно дальше отъ людныхъ улицъ, и какъ можно ближе къ морю. Она хотѣла имѣть комнату въ нижнемъ этажѣ, съ окнами въ садъ, невысоко и недорого.

Послѣ долгихъ поисковъ, наконецъ нашла такая квартира у старой француженки, m-me Бюжаръ. Это были три комнатки въ маленькомъ флигелькѣ, съ окнами, выходящими въ уединенный садикъ. M-me Бюжаръ, старушка съ очень добродушнымъ лицомъ, взялась приносить постояльцамъ обѣдъ и два раза въ день навѣщать ихъ и исполнять все, что будетъ нужно для больной русской синьоры. Сама старушка вмѣстѣ съ двумя желтенькими курочками и чернымъ голандскимъ пѣтухомъ жила въ крошечной

комнаткѣ въ другомъ флигелькѣ, выходившемъ въ тотъ же садикъ. Квартира очень поправилась Дашѣ, и вечеромъ того же дня они въ нее переѣхали. Даша заняла большую комнату съ двумя большими окнами, а Долинскій помѣстился въ маленькомъ кабинетикѣ. Кромѣ того у нихъ было нѣчто въ родѣ зальца, раздѣлявшаго собою ихъ комнаты. На другой день Долинскій пригласилъ лучшаго доктора, который осмотрѣлъ больную и съ покойнымъ видомъ объявилъ, что она вовсе не въ такомъ положеніи, какъ имъ кажется. Сдѣлавъ необходимыя гигиеническія наставленія Дорѣ, докторъ уѣхалъ, обѣщавъ навѣщать ее черезъ два дня въ третій. М-ше Бюжаръ оказалась драгоценнымъ существомъ. Она служивала синьорѣ Дорѣ съ искреннимъ радушіемъ и съ всегдашней французской веселостью. Впрочемъ, Даша и мало требовала услугъ. Утромъ она открывала окошечко и кричала: «м-ше Бюжаръ!» Изъ другаго окна ей весело откликались словомъ: «Signora Dogga!» и старуха, переваливаясь, бѣжала и помогала ей сдѣлать, что нужно. Утромъ старуха убирала ихъ комнаты, да приносила обѣдъ. Больше Долинскій и Даша ничего не требовали, и старуха очень полюбила своихъ тихихъ и непривередливыхъ жильцовъ. Жизнь началась очень пріятная. Долинскій отдыхалъ послѣ срочной работы и трудился только тогда, когда ему хотѣлось, а Даша поправлялась не по днямъ, а по часамъ, и опять стала дѣлаться тою же обворожительной, розовой ундиной, какою она была до своей несчастной болѣзни. Только алые пятна все еще не сходили съ ея нѣжныхъ щочекъ. Днемъ Долинскій читалъ Дашѣ вслухъ, или работалъ. Онъ написалъ другую повѣсть и совсѣмъ приготовлялъ ее къ отсылкѣ въ Россію. Писанная на свободѣ повѣсть была очень удачна. Даша хорошо знала эту повѣсть. Она знала, что авторъ часто говоритъ въ ней о самомъ себѣ и о людяхъ, помявшихъ его въ своихъ перчаткахъ. Она заставляла Долинскаго по нѣскольку разъ повторять ей нѣкоторые мѣста и часто надъ многимъ крѣпко и долго задумывалась.

VII.

На устахъ и въ сердцѣ.

Въ десятый разъ они перечитывали знакомую рукопись, и въ десятый разъ Даша заставляла его повторять знакомыя мѣста. Наступалъ вечеръ, Дорушка взяла изъ рукъ Долинскаго тетрадь, дсл-

го читала сама глазами и задумчиво глядя на бумагу, начала что-то чертить перомъ на маржѣ.

— Однако, позвольте, Дарья Михайловна, что же это вы... Вамъ тутъ рисовать вовсе не полагается.

Даша молча замарала все начерченное ею перомъ, отбросила съ недовольной гримаской рукопись, встала, надѣла на себя широкополую соломенную шляпу, и подавая руку Долинскому, нѣсколько сурово сказала: «пойдемте гулять».

Долинскій взялъ фуражку, и они отправились къ обыкновенному пункту своихъ вечернихъ прогулокъ. Во все время дороги они оба молчали, и дойдя до холмика, съ котораго всегда любовались моремъ, оба молча присѣли на земную травку. Видъ отсюда былъ самый очаровательный и спокойный. Далеко-далеко открывалась предъ ними безбрежная водная равнина, и вечернее солнце тонуло въ краснѣющей ряби тихаго моря. Необыкновенно сладко дразнить здѣсь свою душу мечтами и сердцу давать живые вопросы. Даша устала. Долинскій сбросилъ верхнее пальто и кинулъ его на траву. Даша на немъ прилегла и какъ-бы уснула. Молчанью и думамъ ничто не мѣшало.

— Странно какъ это! сказала Даша, не открывая глазъ.

— Чтò такое? какъ-бы оторвавшись отъ другой думы спросилъ Долинскій.

— Такъ богъ-знаетъ, чтò приходитъ въ голову. Вотъ, напри-мѣръ... сколько чепухи на свѣтѣ?

— Немало, Дарья Михайловна; даже очень довольно.

— Я это и безъ васъ знаю, отвѣчала Дора и опять замолчала.

— Не понимаю я, начала она черезъ нѣсколько минутъ:—какъ это дѣлается все у людей... все какъ-то шиворотъ на выворотъ и таранты-на-вонъ. Клянуть и презирають за то, чтò только уважать можно, а уважають за то, за что отвернуться хочется отъ человѣка. Труссы!

— Отчего же не что-нибудь другое, а трусы?

— Такъ, потому, что это все отъ трусости. En gros все ихъ пугаетъ, а en detail—все ничего. Дастъ человѣкъ золотую мопету за удовольствіе, котораго ему хочется—его назовутъ мотомъ; а размѣняетъ ее на пятиалтынные и пятиалтынниками разбросаетъ—только погаже какъ-нибудь—ничего. Какъ это у нихъ тамъ все въ головахъ? Все кверху ногами.

— Подите же съ ними! тихо отвѣчалъ Долинскій.

— Вѣдь это ужасное несчастіе!

— Да, это не счастье.

— Но какъ же это дѣлается? Я, напимѣрь, совсѣмъ не понимаю, какъ это размѣняться, стать мельче, чѣмъ я есть?

— Очень просто, Доружка. Употребляя вашу метафору, одинъ человѣкъ самъ боится раскутиться на весь капиталъ, а другой и предлагалъ свою цѣлую золотую монету, да взамѣнить ее получилъ кое-что изъ мелочи, вотъ и пошла въ обоихъ случаяхъ въ оборотъ одна мелочь—на которую ужъ нельзя вымѣнить снова цѣлой монеты; недостаетъ ужъ нѣсколькихъ пятиалтынныхъ.

— Какія у людей маленькія душонки! сказала Даша съ презрительной гримаской.

— У кого же онѣ больше?

— Да у *никого*. Это-то и скверно, что ни у кого.

Даша задумалась, и помолчавъ, спросила:

— А вы, Несторъ Игнатьичъ, много набрали мелочишки въ сдачу?

— Есть бездѣлица.

— А зачѣмъ?

— Богъ его знаетъ, зачѣмъ? Да и тутъ ваша милая метафора негодится. Не руками берутъ эту, какъ мы сказали, сдачу; а сама она какъ-то послѣ оказывается. Есть поговорка, что всего сердца сразу не излюбишь.

— Ну, да.

Даша подумала и тихо проговорила:

— Я это понимаю. Мнѣ вотъ только непонятны эти люди маленькіе съ своими программами. Счастья они не дадутъ никому, а со всѣхъ все взыскиваютъ.

— Кому жъ они понятны?

— Какъ вы думаете: вѣдь я увѣрена, что это болѣе все глупая сентиментальность дѣлаетъ?

— И сентиментальность, пожалуй, а больше всего предрасудки, разумъ съ дѣтства изуродованный, страхи пустые, безволие, привычка цѣнить пустяки удобства, да и многое-многое другое.

— Да, разумъ съ дѣтства изуродованный—это особенное несчастье.

— Огромное и почти всегда вѣчное.

— Вы какъ же думаете... Я знаю, что вы поступать не мастеръ, но я хочу знать, какъ вы думаете: нужно идти противъ *всѣхъ* предрасудковъ, противъ *всего*, что несогласно съ моимъ разумомъ и съ моими понятіями о жизни?

— На это, Доружка, я полагаю, сплъ человѣческихъ недостатнетъ.

— Но, какъ же быть?

— Самому только не подчиняться предразсудкамъ, не обращать вниманія на людей и ихъ узкую мораль, стоять смѣло за свою свободу, потому что внѣ свободы нѣтъ счастья.

— А вамъ скажутъ, что жизнь дана не для счастья, а для чего-то другаго, для чего-то далекаго, неосяземаго.

— Что жъ вамъ до этого? Пусть говорятъ. На погостѣ живучи всѣхъ не переплачешь, на свѣтѣ маясь всѣхъ не переслушаешь. Въ томъ и вся штука, чтобы не спутаться; чтобы, какъ говорятъ, съ петлей не соскочить, не потерять своей свободы, не просмотрѣть счастья, гдѣ оно есть, и не искать его тамъ, гдѣ оно кому-то представляется.

— Да-съ, да: въ этомъ штука, въ этомъ штука!

— Мнѣ такъ кажется; а впрочемъ, можетъ быть, я и неправъ.

— Нѣтъ, я чувствую, что это правда. Скажите, пожалуйста, вамъ все это не мѣшаетъ жить на свѣтѣ?

— Что такое?... Путаница-то эта?

— Путаница-то.

— Ну, какъ вамъ сказать?

— Да такъ: чувствуете вы, напримѣръ, себя свободнымъ отъ всѣхъ предразсудковъ?

— Теперь я чувствую себя очень свободнымъ.

— А прежде?

— Да и прежде. Впрочемъ, я по какимъ-то счастливымъ случаяностямъ, давно приучилъ себя смотрѣть на многое по своему; но только именно все мнѣ какъ-то очень беспокойно было, жилось очень дурно.

— Вы очень много любили людей?

— Да, меня учили любить людей, и я точно очень любилъ ихъ.

— А теперь?

— Вы знаете, что я зла никому не дѣлаю, или, по крайней-мѣрѣ, стараюсь его не дѣлать.

— Только ужъ не привязываетесь къ людямъ?

— Я люблю человѣчество.

— Какъ мнѣ надоѣла эта петербургская фраза! Такъ говорятъ тѣ, которые ровно никого и ничего не любятъ; а вы не такой человѣкъ. Вы мнѣ скажите, какая разница въ вашихъ

теперешнихъ чувствахъ къ людямъ съ тѣми чувствами, которыя жили въ васъ прежде?

— Близкихъ людей у меня нѣтъ.

— Совсѣмъ?

— Кромѣ Анны и васъ.

— А прежнія привязанности?

— Растоптали ихъ, теперь онѣ засыпались.

— А мать?

— Я ее очень люблю, но вѣдь ея нѣтъ на свѣтѣ.

— Но вы ее все-таки любите?

— Очень. Моя мать была женщина святая. Такихъ женщинъ мало на свѣтѣ.

— Расскажите мнѣ, голубчикъ Несторъ Игнатьичъ, чтонибудь про вашу матушку, попросила Дора, быстро приподнявшись на локоть и ласково смотря въ глаза Долинскому.

— Долго вамъ рассказывать, Дорушка.

— Нѣтъ, расскажите.

Долинскій хотѣлъ очертить свою мать и свое дѣтское житье на Кіевскомъ Печерскѣ въ двухъ словахъ, но увлекаясь, началъ описывать самыя мелочныя подробности этого житья, съ такою полнотою и ясностью, что передъ Дорою проходила вся его жизнь; ей казалось, что лежа здѣсь въ Ниццѣ на берегу моря, она слышитъ изъ-за синихъ ницскихъ скалъ мелодическій гулъ колоколовъ Печерской Лавры и видитъ живую Ульяну Петровну, у которой никто не можетъ ничего украсть, потому что всякій не крадучи можетъ взять у нея все, что ему нужно.

— Какой вы художникъ! Какъ хорошо вы все это рассказываете! перебивала она не разъ Долинскаго.

И выслушавъ, какъ Долинскій, вдохновившійся воспоминаніемъ о своей матери, говорилъ въ заключеніе: «У насъ въ домѣ не знали, что такое попрѣкъ, или ссора; намъ не твердили, что отъ трудовъ праведныхъ не наживешь палатъ каменныхъ, а учили, что всякое неправое стяжаніе — прахъ; намъ никогда не говорили: «наживай да сберегай», а говорили: «отдавай, помогай, не ропщи и вѣруй, что сколько съ тебя чего нужно, столько съ тебя есть на свѣтѣ» — Дорушка воскликнула:

— Какое прелестное, какое завидное дѣтство! Вы не будете ревновать меня, если я стану любить вашу мать такъ же, какъ вы?

Долинскій молча пожалъ руку Доры.

— Вы знаете, продолжалъ онъ, увлекаясь:—люди восторгаются

Галубомъ; въ немъ видѣли идеаль; по поводу его написаны лучшія статьи о нравственно-развитомъ человѣкѣ, а онъ только не столкнулъ врага, убійцу брата! Сердце не позволило. А моя мать? Эта святая душа, которая не только не могла столкнуться врага, но у которой *не могло быть врага*, потому что она вперёдъ своей христіанской индульгенціей простила все людямъ; она не вдохновитъ никого, и могила ея, я думаю, до сихъ поръ разрыта и сравнена, и сынъ ея вспоминаетъ о ней разъ въ цѣлые годы; даже черненькое поминанье, въ которое она записывала всѣхъ и въ которое я когда-то записалъ мою дѣтскою рукою ея имя—и оно гдѣ-то пропало тамъ въ Москвѣ, и еще, можетъ быть, не разъ служило предметомъ шутокъ и насмѣшекъ... Господи, какія у насъ бываютъ женщины! Сколько добра и правды! Какое высокое пониманіе истины сердцемъ! Моя мать, напримѣръ, едва умѣвшая писать имена въ своемъ поминаньѣ, и этотъ Шпандорчукъ, или Вывичъ...

— Зачѣмъ вы ихъ тронхъ вспоминаете вмѣстѣ? произнесла чуть слышно, отворачиваясь въ сторону, Дора. Слезы обильнымъ ручьемъ текли у нея по обѣимъ щекамъ.

— А я! ея дитя, вскормленное ея грудью, выученное ею чтить добро, любить, молиться за враговъ—что я такое?... Позвѣю, искуства, жизнь какъ будто понимаю, а понимаю ли себя? Зачѣмъ нѣтъ мира въ костяхъ моихъ? Что я наконецъ такое? Вывичъ и Шпандорчукъ по всему лучше меня.

— Вы лучше ихъ, произнесла скороговоркою, не оборачиваясь, Дора.

— Они могутъ быть полезнѣе меня.

— Вы всегда будете полезнѣе ихъ, опять такъ же спѣшно оторвала Дора.

— Вы знаете... вотъ мы, вѣдь друзья, а я, впрочемъ, никогда и вамъ не открывалъ такъ мою душу. Вы думаете, что я только слабъ волею... нѣтъ! Во мнѣ еще сидитъ какой-то червякъ! Мнѣ все скучно; я все какъ будто не на своемъ мѣстѣ; все мнѣ кажется... что я сдѣлаю что-то дурное, преступное, чего никогда-никогда нельзя будетъ поправить.

— Что жъ это такое? спросила, медленно поворачиваясь къ нему лицомъ, Дора.

— Не знаю. Я все боюсь чего-то. Я просто чувствую, что у меня впереди есть какое-то ужасное несчастіе. Ахъ, мнѣ не надо жить съ людьми! Мнѣ не надо встрѣчаться съ ними! Это все,

что какъ нибудь улыбается мнѣ, этого всего не будетъ. Я не умѣю жить. Все это, что есть въ мірѣ хорошаго, это все не для меня.

— Васъ любятъ.

— И изъ этого ничего не будетъ, отвѣчалъ, покачавъ головою, Долинскій. — Я вѣрю въ мои предчувствія.

— А они говорятъ?

— Что что-то близится страшное; что что-то такое мое до меня близится; что этотъ врагъ мой...

— Близокъ?

— Да. Мать моя предчувствовала свою смерть, я предчувствую свою погибель.

— Не говорите этого! сказала строго Дора.

— Пусть только бы скорѣе, истоме хуже смерти.

— Не говорите этого! Слышите! Не говорите этого при мнѣ! сердито крикнула, вся измѣнившись въ лицѣ, Дора и окинувъ Долинскаго грознымъ, величественнымъ взглядомъ, прошептала: *пророкъ!*

Ни одинъ трагикъ въ мірѣ не могъ бы передать этого страшнаго, разлетѣвшагося надъ моремъ шопота Доры. Она истинно была и грозна, и величественна въ эту минуту.

— За то, началъ Долинскій, когда Дора, пройдясь нѣсколько разъ взадъ и впередъ по берегу, снова сѣла на свое мѣсто: — кончается мое незабвенное дѣтство и съ нимъ кончается все хорошее.

— Да... ну, продолжайте: какова была, напримѣръ, любовь вашей жены вначалѣ хотя? расспрашивала, сисясь успокоиться, Дора.

— А кто ее знаетъ, что это была за любовь? Я только одно знаю, что это было что-то безкорыстное.

— Не понимаю.

— Ну, и славу-богу.

— Нѣтъ, вы расскажите это.

— Говорю вамъ, что безкорыстья не было въ этой любви. Не знаете какъ любить, какъ арендную статью?

— Все *по праву* требуютъ, а не по сердцу.

— Ну, вотъ вы и понимаете!

— А братъ вашъ?

— Я его очень любилъ; но мы какъ-то отвыкли другъ отъ друга.

— Зачѣмъ же? зачѣмъ же отвѣкать?

— Разѣѣхались, разбросало насъ по разнымъ мѣстамъ.

— Какъ будто мѣста могутъ разорвать любовь?

— Поддержать ее не умѣли.

— Это дурно.

— Да, хорошаго ничего нѣтъ.

— Кто же это: вы ему перестали писать, или онъ вамъ?

— Нѣтъ, онъ.

— А вы ему писали?

— Писаль долго, а потомъ и я пересталь.

Дорушка задумалась.

— Ну, а сестра? спросила она послѣ короткой паузы.

— Сестра моя?... Богъ ее знаетъ! говорить, такъ себѣ...
барыня.

— По «правиламъ» живетъ, смѣясь сказала Даша.

— По «правиламъ», смѣясь же отвѣчалъ Долинскій.

— Эгонетка она?

— Нѣтъ.

— А что же?

— Я вамъ сказалъ: барыня.

— Добрая?

— Такъ... не злая.

— Незлая и недобрая?

— Незлая и недобрая.

— Господи! въ самомъ дѣлѣ, съ какою вы обстановкой жили послѣ матери! Страшно престо.

— Теперь все это прошло, Дорушка. Теперь я живу съ хорошими людьми. Вотъ Анна Михайловна—хорошій человѣкъ; вы—золотой человѣкъ.

— Анна—хорошій, а я—золотой! что же лучше: золотой, или хорошій?

— Обѣ вы хорошіе человѣки.

— Значитъ, «обѣ лучше». А которую вы больше любите?

— Васъ, конечно.

— Ну — то-то.

Они разсмѣялись и наговорившись досыта пошли домой.

VII.

Любовь до слезъ горячихъ.

Тихое однообразіе ницкой жизни Доры и ея спутника продолжалось ненарушаемое ничѣмъ ни съ одной стороны, но при всемъ этомъ оно не было тѣмъ утомительнымъ *semper idem*, при которомъ всякое чувство и всякое душевное настроеніе способно переходить въ скуку. Одинъ недавно умершій русскій писатель, владѣвшій умомъ обаятельной глубины и свѣтлости, человѣкъ увлекавшійся безмѣрно и соединявшій въ себѣ крайнюю необузданность страстей съ голубиною кротостью духа, восторженно утверждалъ, что для людей живыхъ, для людей съ *искрой божіей* нѣтъ *semper idem* и что такіе, живые люди, оставленные самимъ себѣ, никогда другъ для друга не исчерпываются и не теряютъ великаго жизненнаго интереса; остаются другъ для друга вѣчно, такъ-сказать, недочитанною любопытною книгою. Отъ слова до слова я помнилъ всегда оригинальныя, полныя самаго горячаго поэтическаго вдохновенія рѣчи этого человѣка, хлеставшія бурными потоками въ спорѣ о всеѣмъ извѣстной старенькой книжкѣ Saint Pierre «Paul et Virginie», и теперь, когда исторія событій доводитъ меня до этой главы романа, въ ушахъ моихъ снова звучатъ эти пылкія рѣчи смѣлаго адвоката за право духа и человѣкъ снова начинаетъ мнѣ представляться недочитанною книгою.

Доружка и слышать не хотѣла ни о какихъ знакомствахъ, ни ни о какихъ разнообразіяхъ. Когда Долинскій случайно познакомился гдѣ-то въ *café* съ братомъ Вѣры Александровны Онучиной, Кириломъ, и когда Кирилъ Александровичъ сдѣлалъ Долинскому визитъ и потомъ еще навѣстилъ его два или три раза, Доружка не то что дулась, не то чтобы тяготилась этимъ знакомствомъ, но точно какъ будто боялась его, тревожилась, находила себя въ какомъ-то неловкомъ, непріятномъ положеніи. А Кирилъ Онучинъ не былъ совсѣмъ же непріятный аристократъ, ни демократическій фатъ, ни левъ, ни франтъ дурного тона. Это былъ человѣкъ самый скромный, и вообще тишъ у насъ довольно рѣдкій. По происхожденію, состоянію, а равно по тонкости и бѣлизнѣ кожи, сквозь которую видно было, какъ благородная кровь переливается въ тоненькихъ, голубыхъ жилкахъ его висковъ, Кирилъ Онучинъ былъ аристократъ, но ни одного аристократическаго стремленія, ни одного исключительнаго порока и недостатка, свой-

ственного большинству нашихъ русскихъ патриціевъ, въ Кирилѣ Онучинѣ не было ни запаха, ни тѣни. Въ собственной семьѣ онъ былъ очень милымъ и любимымъ лицомъ, но лицомъ таки ровно ничего незначущимъ; въ обществѣ, съ которымъ водилась его мать и сестра, онъ значилъ еще менѣе.

— Кирилъ Онучинъ?... Да какъ бы это вамъ сказать, что такое Кирилъ Онучинъ? отвѣчалъ вамъ, разводя врозь руками всякій, у кого бы вы ни вздумали освѣдомиться объ этомъ экземплярѣ.

Въ существѣ же длинный и кротчайшій Кирилъ Сергѣевичъ былъ страстный ученый, любившій науку для науки, а жизнь свою какъ средство знать и учиться. Онъ почти всегда или читалъ, или писалъ, или что нибудь препарировалъ. Въ жизни онъ былъ самый милый невѣжда, но въ ботаникѣ, химіи и сравнительной анатоміи знатокъ великій. Скромнѣйшимъ образомъ возился онъ съ листочками да корешочками, и никому рѣшительно не была извѣстна мѣра его обширныхъ знаній естественныхъ наукъ; но когда Орсини бросилъ свои бомбы подъ карету Наполеона III-го, а во всѣхъ кружкахъ затолковали объ этихъ ужасныхъ бомбахъ и недоумѣвали, что это за составъ былъ въ этихъ бомбахъ, Кирилъ Сергѣевичъ одинъ разъ вызвалъ потихоньку въ садъ свою сестру, сталъ съ нею подъ окномъ каменнаго грота, показалъ крошечную, черненькую грушку, величиною въ маленький женскій наперстокъ, и загнувъ руку, бросилъ этотъ шарикъ на полъ грота. Страшный взрывъ потрясъ не только всѣ стѣны грота, но и земляную, заросшую дерномъ насыпь, которая покрывала его старинные своды.

— Вотъ видишь, только это въ крошечномъ размѣрѣ, а то, вѣрно, въ большемъ, рассказывалъ Кирилъ Сергѣевичъ перепуганной его опытомъ сестрѣ, и никому болѣе не говорилъ объ этомъ ни одного слова.

Этотъ смирный человѣкъ рѣшительно не могъ ничѣмъ произвести въ Дорѣ дурное впечатлѣніе, но она, очевидно, просто не хотѣла никакихъ знакомствъ. Ей просто не хотѣлось имѣть передъ глазами и на слуху ничего способнаго каждую минуту напомнить о Россіи, съ воспоминаніемъ о которой связывалось кое-что другое, смутное, но тяжелое, о которомъ лучше всего не хотѣлось думать.

Не давая ярко проявляться своему неудовольствію за это новое знакомство съ Онучиными, Дора выбила этотъ клинъ другимъ клиномъ: замѣнила знакомство Онучиныхъ знакомствомъ съ

дочерью молочной сестры мадам Бюжаръ, прехорошенькою Жервезой. Эта Жервеза была очень милая женщина съ добрымъ, живымъ французскимъ лицомъ, покрытымъ постоянно сильнымъ загаромъ, придававшимъ живымъ и тонкимъ чертамъ еще большую свѣжесть. Ей было около двадцати-двухъ лѣтъ, но она уже имѣла шестилѣтняго сына, котораго звали Пьеро, и второго, грудного, Жона. Мужъ Жервезы, прехорошенькій парискъ, щеголявшій всегда чистенькою рубашкой, яркимъ галстукомъ и кокетливой курткой, былъ огородникъ. У нихъ былъ свой очень маленькій крестьянскій домикъ, въ трехъ или четырехъ верстахъ отъ города. Домикъ этотъ стоялъ на краю одной узенькой деревенской дорожки при зеленой долинь, съ которой несло вѣчной свѣжестью. Жервеза и Генрихъ (ея мужъ) были собственники. Собственность ихъ состояла изъ этого домика, съ крошечнымъ дворикомъ, крошечнымъ огородцемъ грядъ въ десять или пятнадцать и огороженнымъ лужкомъ съ русскую тридцатную десятину. Это было наслѣдственное богатство сиротки Жервезы, которое она принесла съ собою своему молоденькому мужу. Потомъ у нихъ на этомъ лужкѣ гуляли четыре очень хорошія коровы, на дворѣ стояла маленькая желтенькая тележка съ красными колесами и небольшая, лапоухая мышастая лошадка, болѣе похожая на осла, чѣмъ на лошадь. Если прибавимъ въ этому еще десятка полтора куръ, то получимъ совершенно полное и обстоятельное понятіе о богатствѣ *молочной красавицы*, какъ называли Жервезу горожане, которымъ она аккуратно каждое утро привозила на своей мышастой лошадкѣ молоко отъ своихъ коровъ и яйца отъ своихъ куръ. Мужъ Жервезы бывалъ цѣлый день дома только въ воскресенье. Въ простые дни онъ обыкновенно вставалъ съ зарею, запрягалъ женѣ лошадь и съ зеленою шерстяною сумою за плечами уходилъ до вечера работать на чужихъ, большихъ огородахъ. Жервеза въ эту же пору усаживалась между кувшиннами и корзинами въ свою крошечную тележку и катила на своей лапоушкѣ въ нѣжащійся еще во снѣ городъ. Старшій сынъ ея обыкновенно оставался дома съ мужниной сестрою, десятилѣтнею дѣвочкой Аделиной, а младшаго она всегда брала съ собою, и ребенокъ или сладко спалъ, убаюкиваемый тихой тряскою тележки, или при всей красотѣ природы съ аппетитомъ сосалъ материнo молоко, хлопалъ ее полненькой рученкой по смуглой груди и улыбался, заирая изъ-подъ косынки на черные глаза своей кормилицы.

Эта Жервеза каждый день являлась къ madame Бюжаръ, и оставивъ у нея ребёнка, отправлялась развозить свои продукты, а потомъ заѣзжала къ ней снова, выпивала стакакъ кофе, брала ребёнка и съ купленнымъ для супу кускомъ мяса спѣшила домой. Доружка нѣсколько разъ видѣла у madame Бюжаръ Жервезу, и *молочная красавица* ей необыкновенно нравилась.

— Это Маріи, говорила она Долинскому:—а не мы, Марѣи, кажется, только и стоящія одного упрёка... Можетъ быть, только мы и выслужимъ за свое марѣунство.

— Опять новое слово, замѣтилъ весело Долинскій: — то разъ было *комонничать*, а теперь *марѣунствовать*.

— Всякое слово хорошо, голубчикъ мой, Несторъ Игнатьичъ, если оно выражаетъ то, что хочется имъ выразить. Академія наукъ не знаетъ всѣхъ словъ, которыя нужны, отвѣчала ласково Дора.

Быстро и сильно увлекаясь своими симпатіями, Дора совсѣмъ полюбила Жервезу, вспоминала о ней очень часто, и говорила, что она отдыхаетъ съ нею духомъ, и не можетъ на нее налюбоваться.

Въ то время, когда съ Долинскимъ познакомился Кириль Онучинъ, у Жервезы случилось горе: мужъ ея, впервые послѣ шести лѣтъ, уѣхалъ на какую-то очень выгодную работу на два, или на три мѣсяца, и Жервеза очень плакала и грустила.

— Онъ у меня такой недурненькій, такой ласковый, а я одна остаюсь, наивно жаловалась она теткѣ Бюжаръ и Доружкѣ.

— Ай, ай, ай, ай! говорила ей, качая сѣдою головою, старушка Бюжаръ.

— Ну, да! хорошо вамъ разсуждать-то, отвѣчала печально, обтирая слезы, Жервеза.

Горе этой женщины было, въ самомъ дѣлѣ, такое граціозное, поэтическое и милое, что и жаль ее было, и все-таки нельзя было не любоваться самымъ этимъ горемъ. Доружка перемѣнила мѣсто прогулокъ и стала навѣщать Жервезу. Когда они пришли къ «молочной красавицѣ» въ первый разъ, Жервеза ужинала съ сыномъ и мужиной сестренкой. Она очень обрадовалась Долинскому и Дорѣ; краснѣла, не знала какъ ихъ посадить и чѣмъ угостить.

— Милочка, душечка Жервеза, и ничего больше, успокоивала ее Дора.—Совершенно французская идиллія изъ повѣсти или романа, говорила она, выходя съ Долинскимъ за калитку дворика:—

благородная крестьянка, коровы, дѣти, куры, молоко и лужайка. Какъ странно! Какъ глупо и пошло мнѣ это представлялось въ описаніяхъ, и какъ это хорошо, какъ спокойно ото всего этого, на самомъ дѣлѣ. Жервеза, возьмите, милая, меня жить къ себѣ.

— Oh, mademoiselle, какъ это можно! Мы не умѣемъ служить вамъ; у насъ... тѣсно, безпокойно, увѣряла «молочная красавица».

— А вотъ, mademoiselle Дора думаетъ, что у васъ-то именно очень спокойно.

— Oh, non, monsieur! Коровы, куры утромъ кричатъ, дѣти плачутъ; мой Генрихъ тоже встаетъ такъ рано и начинаетъ рубить дрова, да нарочно будить меня своими пѣснями.

— Но теперь вашъ Генрихъ не рубить вамъ дровъ, и не поетъ своихъ пѣсень?

— Да, теперь онъ бѣдный не поетъ тамъ своихъ пѣсенокъ.

— А, можетъ быть, и поетъ, пошутила Дора.

— Поетъ! Ахъ нѣтъ, не поетъ онъ. Вы вѣдь не знаете, mademoiselle, какъ онъ меня любитъ: онъ такой недурненькій и всегда хочетъ цаловать меня... Я просто, когда только вздумаю, кто ему тамъ чиститъ его бѣлье, кто ему починитъ если разорвется его платье, и мнѣ такъ хочется плакать, мнѣ дѣлается такъ грустно... когда я только подумаю, что...

— Кто-нибудь другой тамъ вычиститъ его бѣлье, и его поцалуетъ?

— Mademoiselle! зачѣмъ вы мнѣ это говорите? произнесла блѣдная «молочная красавица», и кружка заходила въ ея дрожавшей рукѣ. — Вы знаете что-нибудь, mademoiselle? спросила она, дѣлая шагъ къ Дорѣ, и быстро вперея въ нее полные слезъ и страха глаза.

— Что вы! что вы, бѣдная Жервеза! Успокойтесь, другъ мой, я пошутила, говорила встревоженная Дора, вставая и цалуя крестьянку.

— Честное слово, что вы пошутили?

— Даю вамъ честное слово, что я пошутила, и что я, напротивъ, увѣрена, что Генрихъ любитъ васъ, и ни за что вамъ не измѣнитъ.

— Увѣренъ въ этомъ, mademoiselle, никто не можетъ быть, но я лучше хочу сомнѣваться, но... вы никогда, mademoiselle, такъ не шутите. Вы знаете, я завтра оставлю дѣтей и хозяйство, и пойду сейчасъ, возьму его назадъ оттуда, если я что-нибудь узнаю.

— Однако, какъ плохо шутить-то! проговорила порусски Дора, когда Жервеза успокоилась и начала высказывать свои взгляды.

— Вѣдь я ему вѣрна, mademoiselle Дора; я ему совсѣмъ вѣрна; я противъ него даже помысломъ невиновата, и я люблю его, потому что онъ у меня такой недурненькій и ласковый, и потому вѣдь мы же съ нимъ, mademoiselle, вѣнчались; онъ не долженъ сдѣлать противъ меня ничего дурнаго. Прекрасно еще было бы! Нѣтъ, если я тебя люблю, такъ ты это знай и помни, и помни, и помни, говорила она, развеселясь и цалуя за каждымъ словомъ своего ребѣнка. Вы вѣдь знаете, мы шесть лѣтъ женаты, и мы никогда, рѣшительно никогда не ссорились съ моимъ Генрихомъ.

— Это рѣдкое счастье, Жервеза.

— Ахъ правда, mademoiselle, что рѣдкое! Мы оба съ Генрихомъ такіе... какъ бы вамъ сказать? Мы оба всегда умно ведемъ себя: мы цѣлый день работаемъ, а ужъ за то, когда онъ приходитъ домой, mademoiselle, мы совсѣмъ сумасшедшіе; мы все цалуемся, все палуемся.

Дора и Долинскій оба весело разсмѣялись.

— Ахъ, pardon, monsieur, что я это при васъ рассказываю!

— Пожалуйста, говорите, Жервеза; это такъ рѣдко удается слышать про счастье.

— Да, это правда, а мы съ Генрихомъ совсѣмъ сумасшедшіе: какъ я ему только отворяю вечеромъ дверь, я схожу съума и онъ тоже.

— А что вы думаете, Жервеза, объ этомъ господинѣ? *Не дурненькій* онъ или нѣтъ? говорила Дора, прощаясь и указывая Жервезѣ на Долинскаго.

«Молочная красавица» посмотрѣла на Нестора Игнатьича, который былъ безъ сравненія лучше ея Генриха, и улыбнулась.

— Что же? переспросила ее Дора.

— Генрихъ лучше всего міра! отвѣчала ей на ухо Жервеза.— Онъ такъ меня цалуетъ, шептала она скороговоркой:—что у меня голова такъ кружится, кружится-кружится, и я ничего не помню послѣ.

На первой полуверстѣ отъ дома молочной красавицы, Дорюшка остановилась разъ шесть, и принималась весело хохотать, вспоминая наивную откровенность своей Маріи.

— Да-съ, однако, шутить-то съ вашей Маріей не очень лег-

ко: за ухо приведетъ и скажетъ: нѣтъ, *ты мой мужъ*; помни это, голубчикъ! говорилъ Долинскій.

— Ну, да, да, это очень наивно; но вѣдь она на это право имѣетъ: видите, она за то вся живетъ для мужа и въ мужѣ.

— Вы это оправдываете?

— Извиняю. Еслибы Жервеза была не такая женщина, какая она есть; еслибы она любила въ мужѣ самое себя, а не его, тогда это, разумѣется, было бы неизвинительно; но когда женщина любить истинно, тогда ей должно прощать, что она смотритъ на любимаго человѣка, какъ на свою собственность, и не хочетъ потерять его.

— А если она ревнуетъ, лежа какъ собака на снѣгъ?

— Тогда она собака на снѣгъ.

— Видите, начала, подходя къ городу, Дора:—почему я вотъ и назвала такихъ женщинъ Маріями, а насъ—многогѣчивыми Мареоами. Какъ это все у нея просто, и все выходитъ изъ одного *люблю*.—Почему *люблю*?—Потому, что онъ такой недуренькій и ласковый. А совсѣмъ нѣтъ! Она любитъ потому, что *любитъ его*, а не себя, и потомъ все ужъ это у нея такъ прямо идетъ—и преданность ему, и забота о немъ, и боязнь за него, а у насъ поидетъ мареунство: какъ? да что? да, можетъ быть, иначе нужно? И пойдутъ эти надутыя лица, суненье, скитанье по угламъ, доказыванье характера, и прощай счастье. Люби просто, такъ все и поидетъ просто изъ любви, а начнутъ вотъ этакъ пещися и молвить о многомъ—и все поидетъ, какъ ключъ ко дну.

— Правда въ вашихъ словахъ чувствуется великая и, конечно, *внутренняя* правда, а не логическая и, стало-быть, самая вѣрная; но вѣдь вотъ какая тутъ исторія: думаешь о любви какъ-то такъ хорошо, что какъ ни повстрѣчаешься съ нею, все обыкновенно не узнаешь ее... все она бѣднѣе чѣмъ-то. И опять хочется *настоящей* любви, такой, какая мечтается, а настоящая любовь...

— Есть любовь Жервезъ, подсказала Дора.

— Любовь Жервезъ? Я не корю ее, но почему вы знаете, чего здѣсь болѣе—любви, или привязанности и страсти, или убѣжденія, что все это такъ быть должно. Охъ, настоящая любовь—большое дѣло! Она скромна, она молчитъ... Нѣтъ, настоящая любовь... нѣтъ ея, кажется, нигдѣ даже.

Дорушка тихо повернулась лицомъ къ Долинскому.

— Настоящая любовь, сказала она:—вѣрно тамъ, гдѣ нѣтъ насъ?

— Можетъ быть.

— И гдѣ мы не были, пожалуй?

— Да это будетъ одно и то же.

— Ай, ай, ай, на какихъ вещахъ вы даете ловить себя, Долинскій! протянула Дора, и дернула за звонокъ у воротъ своего дома.

— Вы, кажется, вчера вывели изъ нашего разговора какое-то новое заключеніе? спрашивалъ ее на другой день Несторъ Игнатьичъ.

— Новое!... никакого, отвѣчала, улыбнувшись, Дора.

Дней черезъ пять Дора снова вздумала идти къ Жервезѣ. Проходя мимо одной лавки, они накупили для дѣтей фруктовъ, конфетъ, лентъ для старшей дѣвочки, кушакъ для самой молочной красавицы, и вышли съ большимъ бумажнымъ конвертомъ за городъ.

Не нужно много трудиться надъ описаніемъ этихъ сине-розовыхъ вечеровъ береговыхъ мѣстъ Средиземаго моря: ни Айвазовскаго кисть, ни самое художественное перо все-таки не передаютъ ихъ вѣрно. Вечеръ былъ божественный, и Дора съ Долинскимъ не замѣтили, какъ дошли до домика молочной красавицы.

Когда Долинскій нагнулся, чтобы сбить угломъ платка пыль, насаѣвшую на его лакированный ботинокъ, изъ раствореннаго низенькаго и очень широкаго окна послышалось какое-то очень стройное пѣніе: женскій, довольно слабый контральтъ и дѣтскіе, неровные дисканты.

Дорушка приподняла платье, тихоничко подошла къ окну и остановилась за густымъ кустомъ, по которому сплошною сѣтью ползли свіеіе усы винограда. Долинскій такъ же тихо послѣдовалъ за Дорой, и остановился у ея плеча.

— Тсс! произнесла чуть слышно Дора и, не оборачиваясь къ Долинскому, погрозила ему пальцемъ.

Чистенькая бѣлая комната молочной красавицы была облита нѣжнымъ краснымъ свѣтомъ только что окунувшагося въ море горячаго солнца; старый орѣховый комодъ, закрытый бѣлой салфеткой; молящійся бронзовый купидонъ и грустный ликъ Мадоны, съ сердцемъ, пронзеннымъ семью мечами, все смотрѣло необыкновенно тихо, нѣжно и серьезно. Изъ комнаты не слышно было ни звука. Черезъ верхнія вѣтки куста Долинскій увидалъ Жервезу. Молочная красавица въ яркомъ спензерѣ и высокомъ бѣломъ чепцѣ стояла на колѣняхъ. На локтѣ лѣваго рукава ея бѣлой

рубашки лежалъ небольшой черненькій шарикъ. Это была голова ея младшаго сына, который тихо сосалъ грудь, и на котораго она смотрѣла въ какой-то забывчивости. Рядомъ съ Жервезою, также на колѣняхъ, съ сложенными на груди ручонками, стояла десятилѣтняя сестра жервезинаго мужа, а слѣва опять на колѣняхъ же помѣщался ея старшій сынъ. Пятилѣтній Пьеро былъ босикомъ, въ синихъ нанковыхъ штанишкахъ и желтоватой нанковой же курточкѣ. Мальчикъ тоже держалъ руки сжавши на груди, но смотрѣлъ въ бокъ на окно, на которомъ сидѣлъ бѣлый котенокъ, преграціозно раскачивающій лапкою привѣшенное на ниткѣ красное райское яблоко.

Жервеза взяла мальчика за плечо и тихо повернула его лицо къ Мадовѣ, и тотчасъ же заплѣла: «Ты, который все видишь, всѣхъ любишь и со всѣми живешь, приди и живи въ нашемъ сердцѣ».

Дѣти плѣли за Жервезой не совсѣмъ согласно, отставали отъ нея и повторяли слова нѣсколько позже, но тѣмъ не менѣе, въ этомъ несмѣломъ тріо была гармонія удивительная.

«И тѣхъ, которыхъ нѣтъ съ нами, Ты также помилуй, и съ ними живи, плѣла Жервеза послѣ первой молитвы.—Злыхъ и недобрыхъ прости, и всѣхъ научи насъ другъ друга любить, какъ правду любилъ Ты, за насъ на крестѣ умирая».

При концѣ этой молитвы двое старшихъ дѣтей начинали немного тревожиться. Они розняли свои ручонки, робко дотрогивались до бѣлыхъ рукавовъ Жервезы и заглядывали въ ея глаза. Видно было, что они ожидали чего-то, и знали чего ожидаютъ.

• «А тѣхъ, которые любятъ другъ друга, заплѣла молочная красавица голосомъ, въ которомъ съ перваго звука зазвенѣли слезы: — тѣхъ Ты соедини и не разлучай никогда въ жизни. Избавь ихъ отъ несносной тоски другъ о другѣ; верни ихъ другу въ другу все съ той же любовью. О, пошли имъ, пошли имъ любовь Ты до вѣка! О, сохрани ихъ отъ страстей и соблазновъ, и непусти одному сердцу разбить навѣки другое!»

Слезы, плившія въ голосъ Жервезы и затруднявшія ея пѣніе, разомъ хлынули цѣлымъ потокомъ, съ стонами и рыданіями тоски и боязни за свою любовь и счастье. И чего только, какихъ только словъ могучихъ, какихъ душевныхъ движеній не было въ этихъ разрывающихъ грудь звукахъ!

— Молись, молись, Пьеро, за своего отца! Молись за мать

твою! Молись за насъ, Алиночка! говорила Жервеза, плача и прижимая къ себѣ обхватившихъ ее дѣтей.

Минуты три въ комнатѣ были слышны только вздохи и тихій, неровный шопотъ; даже бѣлый котенокъ пересталъ колыхать лапой свое яблочко.

Долинскій оглянулся на Дашу: она стояла на колѣняхъ и смотрѣла въ окно на блѣдное лицо Мадоны; въ длинныхъ, темныхъ рѣсницахъ Доры дрожали слезы.

Долинскій снялъ шляпу и смотрѣлъ на золотую голову Доры.

— Полно намъ плакать, произнесла въ это время успокоиваясь Жервеза:—будемъ молиться за бѣдныхъ дѣтей.

«Вѣднымъ дѣтямъ, запѣла она спокойнѣе:—дѣтямъ-спироткамъ будь Ты отцомъ, и обрадуй ихъ лаской своею, и добрыхъ людей имъ пошли Ты на встрѣчу, и доброй рукою подай имъ и хлѣба, и платья, и дай имъ веселое дѣтство...»

Дѣти начали кланяться въ землю, и молитва повидимому приходила къ концу. Дорушка замѣтила это; она тихо встала съ колѣнъ, подняла съ травы лежавшій возлѣ нея бумажный мѣшокъ съ плодами, подошла къ окну, положила его на подоконникѣ, и незамѣченная никѣмъ изъ семьи молочной красавицы, скоро пошла изъ садика.

— Что молится такъ, Долинскій? спросила она, остановившись за угломъ, и прежде чѣмъ Долинскій успѣлъ ей что вибудь отвѣтить, она сильно взяла его за руку и съ особымъ удареніемъ сказала:—такъ молится *любовь*! Любовь такъ молится, а не страсть, и не привязанность.

— Да, это молилась любовь.

— Это сама любовь молилась, Несторъ Игнатьичъ, истинная любовь, простая, чистая любовь до слезъ и до молитвы къ Богу.

Дорушка тронулась впередъ по сѣрой, пыльной дорожкѣ.

— Что жъ, вы не зайдете, развѣ? спросилъ ее Долинскій.

— Куда?

— Да къ нимъ?

— Къ нимъ?... Знаете, Несторъ Игнатьичъ, чѣмъ представляется мнѣ теперь этотъ домъ? проговорила она, оборачиваясь и протягивая въ воздухѣ руку къ домику Жервезы. — Это горящая купина, къ которой не должны подходить наши хитрые ноги.

— Стопы лукавыхъ.

— Да, стопы лукавыхъ! Сдѣлайте мѣлость, не пробуйте опять нигилистничать: совсѣмъ вѣдь не къ лицу вамъ эти лица.

— Они только будутъ удивляться, откуда взялся мѣшокъ, который вы имъ положили.

— Не будутъ удивляться: это Богъ прислалъ дѣтямъ за ихъ хорошія молитвы.

— И прислалъ черезъ лучшаго изъ своихъ земныхъ ангеловъ.

— Вы такъ думаете?

— Удивительная вы дѣвушка, Дора! Кажется, нѣжиѣе и лучше васъ, въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ женскаго существа на свѣтѣ.

— Тутъ одна, сказала Дора, снова остановясь и указывая на исчезающій за холмомъ домикъ Жервезы: — а вонъ тамъ другая, добавила она, бросивъ рукою по направленію на сѣверъ. — Вы, пожалуйста, никогда не называйте меня доброю. Это значить, что вы меня совсѣмъ не знаете. Какая у меня доброта? — ну, какая? Что меня любятъ, а я не кусаюсь, такъ въ этомъ доброты нѣтъ; послѣ этого вы, пожалуй, и о себѣ способны возмечтать, что и вы даже добрый человѣкъ.

— А развѣ же я, Дарья Михайловна, въ самомъ дѣлѣ, по вашему, злой человѣкъ?

— Эхъ, да что, Несторъ Игнатьичъ, въ такой нашей добротѣ проку-то! Вонъ анина, или жервезина доброта — такъ это доброта: всѣмъ около нихъ хорошо, а наша съ вами доброта, это... вотъ именно художественная-то доброта: впечатлительность, порывы. Вы вѣдь не знаете, какое у меня порочное сердце и до чего я бываю иногда зла въ душѣ. Вотъ не далѣе, какъ... когда это мы были первый разъ у Жервезы?... ухъ, какъ я тогда была зла на васъ! И что это, въ самомъ дѣлѣ, вамъ тогда пришло въ голову увѣрять меня, что это не любовь, а привязанность одна, и какія-то тамъ глупыя страсти?

— Мнѣ такъ показалось.

— Врете! все врете, и опять начинаете сердить меня. Охъ, да какъ я васъ знаю, Несторъ Игнатьичъ! Еслибы я замѣтила, что меня кто-нибудь такъ знаетъ и насквозь видитъ, какъ я васъ, я бы... просто ушла отъ такого человѣка на край свѣта. Вы мнѣ это тогда говорили вотъ почему: потому что безхарактерность у васъ, должно быть, простирается иногда такъ далеко, что даже, будучи хорошимъ человѣкомъ, вы вдругъ надумаете: а, ну-ка, я понигилистничаю! — можетъ быть, это правильнѣй? И я только не хотѣла вамъ говорить этого, а ужасно вы мнѣ были противны въ тотъ вечеръ.

— Даже противень?

— Даже гадки, если хотите. Чтó это такое? первое дѣло—оскорбляетъ ни за что, ни про что любовь женщины, а потомъ чѣмъ же вы сами-то были?—Шпандорчукъ какой-то, не то Вярвичъ—обезьянка петербургская.

— Вотъ то-то оно и есть, Дарья Михайловна, что судь-то людской не божій: всегда въ немъ много ошибокъ, отвѣчалъ спокойно Долинскій.—Совсѣмъ я не обезьянка петербургская, а худъ ли, хорошъ ли, да ужъ такой, какимъ меня Богъ зародилъ. Вамъ угодно, чтобы я оправдывался — извольте! Знаете ли вы, Дарья Михайловна, все, о чемъ я думаю?

— Конечно, не знаю.

— Совершенная правда, и потому, стало-быть, не знаете, до чего и какъ я иногда додумываюсь. Я не нигилистничалъ, Дарья Михайловна, когда выразилъ ошибочное мнѣніе о любви Жервезы, а вотъ какъ это было: очень давно мнѣ начинаетъ казаться, что все, чтó я считалъ когда-нибудь любовью, есть совсѣмъ не любовь; что любовь... это совсѣмъ не то будетъ, и я на этомъ пунктѣ, если вамъ угодно, сбился съ толку. Я все припоминаю, какъ это случилось, хоть и со мною даже... идти, идти будто вотъ совсѣмъ и любовь, а потомъ вдругъ кракъ, смотришь—все какое-то такое вялое, сухое, и чувствуешь, что нѣтъ, что это совсѣмъ не любовь, и я думаю, что нѣтъ, ну вотъ нѣтъ любви. Тутъ совсѣмъ не за что на меня сердиться. Развѣ въ томъ только моя вина, что не отучусь именно изъ себя-то сто разъ все мотать, да перематывать, а ужъ въ обезьянничествѣ я невиноватъ. Помилуйте, мнѣ вотъ очень даже часто приходитъ въ голову, какъ люди умпраютъ? Какъ это послѣдняя минута?... вотъ вдругъ есть, и нѣту... Бываютъ минуты, когда я никакъ этого вообразить себѣ не могу, и отчего, откуда приходятъ эти страшныя минуты? — этого никакъ не подстережешь. Вы помните, какъ я одинъ разъ въ Петербургѣ уронилъ стѣнные часы въ мастерской и поймалъ ихъ за два какихъ-нибудь вершка отъ полу?

Дорушка кивнула утвердительно головою.

— Ловокъ! подумалъ я себѣ тогда, а вотъ какъ-то ты увернешься отъ смерти? пошло ходить у меня въ головѣ; вотъ-вотъ-вотъ схватиться бы за чтонибудь, и не схватишься. И что жъ вы скажете?—я до такой степени все это выматывалъ, что серьезно, ясно и сознательно сталъ ощущать, что я ужъ когда-то что-то такое ловилъ и не поймалъ, и умеръ, и опять живу. Ум-

реть кто нибудь — мнѣ сейчасъ опять какой-то этакій блѣдный шаръ представляется; ловишь его, и вдругъ бацъ, не поймалъ, умеръ, и сейчасъ что-то мнѣ въ этомъ знакомое есть, что я ужъ это пережилъ... Я *уверенъ* въ этомъ, наконецъ, бываю! Такъ не осуждайте же меня, пожалуйста, за Жервезу: я, право, больной человѣкъ; мнѣ въ тотъ день такъ казалось, что нѣтъ, нѣтъ, и нѣтъ никакой любви, а, право, это не обезьянничество.

— Ну, хорошо, ну, пусть вамъ эта вина прощается за ваши недуги; но нынче-съ!... позвольте васъ искренно, по душѣ, по совѣсти просить отвѣтить: чего вы стояли этакимъ рыцаремъ и тарасили на меня глаза, когда мнѣ захотѣлось помолиться съ Жервезой?

— Я тарасился! — нисколько. Я просто *смотрѣлъ* на васъ, потому что мнѣ пріятно было *смотрѣть* на васъ, потому что вы необыкновенно какъ хороши были, у этого куста на колѣняхъ.

— Пожалуйста, пожалуйста, Несторъ Игнатьичъ! Знаю я васъ. Я знаю, что я хороша и вы мнѣ этимъ не польстите, и вы тоже вѣдь очень... этакій интересный Наль, тоскующій о Дамаянти, а однако я чувствовала, что тамъ было нужно молиться, и я молилась, а вы... Снять шляпу и сейчасъ же сконфузился и сталъ соглядатаемъ, мммъ! ненавистный, нерѣшительный человѣкъ! Отчего вы не молились?

— Ахъ, Дарья Михайловна, какой вы ребѣнокъ! Ну, развѣ можно задавать такіе вопросы? Вѣдь на это вамъ только Шпандорчукъ съ Вырвичемъ и отвѣтили бы, потому что у тѣхъ ужъ все это впередъ рѣшено.

— А у васъ, мой милый, ничего не рѣшено?

— По крайней-мѣрѣ, очень многое. — Да вы, пожалуйста, не думайте, что рѣшимость это ужъ такая высокая добродѣтель, что все остальное передъ нею прахъ и суета. Рѣшимостью самою твердою часто обладаютъ и злодѣи, и глупцы, и всякіе, весьма непостоянные люди.

— И герои.

— Да, и герои, но героевъ вѣдь немного на свѣтѣ, а одностороннихъ людей, способныхъ рѣшать себѣ все наоболмашъ, гораздо больше. Вы вотъ теперь даете мнѣ вопросъ, касающійся такого предмета, котораго обнять-то, уразумѣть-то нѣтъ силы, и хотите, чтобы я такъ вотъ все и рѣшилъ въ немъ. Вы знаете моего дядю? Его не одна Москва, а вся Русь знаетъ. Это не

былъ профессоръ-хлыщъ, профессоръ-чиновникъ, или профессоръ-фанфаронъ, а это былъ настоящій, комплектный ученый и человекъ, а я вамъ объ немъ-разскажу вотъ какой анекдотъ: былъ у него въ Москвѣ при домѣ садъ—старый, густой, прекрасный садъ. Дядя работалъ тамъ лѣтомъ почти по цѣлымъ днямъ: подсаживалъ тамъ деревца, колеровалъ, и разныя, знаете, такія штуки дѣлалъ. Я спалъ въ этомъ саду въ бесѣдкѣ. Только одинъ разъ какъ-то очень рано я проснулся. Дѣло было передъ послѣднимъ моимъ экзаменомъ. Я сѣлъ на порожки и читаю; вдругъ, вижу я за куртеной, дядя стоитъ въ своемъ бѣломъ парусинномъ халатѣ на колѣняхъ и жарко молится: подниметъ къ небу руки, плачетъ, упадетъ въ траву лицомъ, и опять молится, молится безъ конца. Я очень любилъ дядю и очень ему вѣрилъ и вѣрю. Когда онъ пересталъ молиться и началъ что-то вертѣть около какого-то прививка, я всталъ съ порожка и подошелъ къ нему. На дворѣ было самое раннее утро, и кромѣ насъ да птицъ въ саду никого не было. Не помню, какъ мы тамъ съ нимъ о чемъ начали разговаривать, только знаю, что я тогда и спросилъ его, что какъ онъ, занимаясь до старости науками историческими, естественными и богословскими, до чего дошелъ, до какой степени уяснилъ себѣ изъ этихъ наукъ вопросъ о божествѣ, о душѣ, о твореніи? Напоминаю вамъ, что утро было самое раннее, изъ-за каменныхъ стѣнъ въ большомъ саду насъ никто не могъ ни видѣть, ни слышать, развѣ кромѣ птичекъ, которыя порхали по деревьямъ. Такъ старикъ-то мой-съ нѣсколько разъ оглянулся во всѣ стороны, сложилъ вотъ такъ трубочкою свои руки, да вотъ такъ поднесъ ихъ къ моему уху, и чуть слышно шепнулъ мнѣ: «ни до чего не дошелъ». Говорю ему: а какъ же вы относитесь... называю, знаете, ему двѣ крайнія-то партіи. «Какъ отношусь?» говоритъ, и опять нагнулся къ моему уху и шепнулъ: «не вѣрю ни тѣмъ, ни другимъ». Такъ вотъ вамъ, Дарья Михайловна, какъ высокія и честныя-то души относятся къ подобнымъ вопросамъ: боятся, чтобы птицу небесную не ввести въ напрасное сомнѣніе, а вы меня спрашиваете о такихъ вещахъ, да еще самаго рѣшительнаго отвѣта у меня о нихъ требуете. Можно сомнѣваться, можно надѣяться, но *утверждать*... О, Боже мой, сколько у людей бываетъ странной смѣлости! Я дѣйствительно человекъ очень нерѣшительный, но не думайте, что это у меня отъ трусости. Чего же мнѣ бояться? У меня только всегда какъ-то вдругъ всѣ стороны вопроса становятся передъ глазами,

*

и я въ нихъ путаюсь, сбиваюсь и дѣлаю богъ-знаетъ что, богъ-знаетъ что! Ахъ, это самое худшее состояніе, которое я знаю; это хуже дня передъ казнью, потому что это все *дни передъ казнью*. Перестанемте объ этомъ говорить, Дарья Михайловна, а то вонъ опять насъ птица слушаетъ.

Долинскій сдѣлалъ шагъ впередъ и поднялъ съ пыльной дороги небольшую сѣрую птичку, за ножку которой волокся пукъ завялой полевой травы и не давалъ ей ни хода, ни полета. Дорушка взяла изъ рукъ Долинскаго птичку, сѣла на дернистый край дорожки и стала распутывать сбившуюся траву. Птичка съ сомлѣвшей ножкой тихо лежала на бѣлой рукѣ Доры и смотрѣла на нее своими круглыми, черными глазками.

— Какъ бьется ея бѣдное сердечко! проговорила Дора, шевеля мелкія перышки пташки и глядя въ розовый пушокъ подъ ея крылышками.

— Милая! сказала она, поцаловавъ птичку въ головку, приложила ее къ своей шейкѣ и пошла къ городу. Минутъ десять они шли въ совершенномъ молчаніи; на дворѣ совсѣмъ спрѣло; Дорушка принималась нѣсколько разъ все страстнѣе и страстнѣе цаловать свою птичку. Дойдя до стараго, большого каштана, она поцаловала ее еще разъ, бережно посадила на вѣтку и подала руку Долинскому.

— Несторъ Игнатьичъ, сказала она ему, идучи по пустой улицѣ:—знаете, чтобъ вамъ разстаться съ вашими *днями передъ казнью*, вамъ остается одно—найти себѣ *любовь до слезъ*.

— Полноте шутить, Дарья Михайловна, я ничего не желаю находить и не умѣю находить.

— А вотъ птицъ же на дорогахъ находите. Это тоже вѣдь не всякому случается.

VIII.

Повтореніе задовъ.

У Жервезы Дора и Долинскій болѣе не были, прогулки ихъ снова ограничивались холмомъ надъ заливомъ.

Всякій вечеръ они сидѣли на этомъ холмикѣ, и всякій вечеръ имъ было такъ хорошо и пріятно.

Какъ ни коротки были между собой Дора и Долинскій, но эти вызываемые Дорою рассказы о прошломъ, раскрывая передъ нею

еще подробнѣе внутренній міръ рассказчика, давали ея отношеніямъ къ нему новый, нѣсколько еще болѣе интимный характеръ.

— Послушайте, Несторъ Игнатьичъ! сказала разъ Даша, положивъ ему на плечо свою руку.—расскажите мнѣ, мой милый, какъ вы любили, и какъ васъ любили?

— Богъ-знаетъ, что это вы выдумываете, Дора?

— Такъ расскажите. Мнѣ очень хочется найти ключъ къ вашей душевной болѣзни.

— Забылъ ужъ я, какъ я любилъ.

— Э! врете!

— Право, забылъ.

— Забвенья нѣтъ.

— Кто жъ это вамъ сказалъ, что забвенья нѣтъ?

— Я вамъ это говорю.

Несторъ Игнатьичъ молчалъ и Даша молчала, и дулась.

— Ну, перестаньте дуть свои губки, Дора! Что вамъ рассказать?

— Какъ вы любили первый разъ въ жизни.

Долинскій рассказалъ свою, почти дѣтскую любовь къ какой-то кievской кузинѣ. Дора слушала его, не сводя глазъ, и когда онъ окончилъ, вздохнула и спросила:

— Ну, а какъ вы любили на законномъ основаніи?

Долинскій рассказалъ ей въ главныххъ чертахъ и всю свою женатую жизнь.

— Какая гадость! прошептала Даша, и вздохнувъ еще разъ, спросила:

— Ну, а дальше что было?

— А дальше вы все знаете.

— Вы грустили?

— Да.

— Встрѣтились съ нами?

— Да.

— И счастливы?

— И счастливы.

Даша задумчиво покачала головкой.

— Что? спросилъ ее Долинскій.

— Такъ—ключъ найденъ! чуть слышно уронила Дора.

— А какъ вы думаете, начала она, помолчавши съ минуту: -- вѣрно это такъ вообще, что хорошаго нельзя не полюбить?

— Что хорошее? Есть польская пословица, что не то хорошо, что—хорошо, а то хорошо, что кому нравится.

— Я вамъ говорю, *хорошаго* нельзя не любить; ну, пожалуй, того, что нравится.

— Къ чему же вы это говорите?

— Ни къ чему! — къ тому, что если встрѣчается что-нибудь очень хорошее, такъ его возьмешь да и полюбишь — ну, понимаете, что ли?

— Да...

— Да я думаю, что *да*.

Произошла пауза, въ теченіе которой Даша все думала, глядя въ небо, и потомъ сказала:

— Знаете что, Несторъ Игнатьичъ? Мнѣ кажется, что наши сравненія сердца съ монетой—никуда не годятся.

— Я это ужъ вамъ говорилъ.

— Съ чѣмъ же его сравнить?

— Много есть этихъ сравненій, и всѣ они никуда не годятся.

— Ну, а напримѣръ, съ чѣмъ можно еще сравнить сердце?

— Съ постояннымъ дворомъ, смѣясь, отвѣчалъ Долинскій.

— Гадко, а похоже, пожалуй.

— А пожалуй, и непохоже, отвѣчалъ Долинскій.

— Одинъ постоялецъ выѣдетъ, другому есть мѣсто.

— А другой разъ и пустой дворъ простоятъ.

— Нѣтъ, и это не годится. Не вѣрю я, не вѣрю, чтобы можно было жить безъ привязанности.

— Бываетъ, однако.

— Вы помните эти нѣмецкіе, кажется, стихи...

— Какіе?

— Ну, знаете, какъ это тамъ: Юпитеръ посылалъ Меркурія, отыскать никогда нелюбившихъ женщинъ?

— Я даже этого никогда не читалъ.

— То-то вотъ и есть; а я это читала.

— Что жъ, Меркурій отыскалъ?

— *Трехъ!*

— Только-то?

— Да-съ; и эти три, знаете, кто были? — *Три фурии!* протяжно произнесла Даша, поднявъ вверхъ пальчикъ.

— Вѣдь это только написано.

— Да, но я этому вѣрю, и очень боюсь такого фуріознаго сообщества.

— Вы съ какой же это стати?

— А если Юпитеру послѣ моей смерти вздумается еще разъ послать Меркурія, и онъ найдетъ ужъ четырехъ.

— Еще полюбите, и какъ полюбите.

— Нѣтъ, ужъ кажется поздно.

— Любить никогда не поздно.

— Вотъ за это вы умники! Люди жадны ужъ очень. Счастье не во времени. Можно быть немножко счастливымъ, и на всю жизнь довольно. Правда моя?

— Конечно, правда.

— Какое у насъ образцовое согласіе!

— Не о чемъ спорить, когда говорятъ правду.

— А вѣдь, я бы могла очень сильно любить.

— Кто жъ вамъ мѣшаетъ? Разборчивы очень.

— Нѣтъ, совсѣмъ не то. По моему любить, значить... *любить* однимъ словомъ. Не героя, не рыцаря, а просто любить, кто по душѣ, кто по сердцу — кто не по хорошу милъ, а по милу хорошъ.

— Ну-съ, я опять спрошу: за чѣмъ же дѣло стало?

— А если «законы осуждаютъ предметъ моей любви?», улыбаясь, продекламировала Даша.

— «Но, кто — о сердце! — можетъ противиться тебѣ?» отвѣчалъ Несторъ Игнатьичъ, продолжая речитативомъ начатую Дашею пѣсню.

— Помните, какъ это связано у Лермонтова:

Но сердцу, какъ ума не соблазнить?

И какъ любви стыда не побѣдить?

Любовь, для неба и земли — святѣйшая,

И только для людей порокъ она!

То скотство, то трусость... бѣдное ты человѣчество! Бѣдный ты царь земли въ своихъ вѣчныхъ оковахъ!

— Вы сегодня, Дорушка, все возвышаетесь до паэоса, до поэзіи.

— Несторъ Игнатьичъ! прошу не забываться! Я никогда не унижалась до прозы.

— Виноватъ.

— То-то.

Даша замолчала, и немного подождавши, сказала:

— Ну, смотрите, какія штучки наплетены на бѣломъ свѣтѣ! Вотъ я сейчасъ бранила людей за трусость, которая имъ мѣшаетъ взять свою, такъ-сказать, долю радостей и счастья; а теперь сама вижу,

что и я совѣмъ неправа. Есть вѣдь такія положенія, Несторъ Игнатьичъ, передъ которыми и храбрецъ струсить.

— Напримѣръ, что жъ это такое?

— А вотъ, напримѣръ, состраданіе, укоръ совѣсти за чужое несчастье, за чужія слезы.

— Скажите-ка немножко пояснѣе.

— Да что жъ тутъ яснѣе? Мало ли что случается! Ну, вдругъ, положимъ, полюбишь человѣка, котораго любить другая женщина, для которой потерять этого человѣка, будетъ смерть... да что смерть! Не смерть, а мѣка, понимаете — мѣка съ платкомъ во рту. Что тогда дѣлать?

— На это мудрено отвѣчать.

— Я думаю, одинъ отвѣтъ:—страдать.

— Да, если тотъ, кого вы полюбите, въ свою очередь не любить васъ больше той женщины, которую онъ любилъ прежде.

— А если онъ меня любить больше?

— Такъ тогда какой же резонъ дѣлать общее несчастье! Вѣдь если, положимъ, вы любите какое нибудь *А* и это *А* взаимно любить васъ, хотя оно тамъ прежде любило какое-то *Б*. Ну-съ, теперь, если вы знаете, что это *А* своего *Б* больше не любитъ, то зачѣмъ же вамъ отказываться отъ его любви и не любить его самой. Ужъ вѣдь все равно, не отошлете его обратно, куда его не тянеть. Простой расчетъ: пусть лучше двое любятъ другъ друга, чѣмъ трое разойдутся.

Даша долго думала.

— Въ самомъ дѣлѣ, отвѣчала она:—въ самомъ дѣлѣ, это такъ. Какъ это странно! Люди называютъ безумствомъ то, что даже можно по пальцамъ высчитать и доказать, что это разумно.

— Люди умныхъ людей въ сумасшедшіе дома сажали и на кострахъ жгли, а послѣ черезъ сто лѣтъ памятники имъ ставили. У людей, что сегодня ложь, то завтра можетъ быть истиной.

— Какой вы у меня бываете умникъ, Несторъ Игнатьичъ! Какъ я люблю вашу способность просто разяснять вещи! Еслибъ вы давно были со мной, какъ бы много я знала!

— Я, Дарья Михайловна, не принимаю это на свой счетъ. Я знаю одно то, что я ничего не знаю, а суда людского такъ просто-таки терпѣть не могу. Не вѣрю ему.

— Да, говорите-ка не знаете! Нѣтъ, большое спасибо вамъ, то вы со мной поѣхали. Здѣсь васъ у меня никто не отнимаетъ:

ни Анна, ни газета, ни Илья Макарычъ. Тутъ вы мой крѣпостной. Правда?

— Да, ужъ если вы сказали такъ, то разумѣется—правда. Иначе жъ вѣдь быть не можетъ! отвѣчалъ шутя Долинскій.

— Ну, да, еще бы! Конечно, такъ, отвѣчала живо и торопясь Дора и сейчасъ же добавила.—А вотъ, хотите, я вамъ задамъ одинъ такой вопросъ, на который вы мнѣ, пожалуй, и не отвѣтите?

— Это еще, Дарья Михайловна, будетъ видно.

— Только смотрите мнѣ прямо въ глаза. Я хочу видѣть, что вы подумаете, прежде чѣмъ скажете.

— Извольте.

— А что...

— Что?

— Эхъ, нетерпѣніе! Ну, отгадывайте, что?

— Не магъ и не волшебникъ.

— Что, еслибъ я сказала вамъ вдругъ самую ужасную вещь?

— Не удивился бы ни крошки.

Даша серьезно сдвинула бровки и тихо проговорила:

— Нѣтъ, я прошу васъ не шутить, а говорить со мной серьезно. Смотрите на меня прямо!

Она пронзительно уставила свои глаза въ глаза Долинскаго и медленно съ разстановками произнесла: ч-т-о, е-с-л-и-б-ы я в-а-с-ъ п-о-л-ю-б-и-л-а?

Долинскій вздрогнулъ, и быстро выпустивъ изъ своей руки ручку Дашин, отвѣтилъ смущеннымъ голосомъ:

— Виновать, проспорилъ. Можно дѣйствительно поручиться, что такого вздора ни за что не выдумаешь, какой вы иногда скажете.

Даша тоже смутилась. Она просто испугалась движенія, сдѣланнаго Долинскимъ и, принявъ свою руку, сказала:

— Чего вы! Я вѣдь такъ говорю, что вздумается.

Она была очень встревожена и проговорила эти слова, какъ обыкновенно говорятъ люди, вдругъ спохватясь, что они сдѣлали самый опрометчивый вопросъ.

— Пойдемте домой. Мы сегодня засидѣлись; сыро теперь, ска-заль нѣсколько сухимъ, гувернерскимъ тономъ, вмѣсто отвѣта, Долинскій.

Даша встала и пошла молча. Дорогою они не сказали другъ другу ни слова.

IX.

Съ другой стороны.

— Покажите мнѣ ваши башмаки, началъ Несторъ Игнатьичъ, когда, возвратясь, они присѣли на минутку въ своемъ зальцѣ.

— Это зачѣмъ? спросила серьезно Даша.

— Покажите.

Даша нетерпѣливо сняла ногою башмакъ съ другой ноги, и не сказавъ ни слова, выбросила его изъ-подъ платья. Тонкій лѣтній башмакъ былъ сырехонекъ. Долинскій взглянулъ на подошву, взялъ шляпу и вышелъ прежде, чѣмъ Дора успѣла его о чемъ-нибудь спросить.

Съ выходомъ Долинскаго она не перемѣнила ни мѣста, ни положенія, и опустивъ глаза, тихо смотрѣла на свои покоившіяся на колѣняхъ, ручки.

Прошло около четверти часа прежде чѣмъ Долинскій вернулся съ склянкой спирта и ласково сказалъ:

— Ложитесь спать, Даша.

— Что это вы принесли?

— Спиртъ. Я его сейчасъ согрѣю, а вы имъ вытрите себѣ ноги.

— Для чего это?

— Такъ. Потому вытрите, что это такъ нужно.

— Да чего вы боитесь?

— Самой простой штуки, вашего милаго здоровья.

— Господи! «Въ какомъ все строгомъ чинѣ!» сказала, презрительно подернувъ плечами, Дора, слегка вспыхнула и, сдѣлавъ недовольную гримаску, пошла въ свою комнату.

Долинскій присѣлъ къ столику съ какимъ-то особеннымъ тщаніемъ и серьезностью, согрѣлъ на кофейной канфоркѣ спиртъ, смѣшалъ его съ укусомъ, попробовалъ эту смѣсь на языкъ, и постучался въ дашины двери. Отвѣта не было. Онъ постучался въ другой разъ — отвѣта тоже нѣтъ. «Даша? кликнулъ онъ:— Дора! Дорушка!» За дверями послышался звонкій хохотъ. Долинскій подумалъ, что съ Дашей истерика и отворилъ ея двери. Дорушка была въ постели. Укутавшись по самую шею одѣяломъ, она весело смѣялась надъ тревогою Долинскаго.

Долинскій надулся.

— Разотрите себѣ ноги, сказалъ онъ, подавая ей согрѣтый имъ спиртъ.

— Не стану.

— Дорушка!

— Не стану, не стану и не стану! Не хочу! ну, вотъ не хочу! И она опять разсмѣялась.

Долинскій поставилъ чашку со спиртомъ на столикъ у кровати и пошелъ къ двери; но тотчасъ же вернулся снова.

— Дорушка! ну, прошу васъ ради-бога, ради вашей сестры, не дурачьтесь.

— А вы не смѣйте дуться.

— Да я вовсе не дулся.

— Дулись.

— Ну, простите Дора, только растирайте скорѣе свои ноги— не остыль бы спиртъ.

— Попросите хорошенько!

— Я васъ прошу.

— На колѣни станьте.

— Дорушка, не мучьте меня.

— А-га! «не мучьте меня», произнесла Даша, передразнивая Нестора Игнатьича, и протянула къ нему сложенную горстью руку.

Долинскій наливаль Дашѣ на руку спиртъ, а она растирала себѣ подъ одѣяломъ ноги и морщилась, говоря: «какую вы это скверность купили.»

— Гдѣ у васъ шерстяные чулки? спросилъ Долинскій.

— Нѣтъ у меня шерстяныхъ чулокъ.

— Господи! да что вы, въ самомъ дѣлѣ, дитя пятилѣтнее, что ли? воскликнулъ съ досадою Долинскій.

— Въ комодѣ вонъ тамъ, сухо отвѣчала на прежній вопросъ Дора.

Долинскій взялъ ключи и рылся, отыскивая чулки.

— Точно нянька! и то самая гадкая — надоѣдливая, говорила смѣясь и глядя на него Даша.

Долинскій досталъ также изъ комода пушистый пледъ и одѣлъ имъ ноги Доры.

— Еще чего не найдете ли! спросила она, продолжая надъ нимъ подтрунивать.

— Вы не храбритесь, отвѣчалъ Долинскій: — а лучше спите хорошенько, и пошелъ къ двери.

— Несторъ Игнатьичъ! крикнула Даша.

- Чтò вамъ угодно?
- Что жь это за невѣжество!
- Чтò такое?
- Ужь вы нынче и не прощаетесь со мной?
- Виноватъ. Вы, право, такъ безпощадно тревожите меня вашими сумасбродствами, Дора.
- А вы все это ото всѣхъ пощады вымаливаете?
- Ну, пожалуйста же вашу ручку.
- Не надо, отвѣчала Даша и обернулась къ стѣнѣ.
- И тутъ капризь!

— Вездѣ, да, вездѣ капризь! на каждомъ шагу будетъ капризь— потому, что вы мнѣ совсѣмъ надоѣли съ своимъ гувернерствомъ.

Ночь Даша провела очень спокойно, сны только ей странные все спились; а Долинскій не ложился вовсе. Онъ нѣсколько разъ подходилъ ночью къ дашиной комнатѣ и все слушалъ, какъ она дышетъ. Утромъ Даша чувствовала себя хорошо; написала сестрѣ письмо, въ которомъ подтрунивала она надъ безпокойствомъ Долинскаго и нарисовала съ краю письма карикатурку, изображающую его въ повязкѣ, какія носятъ русскія няньки. Но къ вечеру она почувствовала необыкновенную усталость и легла въ постель ранѣе обыкновеннаго. Ночью спала беспокойно, а къ утру начала покашливать. Долинскій страшно перепугался этого кашля и побѣжалъ за докторомъ. Докторъ нашелъ вообще, что у Даши очень незначительная простуда, но что кашель очень неблагоприятная вещь при ея здоровьи; прописалъ ей лекарство и уѣхалъ. Днемъ Даша была покойна, но все супилась и упорно молчала, а къ вечеру у нея появился жаръ. Даша сдѣлалась говорлива и тревожна. То она, какъ любознательный ребѣнокъ, приставала къ Долинскому съ самыми обыкновенными и незначущими вопросами; требовала у него разъясненія самыхъ простыхъ, конечно ей самой хорошо извѣстныхъ вещей; то вдругъ рѣзко перемѣняла тонъ и начинала придиратся и говорить съ нимъ свысока.

— Вы на меня не сердитесь, голубчикъ Несторъ Игнатьичъ, что я капризничаю? спрашивала она Долинскаго.

— Нисколько.

— Отчего жь вы нисколько на меня не сердитесь?

— Да такъ, не сержусь.

— Да вѣдь я несносно, должно быть, капризничаю?

— Ну, чтò жь дѣлать?

— Я бы не вытерпѣла, еслибы кто такъ со мною капризничалъ.

— На то вы женщина.

Дорушка помолчала съ минуту и, кусая губки, проговорила глухимъ голосомъ:

— Очень вы всё много знаете о женщинахъ!

— Нѣкоторые знаютъ довольно.

— Никто ничего не знаетъ, отвѣчала Дора, рѣзко и съ сердцемъ.

— Ну, прекрасно, ну, никто ничего не знаетъ, только не сердитесь, пожалуйста.

— Вотъ! Стану я еще сердиться! продолжала вспыльчиво Дора. — Миѣ нечего сердиться. Я знаю, что всё врутъ, и только Тотъ такъ, тотъ этакъ, а умнаго слова ни одинъ не скажетъ.

— Это правда, отвѣчалъ примирительно Долинскій.

— Правда! А если я скажу, что я сестра луны и дочь солнца. Это тоже будетъ правда?

Даша повернулась къ стѣнѣ и замолчала.

Долинскій пригласилъ-было почевать къ ней m-me Бюжаръ, но Даша въ десять часовъ отпустила старуху, сказавъ, что ей надоѣла французская пустая болтовня. Долинскій не противорѣчилъ. Онъ сѣлъ въ кресло у двери дашинной комнаты и читалъ, безпрестанно поднимая голову отъ книги и прислушиваясь къ каждому движенію больной.

— Несторъ Игнатьичъ! тихо поклికала его Даша, часу во второмъ ночи.

Онъ всталъ и подошелъ къ ней.

— Вы еще не спали? спросила она.

— Нѣтъ, я еще читалъ.

— Который часъ?

— Около двухъ часовъ, кажется.

Даша покачала головой и съ ласковымъ упрекомъ сказала:

— Зачѣмъ вы себя попусту морите?

— Я зачитался немножко.

— Чтò же вы читали?

— Такъ, пустяки.

— Охота жъ читать пустяки! Садитесь лучше здѣсь на кресло возлѣ меня; по крайней-мѣрѣ будемъ скучать вмѣстѣ.

Долинскій молча сѣлъ на кресло.

— Я все сны какіе-то видѣла, начала зѣвнувъ Даша. — Петербургъ, Анну, васъ, и вдругъ скучно что-то сдѣлалось.

— Скоро вернемся, Дорушка; не скучайте.

Даша промолчала.

— Дайте мнѣ вашу руку, сказала она, когда Долинскій сѣлъ на кресло у ея изголовья. — Вотъ такъ веселѣе все-таки; а то страшно какъ-то, какъ будто въ могилѣ я; никого близкаго нѣтъ со мной.

— Вы хандрите, Дорушка.

— А хандра развѣ не страданье?

— Ну, разумѣется, страданье.

— То-то. Это вѣдь люди все повывдумывали: вымышленное горе, ложный страхъ, ложный стыдъ; а кому горько, или кому стыдно, такъ все равно что отъ ложнаго, что отъ настоящаго горя—все равно. Кто знаетъ, чтò у кого ложное? философствовала Даша и уснула, держа Долинскаго за руку. Такъ она проспала до утра, а онъ не спалъ опять и много передумалъ. Передъ нимъ прошла снова вся его разбитая жизнь, предъ нимъ стояла тихая, кроткая Анна, передъ которою онъ благоговѣлъ, возлѣ которой онъ успокоился, ожилъ, какъ-бы вновь на свѣтъ народился. А теперь Даша. Ея страннѣе намеки, ея порывы, которыхъ она не можетъ сдержать, или... не хочетъ даже сдерживать! Потому ему казалось, что Даша всегда была такая, что она просто по обыкновенію своему шалила, играетъ своими странными вопросами, и ничего болѣе. Думалъ онъ уѣхать и нашелъ, что это было-бы очень странно и даже просто невозможно, пока Даша еще не совсѣмъ укрѣпилась.

Утромъ у Даши былъ легонькій кашель. День цѣлый она провела прекрасно и докторъ нашелъ, что здоровье ея пришло опять въ состояніе самое удовлетворительное. Съ вечера ей не спалось.

— Бессонница меня мучаетъ, говорила она, метаясь по подушкѣ.

— Какая бессонница! Вы просто выспались днемъ, отвѣчала Долинскій. — Хотите, я вамъ почитаю такую книгу, что сейчасъ уснете?

— Хочу, отвѣчала Даша.

Долинскій принесъ утомительно скучный французскій формулярный списокъ Жюля Жерара.

— Покажите, сказала Даша. Она взглянула на заглавіе и улыбнувшись проговорила: — львы—хорошія животныя—читайте.

Книга сдѣлала свое дѣло. Даша заснула. Долинскій положилъ книгу. Свѣча горѣла подъ зеленымъ абажуромъ и слабо освѣщала оригинальную головку Доры... «Боже! какъ она хороша»

подумалъ Долинскій, а что-то подсказывало ему: «а какъ умна, какъ добра! Какъ честна и тебя любить!»

Сонъ одолѣвалъ Нестора Игнатьевича. Три ночи, проведенныя имъ въ тревогѣ, утомили его. Долинскій не пошелъ въ свою комнату, боясь, что Дашѣ что нибудь понадобится и она его не докличется. Онъ сѣлъ на коврикъ въ ногахъ ея кровати, и прислонясь головою къ матрацу, заснулъ въ такомъ положеніи какъ убитый.

Къ утру Долинскаго начали тревожить странныя сновидѣнія: степь Сахара жгучая, верблюды съ своими овечьими мордочками на журавлиныхъ шеяхъ, звѣриное рычаніе и щупленькій Жюль Жераръ съ сержантдевилльской бородкой. Все это какъ-то такъ переставлялось, перетасовывалось, что ничего не выходитъ яснаго и опредѣленнаго. Вдругъ рѣка бѣжитъ, широкая, сердитая, на ея берегахъ лежатъ огромные крокодилы: «это должно быть Ниль», думаетъ Долинскій. Издали показалась крошечная лодочка и кто-то поетъ:

Охъ ты Днѣпръ ли мой широкій!

Ты кормилецъ нашъ родной!

На лодочкѣ двѣ человѣческія фигуры, покрытыя длинными бѣлыми вуалями.

«Плыветъ лодка, а въ ней два пассажира: котораго спасти, котораго утопить?» спрашиваетъ Долинскаго самый большой крокодилъ.

— Какая чепуха! думаетъ Долинскій.

— Нѣтъ, любезный, это не чепуха, говоритъ крокодилъ: — а ты выбирай, потому что мы съ тобой въ фанты играемъ.

— Ну, смотри-же, продолжаетъ крокодилъ: — разъ, два! Онъ взмахнулъ хвостомъ, лодочка исчезла въ бѣлыхъ брызгахъ и на волнахъ показалась тонущая Анна Михайловна.

«Это мой фантъ, твой въ лодкѣ», говоритъ чудовище. Разсѣялись брызги, лодочка снова чуть качается на одномъ мѣстѣ, и въ ней сидитъ Дора. Покрывало спало съ ея золотистой головки, лицо ея блѣдно, очи замѣнуты: она мертвая.

«Это твой фантъ», внятно говоритъ изъ берегового тростника крокодилъ, и всѣ крокодилы стонутъ, такъ жалобно стонутъ.

Долинскій проснулся. Было уже восемь часовъ. Прежде чѣмъ успѣлъ онъ поднять голову, онъ увидѣлъ предъ своимъ лицомъ лежавшую ручку Даши. «Непріятный сонъ», подумалъ Долинскій, и съ особымъ удовольствіемъ посмотрѣлъ на ручку Доры, обли-

тую слабымъ свѣтомъ, проходившимъ съвозъ шелковую зеленую занавѣску окна. Привставъ, онъ тихонько наклонился и поцаловалъ эту руку, какъ цаловалъ ее часто по праву дружбы, и вдругъ ему показалось, что этотъ поцалуи былъ чѣмъ-то совсѣмъ инымъ. Нестору Игнатьевичу почудилось, что дашина рука, привыкшая къ его поцалуямъ, на этотъ разъ какъ будто вздрогнула и отдернулась отъ его устъ. Онъ посмотрѣлъ на Дашу: она лежала съ закрытыми глазами, и роскошныя волосы, выбившіеся изъ-подъ упавшаго на подушку чепца, красною сѣтью раскинулись по бѣло наволочкѣ. Долинскій тихонько приложилъ руку ко лбу Доры. Въ головѣ не было жара. Потомъ онъ хотѣлъ послушать, какъ она дышетъ, нагнулся къ ея лицу и почувствовалъ, что у него кружится голова и уста предательски клонятся къ устамъ.

Долинскій быстро отбросилъ свою голову отъ изголовья Доры, и поспѣшно вышелъ за двери.

Еслибъ оконная занавѣска не была опущена, то Долинскому нетрудно было бы замѣтить, что Даша покраснѣла до ушей, и на лицѣ ея мелькнула счастливая улыбка. Чуть только онъ вышелъ за двери, Дора быстро поднялась съ изголовья, взглянула на дверь, и еще разъ улыбнувшись, опять положила голову на подушку. Вѣсто выступившаго на минуту по всему ея лицу аркаго румянца, оно вдругъ покрылось мертвою блѣдностью.

Х.

Умъ свое, а чортъ свое.

Даша къ обѣду встала. Она была смущена, и избѣгала взглядовъ Долинскаго; онъ тоже мало глядѣлъ на нее, и говорилъ немного.

— Мнѣ теперь совсѣмъ хорошо. Не ѣхать ли намъ въ Россію? сказала она послѣ обѣда.

— Какъ хотите. Спросимте доктора.

Даша рѣшила въ своей головѣ ѣхать, каковъ бы ни былъ докторскій отвѣтъ, и чтобъ приготовить сестру къ своему скорому возвращенію, написала ей въ тотъ же день, что она совсѣмъ здорова. Гулять они вовсе эти дни не ходили, и объявили м-те Бюжаръ, что черезъ недѣлю уѣзжаютъ изъ Ниццы. Даша то суетливо укладывалась, то вдругъ садилась надъ чемоданомъ и, положивъ одну вещь, смотрѣла на нее безмолвно по цѣлымъ часамъ. Долинскій былъ гораздо покойнѣе, и видно было, что онъ

искренно радовался отъѣзду въ Петербургъ. Онъ страдалъ за себя, за Дашу и за Анну Михайловну.

— Тихо, спокойно все это надо выдержать, и все это пройдетъ, разсуждалъ онъ, медленно расхаживая по своей комнаткѣ, въ ожиданіи дашинаго вставанья. — А когда пройдетъ, то... Боже! гдѣ же это спокойное, хорошее чувство? Теперь спи моя душа снова, ничего теперь у тебя нѣтъ опять; а лгать я... не могу; не стану.

— Два дня всего намъ остается быть въ Ниццѣ, сказала одинъ разъ Даша: — пойдемте сегодня, простимся съ нашимъ холмомъ и съ моремъ.

Долинскій согласился.

— Только надо раньше идти, чтобъ опять сырость не захватила, сказалъ онъ.

— Пойдемте сейчасъ.

Быль восьмой часъ вечера. Угасаль деиь очень жаркій. Дорушка не надѣла шляпы, а только взяла зонтикъ, покрылась вуалью, и они пошли.

— Ну-съ, садемте здѣсь, сказала она, когда они пришли на мѣсто своихъ обыкновенныхъ надбережныхъ бесѣдъ.

Сѣли. Даша молчала и Долинскій тоже. Въ послѣдніе дни, они какъ будто разучились говорить другъ съ другомъ.

— Жарко, сказала Даша. — Солнце садится, а все жарко.

— Да, жарко.

И опять замолчали.

— Неба этого не забудешь.

— Хорошее небо.

— Положите мнѣ, пожалуйста, ваше пальто, я на немъ прилягу.

Долинскій бросилъ на траву свое пальто; Даша легла на немъ, и стала глядѣть въ сапфирное небо.

Опять началось молчаніе. Даша, кажется, устала глядѣть вверхъ, и небрежно играла своими волосами, съ которыхъ сняла сѣтку вмѣстѣ съ вуалью. Перекинувъ густую прядь волосъ черезъ свою ладонь, она смотрѣла сквозь нѣхъ на опускавшееся солнце. Красные лучи, пронизывая золотистые волосы Доры, дѣлали ихъ еще красивѣе.

— Смотрите, сказала она, заслонивъ волосами лицо Долинскаго: — я точно, какъ говорятъ наши дѣвушки: «халдей опаляющій». Надо жъ, чтобъ у меня были такіе волосы, какихъ нѣтъ у добрыхъ ч. II.

людей. Вотъ еслибы у васъ были такіе волосы, прибавила она, приложивъ къ его виску прядь своихъ волосъ:—преуморительный былъ бы.

— Рыжій чортъ, сказалъ смѣясь Долинскій.

Даша отбросила свои волосы отъ его лица, и проговорила:

— Да вы таки и чортъ какой-то.

Долинскій сидѣлъ смирнехонько, и ничего не отвѣтилъ; Дора молча смотрѣла въ сторону, и рѣзко повернувшись лицомъ къ Долинскому, спросила:

— Несторъ Игнатьичъ! а что вамъ говорятъ теперь ваши предчувствія? успокоились они, или нѣтъ?

— Это всегда остается однимъ и тѣмъ же.

— Ай, какъ это дурно!

— Что это васъ такъ обходить?

— Да такъ, я тоже начинаю вѣрить въ предчувствія; боюсь за васъ, что вы, пожалуй, чѣго добраго, не дождетесь до Петербурга.

— Ну, этого-то, полагаю, не случится.

— Почему знать! Олегова змѣя дождалась его въ лошадиномъ черепѣ: такъ, можетъ быть, и ваша отсюда-нибудь вдругъ выплзетъ.

— Буду уходить.

— Хорошо, какъ успѣете! Вы помните, какъ змѣи смотрятъ на зайцевъ? Тѣ, можетъ быть, и хотѣли бы уйти, да не могутъ.— А скажите, пожалуйста, кстати: правда это, что зайца можно выучить барабанить?

— Правда; я самъ видѣлъ, какъ заяцъ барабанилъ.

— Будто! будто вы это сами видѣли! спросила Дорушка съ явной насмѣшкой.

— Да, самъ видѣлъ, и это гораздо менѣе удивительно, чѣмъ то, что вы теперь безъ всякой причины злитесь и придираетесь.

— Нѣтъ, мнѣ только смѣшно, что вы меня такъ серьезно увѣряете, что зайцы могутъ бить на барабанъ, тогда какъ я знаю зайца, который умѣлъ алгебру дѣлать. Ну-съ; чей же замѣчательнѣе? окончила она, пристально взглянувъ на Долинскаго.

— Вашъ, безъ всякаго сомнѣнія, отвѣчалъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Вы такъ думаете, или вы это навѣрно знаете?

— Дарья Михайловна, ну, что за смѣшной разговоръ такой между нами!

Даша страшно поблѣднѣла: глаза ея загорѣлись своимъ грознымъ блескомъ; она еще пристальнѣе вперила свой взглядъ въ глаза Долинскаго, и медленно, съ разстановкою за каждымъ словомъ, проговорила:

— Когда *А* любить *Б*, а *Б* любить *С*, и *С* любить *Б*, что этому *С* дѣлать?

У Долинскаго вдругъ похолонуло въ сердцѣ.

— Отвѣчайте же? Вѣдь это вы мнѣ эту алгебру-то натолковали, сказала еще болѣе сердито Дора.

Несторъ Игнатьевичъ совсѣмъ не зналъ, что сказать...

«Вотъ оно! вотъ оно мое воспитаніе-то! Вотъ онъ мой характеръ-то! — Ничего не умѣю сдѣлать въ время; ни въ чемъ не могу найдтись!» размышлялъ онъ, ломая пальцы, но на выручку его не являлось никакой случайности, никакой счастливой мысли.

— *А* любить *Д*, и *Д* любить *А*! *Б* любить *А*, но *А* уже не любить этого *Б*, потому-что онъ любитъ *Д*. Что же теперь дѣлать? Что теперь дѣлать?

Дора нервно дернулась, и еще раздраженнѣе кривнула:

— Что, вы глухи, или глупы стали?

— Глупъ, вѣрно, уронилъ Долинскій.

— Ну, такъ поймите же безъ обвиняковъ: *я васъ люблю*.

— Дора! вскрикнулъ Долинскій, и закрылъ лицо руками.

— Слушай же далѣе, продолжала серьезно Дора:—ты самъ меня любишь, и ее ты не будешь любить, ты не можешь ее любить, пока я живу на свѣтѣ!... Чего жъ ты молчишь? Развѣ это сегодня только сдѣлалось! Мы страдаемъ всѣ трое — хочешь, будемъ счастливы двое? Ну...

Долинскій, не отрывая рукъ отъ глазъ, уныло качалъ головою.

— Я вѣдь видѣла, какъ ты хотѣлъ цаловать мое лицо, проговорила Дора, поворачивая къ себѣ за плечо Долинскаго: — ну, вотъ оно — цалуй его: *я люблю тебя*.

— Дора, Дора, что вы со мной дѣлаете? шепталъ Долинскій, еще крѣпче прижимая къ лицу свои ладони.

Дорушка не проронила ни слова, но Долинскій почувствовалъ на своихъ плечахъ обѣ ея руки и ея теплое дыханіе у своего лба.

— Дора, пощадите меня, пощадите! это выше силъ человѣческихъ, выговорилъ задыхаясь Долинскій.

— Незачѣмъ! страстно произнесла Дора, и сильно оторвавъ руки Долинскаго, жарко поцаловала его въ губы.

— Любишь? спросила она, откинувъ немножко свою голову.

— Ну, будто вы не видите! робко отвѣчалъ Долинскій, трепетно наклоняя свое лицо къ рукѣ Доры.

Даша тихонько отодвинула его отъ себя, и глядя ему прямо въ глаза, проговорила:

— А Аня!

Долинскій молчалъ.

— Долинскій, а что же Аня?

— Вы надо мной издѣваетесь, проронилъ блѣднѣя Долинскій.

— *Она тебя такъ любитъ.*

— О, Боже мой, какія злыя шутки!

— *А я люблю тебя еще больше,* досказала Дора. — Я люблю тебя, какъ никто не любитъ на свѣтѣ; я люблю тебя, какъ сумасшедшая, какъ бѣшеная!

Дора неистово обхватила его голову и впиалась въ него безконечнымъ поцалуемъ.

— Небо... небеса спускаются на землю! шептала она, старая подѣ поцалуями.

Лепетъ прерывалъ поцалуй, поцалуй прерывалъ лепетъ. Головы горѣли и туманились; сердца замирали въ сладкомъ томленьѣ, а песочные часы Сатурна пересыпались обыкновеннымъ порядкомъ, и ночь раскинула надъ усталой землею свое прохладное одѣяло. Давно пора было идти домой.

— Боже, какъ уже поздно! сказалъ Долинскій.

— Пойдемъ, тихо отвѣчала Даша.

Они встали и пошли: Даша шла облокачиваясь на руку Долинскаго, онъ шагаль уныло и нерѣшительно.

— Постой! сказала Даша.

— Чтѣ вы хотите?

— Устала я. Ноги у меня гнутся.

Они постояли молча и еще тише пошли далѣе.

На землѣ была тихая ночь; въ бальзамическомъ воздухѣ носилось какое-то животное вѣяніе и круглыя звѣзды мириадами смотрѣли съ темно-синяго неба. Съ надбережнаго дерева слышно снялись двѣ какія-то большія птицы, исчезли на мгновѣніе въ черной тѣни скалы и рядомъ потянули надъ тихо-колеблющимся заливомъ, а въ открытое окно изъ ярко-освѣщенной виллы бояръ Онуциныхъ, неслись стройные звуки согласнаго дуэта.

М-ме Бюжаръ на другой день долго ожидала, пока ее позовутъ постояльцы. Она нѣсколько разъ выглядывала изъ своего

окна на окно Доры, но окно это попрежнему все оставалось задернутымъ густою зеленою занавѣскою.

Даша встала въ одиннадцать часовъ и одѣлась сама, не по-ликаявъ m-me Бюжаръ вовсе. На Дорѣ было вчерашнее ея бѣ-лое кисейное платье, подпоясанное широкою коричневою лентою. Къ ней очень шелъ этотъ простой и легкій нарядъ.

Долинскій проснулся очень давно и упорно держался своей ком-наты. Въ то время, когда Даша, одѣвшись, вышла въ зальце, онъ неподвижно сидѣлъ за столомъ, тяжело опустивъ голову на сложенные руки. Красивое и блѣдное лицо его выражало совер-шенную душевную немощь и страшную тревогу.

— Гнусный я, гнусный и ничтожный человѣкъ! повторялъ себѣ Долинскій, тоскливо и робко оглядываясь по комнатѣ.

«Боже! Кажется, я заболѣю», подумалъ онъ нѣсколько ра-достнѣе, взглянувъ на свои трясущіяся отъ внутренней дрожи руки. «Боже! еслибъ смерть! Еслибъ не видѣть и не понимать ничего, что такое дѣлается».

Въ залѣ послышались легкіе шаги и тихій шорохъ дашинаго платья.

Долинскій вздрогнулъ, какъ вздрагиваетъ человѣкъ, получающій въ грудь острый уколъ тонкой иглы; поблѣднѣлъ какъ полотно и быстро вскочилъ на ноги. Глаза его остановились на двери съ выраженіемъ неописуемой муки, ужаса и мольбы.

Въ дверяхъ, тихо, какъ появляются фигуры въ зеркалѣ, появи-лась воздушная фигура Доры.

Даша спокойно остановилась на порогѣ и пристально посмотре-ла на Долинскаго. Лицо Доры было еще живѣе и прекраснѣе, чѣмъ обыкновенно.

Прошло нѣсколько секундъ молчанія.

— Поди же ко мнѣ! позвала съ покойной улыбкой Дора.

— Я сейчасъ, отвѣчалъ Долинскій, оправляясь и отодвигая но-гою свое кресло.

.....

Вечеромъ въ этотъ день Даша въ первый разъ была одна. Въ первый разъ за все время Долинскій оставилъ ее одну надолго. Онъ куда-то совершенно незамѣтно вышелъ изъ дома тотчасъ послѣ обѣда и запропастился. Спустился вечеръ и угасъ вечеръ, и темная, теплая и благоуханная ночь настала, и въ воздухѣ запахло спящими розами, а Долинскій все не возвращался. Дору

это, впрочемъ, повидимому, совсѣмъ не беспокоило; она прошла часовъ до двѣнадцати по цвѣтнику, въ которомъ стоялъ домикъ, и потомъ пришла къ себѣ и легла въ постель.

Темная ночь эта застала Долинскаго далеко отъ дома, но въ совершенной физической безопасности. Онъ очень далеко забрелъ скалистымъ берегомъ моря, и стоя надъ обрывомъ, какъ береговой воронъ, остро смотрѣлъ въ черную даль и добивался у роко-чущаго моря отвѣта: неужто же я самъ хотѣлъ этого? неужто ужъ ни клятвъ, ни обѣщаній ненарушимыхъ больше нѣтъ?

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

I.

Живая душа выгорааетъ и куется.

Ничего не было ни хорошаго, ни радостнаго, ни утѣшительнаго въ одинокой жизни Анны Михайловны. Срублена она была теперь подъ самый корень и въ утѣшеніе ей не оставалось даже того гадкаго утѣшенія, которое люди умѣютъ находить въ ненависти и злости. Анна Михайловна была не такой человекъ и Дора не безъ основанія часто называла ее «невозможною».

Въ тотъ самый день, ницскими событіями котораго заключена вторая часть нашего романа, именно наканунѣ св. Сусанны, что въ Петербургѣ приходилось, если не ошибаюсь, около конца пыльнаго и непріятнаго мѣсяца іюля, Аннѣ Михайловнѣ было ужъ какъ-то особенно, какъ передъ пропастью, тяжело и скучно. Цѣлый день у нея валилась изъ рукъ работа и едва-едва она дождалась вечера и ушла посидѣть въ свою полутемную комнату. На дворѣ было около десяти часовъ.

Въ это время къ квартирѣ Анны Михайловны шибко подкапталъ на лихачѣ молодой бѣлокурый баринъ, съ туго завитыми кудрями и самой испитой, ничего невыражающей фізіономіей. Онъ быстро снялся съ линейки, велѣлъ извозчику ждать себя, обдернулъ полы шикарнаго пальто-пальмерстона и, вставивъ въ правый глазъ стеклышко, скрылся за рѣзными дверями параднаго подъѣзда.

Черезъ минуту этотъ господинъ позвонилъ у магазина и спросилъ Долпнскаго. Дѣвушка отвѣчала, что Долпнскаго нѣтъ, ни дома, ни въ Петербургѣ. Гость сталъ добиваться его адреса, «а лучше всего, просилъ онъ: — попросите мнѣ повидаться съ хозяйкой».

— Чтò ему нужно такое? раздумывала Анна Михайловна, вставая и оправляясь.

Гость между тѣмъ топоталъ по магазину, въ которомъ отъ него разносился запахъ гостинодворскаго эс-букета.

— Мое почтеніе! развязно хватилъ онъ при появленіи въ дверяхъ хозяйки и тряхнулъ себя цимермановской шляпой по ляжкѣ.

Анна Михайловна не просила его садиться и сама не сѣла, а остановилась у шкапа.

Анна Михайловна знала почти всѣхъ знакомыхъ Долинскаго, а этого господина припомнить никакъ не могла.

— Вамъ угодно адресъ Нестора Игнатьича? спросила она незнакомаго гостя.

— Да-съ, мнѣ нужно ему бы отослать письмецо.

— Адресъ его просто въ Ниццу, *poste restante*.

— Позвольте просить васъ записать.

— Да я говорю, просто: Nicce, *poste restante*.

— Вы къ нему пишете?

Анна Михайловна взглянула на безцеремоннаго гостя и спокойно отвѣчала:

— Да, пишу.

— Нельзя ли вамъ переслать ему письмецо?

— Да вы отошлите просто въ Ниццу.

— Нѣтъ, что жъ тамъ еще разсылаться! Сдѣлайте ужъ милость, передайте.

— Извольте.

— А то мнѣ некогда возжаться. — Гость подаль конвертъ, надписанный на имя Долинскаго, очень дурнымъ женскимъ почеркомъ и сказалъ:—это отъ сестры моей.

— Позвольте же узнать, кого я имѣю честь у себя видѣть?

— Митрофанъ Азовцевъ, отвѣчалъ гость.

— Азовцевъ, Азовцевъ, повторила въ раздумѣ Анна Михайловна:—я какъ будто слыхала вашу фамилію.

— Несторъ Игнатьичъ женатъ на моей сестрѣ, отвѣчалъ гость, радостно осклабяясь и показывая рядъ нестерпимо глухихъ бѣлыхъ зубовъ.

Теперь и почеркъ, которымъ былъ надписанъ конвертъ, показался знакомымъ Аннѣ Михайловнѣ, и что-то кольнуло ее въ сердце. А гость продолжалъ ухмыляться и съ радостью разска-

зываетъ, что онъ давно живетъ здѣсь въ Петербургѣ, служить на конторѣ, и очень давно слыхалъ про Анну Михайловну очень много хорошаго.

— Моя сестра, разумѣется, какъ баба, сама виновата, произнесъ онъ, зареготавъ жеребчикомъ:— ядовита она у насъ очень. Но я Нестора Игнатьича всегда уважалъ и буду уважать, потому что онъ добрый, очень добрый былъ для всѣхъ насъ. Маменька съ сестрою тамъ какъ имъ угодно: это ихъ дѣло. Онъ у насъ два башмака — пара. На обухѣ рожи молотятъ и зерна не уронять. Азовцевъ зареготалъ снова.

Анна Михайловна созерцала этотъ экземпляръ молча, какъ воды въ ротъ набравши.

Экземпляръ поговорилъ-поговорилъ, и почувствовалъ, что пора и честь знать.

— До свиданья-съ, сказалъ онъ, наконецъ видя, что ему ничего не отвѣчаютъ.

— Прощайте, отвѣчала Анна Михайловна и позвонила дѣвушкѣ.

— Очень радъ, что съ вами познакомился.

Анна Михайловна поклонилась молча.

— Къ намъ на контору, когда мимо случится, милости просимъ.

Хозяйка еще разъ поклонилась.

— Нѣтъ, что жъ такое! разговаривалъ гость, поправляя палецъ перчатки. — Къ намъ часто даже довольно дамы заходятъ, чаю выкушать, или такъ отдохнуть. — Пожалуйста, будьте столько добры!

— Хорошо-съ, отвѣчала Анна Михайловна. — Когда-нибудь.

— Сдѣлайте ваше такое одолженіе!

— Зайду-съ, зайду, отвѣчала, чтобъ отвязаться, Анна Михайловна.

Проводя гостя, она нѣсколько разъ прошла по комнатѣ, взяла письмо, еще прочла его адресъ и опять положила конвертъ на столъ. «Письмо отъ его жены!» думала Анна Михайловна. «Распечатать его, или нѣтъ?— Лучше отослать ему. А если тутъ что-нибудь непріятное? Если опять какой-нибудь глупый фарсъ? Зачѣмъ же его огорчать? зачѣмъ попусту тревожить?» — Анна Михайловна взялась за конвертъ и положила палецъ на сургучъ,

но опять задумалась. «Становится между мужем и женой! — Нѣтъ, это негодится», сказала она себѣ и положила опять письмо на столъ. Вечеръ прошелъ, подали закуску. Анна Михайловна ѣла очень мало и въ раздумѣ глядѣла на m-lle Alexandrine, глотавшую все съ апетитомъ, въ которомъ голодный волкъ, хотя немножко, но все-таки однако уступаетъ французской двадцати-пятилѣтней гризетѣ. Послѣ ужина опять письмо завертѣлось въ рукахъ Анны Михайловны. Ей, какъ Шпекину, въ одно ухо что-то шептало: «не распечатывай», а въ другое — «распечатай, распечатай!» Она вспомнила, какъ Даша говорила: «нѣтъ, мои ангельчики! Еслибъ я когда полюбила женатаго человѣка, такъ ужъ—слуга покорная — чьи бы то ни были, хоть бы самыя законныя старыя права на него, всѣ бы у меня покончились». — «Въ самомъ дѣлѣ!» подумала Анна Михайловна: «что жъ такое, если въ письмѣ нѣтъ для него ничего непріятнаго, я его отошлю ему; а если тамъ однѣ мерзости, то... подумаю, какъ ихъ сгладить и тоже отошлю». Она зажгла свѣчу въ комнатѣ Долинскаго и распечатала конвертъ.

На скверной, измятой почтовой бумажкѣ, рыжими чернилами было написано слѣдующее:

«Вы честнымъ словомъ обязались выслать мнѣ ежегодно пятьсотъ рублей и пожертвовали мнѣ какой-то глупый вексель на вашу сестру, которой уступили свою часть вашего кievскаго дворца. Я по неопытности приняла этотъ вексель, а теперь, когда мнѣ понадобились деньги, я вмѣсто денегъ имѣю только одни хлопоты. Вы, конечно, очень хорошо знали, что это такъ будетъ, вы знали, что мнѣ придется выдирать каждый грошъ, когда уступили мнѣ право на вашу часть. Я понимаю всѣ ваши подлости».

Анна Михайловна пожала плечами и продолжала читать далѣе.

«Возьмите себѣ назадъ эту уступку; а я хочу имѣть чистыя деньги. Потрудитесь мнѣ тотчасъ ихъ выслать по почтѣ. Вы зарабатываете болѣе двухсотъ рублей въ мѣсяцъ и половину можете отдать женѣ, которая всегда могла бы быть счастлива съ лучшимъ человѣкомъ, который бы цѣнилъ ее, ежелибы вы не завязали ее вѣкъ. Если вы не захотите этого сдѣлать — я вамъ покажу, что васъ заставятъ сдѣлать. Вы можете тамъ жить хоть не съ одною модисткой, а съ двадцатю разомъ — вы развратники были всегда и мнѣ до васъ дѣла нѣтъ. Но вы должны

помнить, что вы воспользовались моей неопытностью и довели меня до гибельнаго шага; что вы теперь обязаны меня обезпечить, и что я имѣю право этого требовать. У меня есть люди, которые за меня заступятся, и если вы не хотите поступать честно, такъ васъ хорошенько проучать, какъ негодяя. Я не прежняя беззащитная дѣвочка, которою вы могли вертѣть, какъ хотѣли».

Анна Михайловна разсмѣялась.

«Я выведу на чистую воду, продолжала въ своемъ письмѣ м-те Долинская:—и покажу вамъ, какая разница между мною и обирающей васъ метреской».

На щекахъ у Анны Михайловны выступили пятна негодования. Она вздохнула и продолжала читать далѣе.

«Я осрамлю и васъ, и ее на цѣлый свѣтъ. Вы жалуетесь, что я васъ выгнала изъ дома, такъ ужъ все равно — жалуйтесь, а я васъ выгоню еще и изъ Петербурга вмѣстѣ съ вашей шлюхой».

Письмо этимъ оканчивалось. Анна Михайловна сложила его и внутренно радовалась, что она его прочитала.

— Какая гадкая женщина! сказала она сама съ собою, кладя письмо въ столикъ и доставая оттуда почтовую бумагу. Лицо Анны Михайловны приняло свое спокойное выраженіе и она, выбравъ себѣ перо по рукѣ, писала слѣдующее:

«Милостивая государыня!

«Прилагаемые при этомъ письмѣ триста рублей прошу васъ получить въ число пятисотъ, требуемыхъ вами отъ вашего мужа. Остальные двѣсти вы аккуратно получите ровно черезъ мѣсяцъ. Бумагу, открывающую вамъ счетъ съ сестрою господина Долинскаго, потрудитесь удержать у себя. Неполученіе вашихъ денегъ отъ его сестры вѣроятно не выражаетъ ничего, кромѣ временнаго разстройства ея дѣлъ, которое, конечно, минется и вы снова будете получать, что вамъ слѣдуетъ. Мужа вашего здѣсь нѣтъ, и его совсѣмъ нѣтъ въ Россіи. Письма вашего онъ не получитъ. Вамъ отвѣчаетъ вмѣсто вашего мужа женщина, которую вы называете его метреской. Она считаетъ себя въ правѣ и въ средствахъ успокоить васъ на счетъ денегъ, о которыхъ вы заботитесь, и позволяетъ себѣ просить васъ не прибѣгать ни къ какимъ угрожающимъ мѣрамъ, потому что онѣ вовсе не нужны и совершенно бесполезны».

Написавши это письмо, Анна Михайловна вложила его въ конвертъ, вмѣстѣ съ тремя радужными бумажками и спокойно легла въ постель, сказавъ себѣ: «слава-богу, что только всего горя». Черезъ день у ней былъ Журавка съ своей итальянкой и, если читатель помнитъ ихъ разговоръ у шкапика, гдѣ художникъ пилъ водченку, то онъ припомнитъ себѣ также и то, что Анна Михайловна была тогда довольно спокойна и даже шутила, а потомъ только плакала; но не это письмо было причиною ея горя.

Послѣ новаго года, предъ наступленіемъ котораго Анна Михайловна уже нисколько не сомнѣвалась, что въ Ниццѣ дѣло пошло анекдотомъ, до чего даже домыслился и Илья Макаровичъ; сидя за своимъ мольбертомъ въ своей одиннадцатой лиціи, пришло опять письмо изъ губерніи. На этотъ разъ письмо было адресовано прямо на имя Анны Михайловны.

Юлочка настрочила въ этомъ письмѣ Аннѣ Михайловнѣ кучу дерзкихъ намековъ и въ заключеніе сказала, что теперь ей извѣстно, какъ люди могутъ быть безстыдно наглы и мерзки, но что она никогда не позволитъ человѣку, загубившему всю ея жизнь, ставить ее на одну доску со всякой встрѣчной; сама прѣдѣтъ въ Петербургъ, сама пойдетъ всюду безъ всякихъ протекцій и докажетъ всѣмъ милымъ друзьямъ, что она можетъ сдѣлать. — Анна Михайловна, прочитавъ письмо, произнесла про себя «дура!», потомъ положила его въ корзинку и ничего на него не отвѣчала. Ей очень жаль было Долинскаго; но она знала, что здѣсь нечего дѣлать и давно рѣшила, что въ этомъ случаѣ всего нужно выжидать отъ времени. Анна Михайловна хорошо знала жизнь и не кидалась ни въ какія бесполезныя схватки съ нею. Она ей не уступала безъ боя того, что считала своимъ достояніемъ по человѣческому праву, и не боялась боевыхъ мукъ и страданій; но дорожа своими силами, разумно терпѣла тамъ, гдѣ оставалось одно изъ двухъ: терпѣть и надѣяться, или быть отброшенной и злобствовать, или жить только по великодушной милости побѣдителей.

Она не видала ничего опаснаго въ своей системѣ и была увѣрена, что она ничего не потеряла изъ всего того, что могла взять, а что ужъ потеряно, того, значитъ, взять было невозможно по самымъ естественнымъ и, слѣдовательно, самымъ сильнымъ причинамъ. Она сама ничего легкомысленно не бросала, но и

ничего не вырывала насильно; жила по душѣ и всѣмъ предоставляла жить по совѣсти. Этой простой логики она держалась во всѣхъ болѣе или менѣе важныхъ обстоятельствахъ своей жизни и не измѣнила ей въ отношеніи къ Долинскому и Дорушкѣ, разорвавшимъ ея скромное счастье.

«Пусть будетъ, что будетъ», говорила сама себѣ Анна Михайловна: «тутъ ужъ ничего не сдѣлаешь», и продолжала писать имъ письма, полныя участія, но свободныя отъ всякихъ нѣжностей, которыя могли бы ихъ беспокоить, шевеля въ ихъ памяти прошедшее, готовое всегда встать тяжелымъ укоромъ настоящему.

А что дѣлали, между тѣмъ, въ Ниццѣ?

II.

Н и ц ц а .

Крылатый божокъ, кажется, совсѣмъ поселился въ трехъ комнатахъ m-me Бюжаръ, и другимъ темнымъ и свѣтлымъ божествамъ не было входа къ обитателямъ скромной квартирки съ итальянскимъ окномъ и густыми зелеными занавѣсками. О поѣздкѣ въ Россію, разумѣется, здѣсь ужъ и рѣчи не было, да и о многомъ, о чемъ слѣдовало бы вспомнить, здѣсь не вспоминали и рѣчей не заводили. Страстная любовь Доры совершенно овладѣла Долинскимъ и не давала ему еще пока ни призадуматься, ни посмотреть въ будущее.

— Боже мой, какъ мы любимъ другъ друга! восхищалась Даша, сжимая голову Долинскаго въ своихъ розовыхъ, свѣженькихъ ручкахъ.

Несторъ Игнатьичъ обыкновенно застѣнчиво молчалъ при этихъ страстныхъ порывахъ Доры, но она и въ этомъ молчаніи ясно читала всю необъятность чувства, зажженного ею въ душѣ своего любовника.

— Ты меня ужасно любишь? Ты никого такъ не любилъ, какъ меня? спрашивала она снова, стараясь добиться отъ него желаемого слова.

— Я всею душою люблю тебя, Дора.

Даша весело вскрикивала и еще безумнѣе, еще жарче ласкала Долинскаго.

Разговоры ихъ никто бы не записалъ, да они всѣмъ бы и наскучили. Всѣ ихъ разговоры были въ этомъ родѣ, а разгово-

ры въ этомъ родѣ могутъ быть исполнѣ понятны только для того существа, которое, прочитавъ эти строчки, можетъ наклонить къ себѣ любимую головку и почувствовать то, что чувствовала Даша и Долинскій. Анна Михайловна говорила правду, что они ни о чемъ не думали и только «любились». А время шло. Со дня святой Сусанны, минуло болѣе пяти мѣсяцевъ. Въ Ниццу опять пріѣхало изъ Россіи давно жившее тамъ семейство Онучинныхъ. Семейство это состояло изъ матери, происходящей отъ древняго русскаго княжескаго рода, сына—молодого человѣка, очень умнаго и непомѣрно строгаго, да дочери, которая подъ новыи годъ была въ магазинѣ «*M-me Annette*» и вызвалась передать ея поклонъ Дашѣ и Долинскому. Мать звали Серафимой Григорьевной, сына — Кирилломъ Сергѣевичемъ, а дочь — Вѣрой Сергѣевной. Семейство это было немного знакомо съ Долинскимъ.

Возвратясь въ Ниццу, Вѣра Сергѣевна со скуки вспомнила объ этомъ знакомствѣ и какъ-то послала просить Долинскаго побывать у нихъ когда-нибудь за просто. Несторъ Игнатьевичъ на другой же день пошелъ къ Онучиннымъ. Въ пять мѣсяцевъ это былъ его первый выходъ въ чужой домъ. Въ эти пять мѣсяцевъ онъ одинъ никуда не выходилъ, кромѣ кофейни, въ которой изрѣдка читалъ газеты, и то Доружка обыкновенно ждала его гдѣнибудь, или на бульварѣ, или тутъ же въ кафе.

Вѣра Сергѣевна встрѣтила Долинскаго на террасѣ, окружавшей домикъ, въ которомъ они жили. Она сидѣла и разрѣзывала только полученную французскую иллюстрированную книжку.

— Здравствуйте, m-r Долинскій! сказала она, радушно протягивая ему свою длинную, бѣлую руку.—Берите стулъ и садитесь. Матанъ еще не вышла, а брата нѣтъ дома — поскучайте со мною.

Долинскій принесъ стулъ къ столу и сѣлъ.

— Какъ поживаете? спросила его Вѣра Сергѣевна.

— Благодарю васъ: день за день, все по старому.

— Рвѣшься изъ Россіи въ эти чужіе края, резонировала дѣвушка:—а пріѣдешь сюда—и здѣсь опять такая же скука.

— Да тутъ въ Ниццѣ, кажется, не очень веселятся.

— А вы никуда не выѣзжали?

— Нѣтъ, я не выѣзжалъ.

— Что жъ, вы... много работаете?

— Такъ... какъ нѣмцы говорятъ «etwas».

— Sehr wenig, значитъ.

— Очень мало.

— Но, конечно, будете такъ любезны, что прочтете намъ то, что написали.

— Полноте, Вѣра Сергѣевна! Что вамъ за охота слушать мое кропанье, когда есть столько хорошихъ вещей, которыя вы можете прочесть и съ удовольствіемъ и съ пользою.

— Униженіе паче гордости, шутливо замѣтила Вѣра Сергѣевна, и оставивъ этотъ разговоръ, тотчасъ же спросила:—а что дѣлается съ вашей очаровательной больной?

— Ей лучше, отвѣчалъ Долинскій.

— Я видѣла ея сестру.

— А-а! гдѣ же это?

Вѣра Сергѣевна рассказала свое свиданіе съ Анной Михайловной, какъ будто совсѣмъ не смотря на Долинскаго, но впрочемъ на лицѣ его и не видно было никакой особенно замѣчательной перемѣны.

— И больше ничего она не говорила?

— Нѣтъ. Она сказала, что вы часто переписываетесь.

Тутъ Несторъ Игнатьевичъ слегка покраснѣлъ и отвѣчалъ:

— Да, это правда.

— Что вы не курите, monsieur Долинскій, хотите папироску?

— Нѣтъ, благодарю васъ, я не курю.

— Вы, кажется, курили.

— Да, куриль, но теперь не курю.

— Что же это за воздержаніе?

— Такъ, что-то надоѣло. Хочу воспитывать въ себѣ волю, Вѣра Сергѣевна, шутилъ Долинскій.

— А! это очень полезно.

— Только боюсь, не поздненько ли это нѣсколько?

— Ну, mieux tard...

— Que jamais —замѣчаніе во всѣхъ другихъ случаяхъ совершенно справедливое, подсказалъ Долинскій.

— Не собираваетесь въ Россію? спросила Вѣра Сергѣевна послѣ короткой паузы.

— Нѣтъ еще.

— А тамъ новостей, новостей!

— Будьте милостивы, расскажите.

М-лле Онучина рассказала нѣсколько русскихъ новостей, кото-

рыя только для нея и были новостями, и которыя Долинскій давно зналъ изъ иностранныхъ газетъ. Старая Онучина все не выходила. Долинскій посидѣлъ около часу, простился, общалъ заходить и ушелъ съ полной рѣшимостью не исполнять своего обѣщанія.

— Что ты тамъ сидѣлъ такъ долго? спросила его Даша, встрѣчая на крыльцѣ, съ лицомъ въ одно и то же время и веселымъ, и нѣсколько тревожнымъ.

— Всего часъ одинъ только, Дора, отвѣчалъ покорно Долинскій.

— Часъ! какъ это странно... нетерпѣливо сорвала Дора и остановилась, чувствуя, что говорить не дѣло.

— Нельзя же было, Дора.

— Ну, да.... очень можетъ быть. Ну, что жъ тебѣ рассказали?

— Ничего. Просто поклонъ привезли.

— Отъ Анны?

— Да.

Оба долго молчали. Даша сидѣла сложа руки, Долинскій съ особеннымъ тщаніемъ выбивалъ щелчками пыль, налѣвшую на его бѣлой фуражкѣ.

— Что жъ еще рассказывали тебѣ? спросила поправляясь на диванѣ Даша.

— Ничего, Дора.

— Какъ это глупо!

— Что не рассказывали-то?

— Нѣтъ, что ты скрытничаешь.

— О новостяхъ говорила m-elle Vera.

— О какихъ?

— Ну, все старое. Я тебѣ все давно говорилъ.

— Чего жъ ты такимъ сентябремъ смотришь?

— Что тебѣ кажется! Тебѣ просто посердиться хочется.

— Первый туманъ, сказала Даша, спокойно давая ему свою руку.

— Какой туманъ?

— На лбу у тебя.

— Ну, что ты сочиняешь вздоры, Даша!

— Не будь, сдѣлай милость, ничтожнымъ человѣкомъ. Нашъ мостъ разоренъ! Наши корабли сожжены! Назадъ идти нель-

зя. Будь же человѣкомъ, ужь если не съ волею, такъ хоть съ разумомъ.

— Да чего ты хочешь, Даша?

Даша вмѣсто отвѣта посмотрѣла на него искоса очень пристально, и съ легкой презрительной гримаской.

— Я жь люблю тебя! успокоивалъ ее Долинскій.

— И боишься.

— Чего?

— Прошлаго.

— Богъ-знаетъ, чтó тебѣ сегодня кажется.

— То, чтó есть на самомъ дѣлѣ, мой милый.

— Напрасно; я только думаю, что честнѣе было бы съ нашей стороны обо всемъ написать...

Даша задумалась, и потомъ, вздохнувъ, сказала:

— Я сама знаю, чтó нужно дѣлать.

Вечеромъ, по обыкновенію, они сидѣли на холмикѣ, и въ первый разъ порознь думали.

— Ты ничего не работаешь? спросила Даша.

— Ничего, Дора.

— Я тоже ничего.

— Что жь тебѣ работать!

— А деньги у насъ есть еще?

— Не безпокойся, есть.

— Работай что-нибудь, а то мнѣ стыдно, что я мѣшаю тебѣ работать.

— Чѣмъ же ты-то мѣшаешь?

— Да вотъ тѣмъ, что все ты возлѣ меня вертишься.

— Гдѣ же мнѣ еще быть, Дора?

— И это, конечно, правда, сказала съ задумчивой улыбкой Даша, и не спѣша пригнувъ къ себѣ голову Долинскаго, поцаловала его и вздохнула.

Тихо они встали и пошли домой.

— Какой ты покорный! говорила Даша, усѣвшись отдохнуть на диванѣ и пристально глядя на Долинскаго. — Смѣшно даже смотрѣть на тебя.

— Даже и смѣшно?

— Да какъ же!—Не курить, не ходить куда, въ глаза мнѣ смотреть, какъ падишаху какому-нибудь.

— Это все тебѣ такъ кажется.

— Зачѣмъ ты пересталъ курить?

- Наскучило.
— Врешь!
— Право, наскучило.
— Право, врешь. — Ну, говори правду. Чтобы дыму не было — да?

Долинскій улыбнулся и качнулъ въ знакъ согласія головой.

— Чѣмъ ты меня любишь?

— Какъ, чѣмъ?

— Вѣдь у тебя сердце все размѣненное, а любить можно разъ въ жизни, сказала смѣясь Даша.

— Ну, почему жъ я это знаю.

— А что, еслибъ я умерла?

Долинскій даже поблѣднѣлъ.

— Полно, полно, не пугайся, отвѣчала Даша, протягивая ему свою ручку. — Не сердись — я вѣдь пошутила.

— Какія же шутки у тебя!

— Вотъ странный человѣкъ! Я думаю, я и сама не имѣю особеннаго влеченія умирать. Я боюсь тебя оставить. — Ты съ ума сойдешь, еслибъ я умерла?

— Боже спаси.

— Буду жить, буду жить, не бойся.

Утромъ Несторъ Игнатьевичъ покойно спалъ въ ногахъ на до-рушкиной постели, а она рано проснулась, сѣла, долго внима-тельно смотрѣла на него, потомъ подняла волосы съ его лица, тихо поцаловала его въ лобъ, и снова опустившись на подушки, проговорила:

— Боже мой! Боже мой! что съ нимъ будетъ? Что мнѣ съ нимъ сдѣлать?

Опять все за грудь стала Даша частенько потрогиваться, какъ только оставалась одна. Но при Долинскомъ она попрежнему была веселою и покойною, только, кажется, становилась еще нѣж-нѣе и добрѣе.

— Напишу я, Даша, Аннѣ, говорилъ ей Долинскій.

— Что жъ ты ей напишешь?

— Что я тебя больше всего на свѣтѣ люблю.

— Она это и такъ знаетъ! улыбаясь отвѣтила Даша.

— Почему ты думаешь?

— Я это знаю.

— Все же надо написать что-нибудь.

— Нечего писать что-нибудь.

— Нѣтъ, по моему, все-таки лучше писать *ничего*, чѣмъ ничего не писать.

— Подожди. Я напишу сама, отвѣчала послѣ минутной паузы Дора.

А все не писала.

III.

Цвѣтутъ въ поле цвѣтики да померкнуть.

Мартъ прошелъ. Дашѣ ужъ не въ моготу стало скрывать своего нездоровья, и съ лица она стала измѣняться.

— Весна вѣрно у насъ начинается, сказала она одинъ разъ Долинскому.

Долинскій понялъ дашино вступленіе и мгновенно поблѣднѣлъ.

— Слабость у меня какая-то во всемъ тѣлѣ, пояснила Дора.

— Чтò съ тобою?

— Ничего, а такъ слабость.

— Господи! Дорушка! счастье мое, да чтò жъ это съ тобою?

— Ничего, ничего. Слабость маленькую все чувствую, и больше ничего.

А доктора звать ни за что не хотѣла.

Кашель сталъ появляться и жаръ по ночамъ обнаруживался.

— Какой ты забавный! говорила Даша, откашливаясь и смотря на Долинскаго. — Я кашляю, а его точно давить что-нибудь! откашливается по обязанности. Ну, чего ты морщишься? весело спросила она, и засмѣялась.

— Не смѣйся такъ, Дора.

— Чего жъ плакать, мой другъ?

— Боюсь я за тебя.

— Чего?—Что я умру?

Долинскій смотрѣлъ на нее молча и мѣнялся въ лицѣ.

— Ты умри со мной.

— Полно шутить.

— Ага! любишь, любишь, а умирать вмѣстѣ не хочешь, говорила Дора, играя его волосами.

У Долинскаго навернулись слезы, и онъ отвѣчалъ:

— Нѣтъ, хочу.

— А лжешь!

— Да полно жъ тебѣ меня мучить, Дора.

— Не мучить! Ну, хорошо, ну, слушай.

Дорушка повернулась къ нему лицомъ и сказала:

— Вотъ, мой другъ, чтò сей сонъ обозначаетъ...

Дорушка снова остановилась.

— Да чтò же ты хочешь сказать? нетерпѣливо спросилъ Долинскій, отирая выступавшій у него на лбу холодный потъ.

— А то, мой милый, что... не обращай ты вниманія, если тебѣ когда-нибудь кажется, что я будто стала холодна, что я скучаю... Мнѣ все стало очень тяжело; не могу я быть и для тебя всегда такою, какою была. И для любви тоже силы нужны.

— Да чтò же съ тобой такое?

— Дурно.

— Господи! чтò же такое? чтò?

— Давно дурно.

— Чего жъ ты молчала?

— Это все равно.

— Какъ, все равно?

— Ничто мнѣ не поможетъ.

— Ты себѣ сочиняешь, сказалъ вскочивъ Долинскій.

Даша молчала.

— Иди, ложись спать и дай мнѣ уснуть, сказала она черезъ минуту.

Долинскій въ раздумьѣ сѣлъ у ея ногъ.

— Ложись тутъ и спи, сказала опять Даша, указывая на мѣсто у своихъ ногъ.

По дрожащимъ и жаркимъ губамъ Долинскаго, которыми онъ прикоснулся къ рукѣ Даши, она догадалась, что онъ разстроенъ до слезъ и сказала:

— Пожалуйста, пусть будетъ очень тихо, мнѣ хочется бѣшко уснуть.

IV.

Приговоръ.

Утромъ Долинскій осторожно вышелъ изъ комнаты и отправился къ доктору.

Въ двѣнадцать часовъ явился докторъ, и долгонько посидѣвъ у Даши, вошелъ въ комнату Нестора Игнатьевича, написалъ рецептъ и уѣхалъ, а Даша повеселѣла, какъ будто.

— Ну, чего ты такъ раскисъ! говорила она Долинскому.— Все хорошо, я сама напрасно перепугалась. Поживемъ еще, попарствуемъ.

Долинскій только руки ея цаловаль. Онъ хотѣлъ надѣяться и не смѣлъ вѣрить.

— Ну, ну, полно же.—А ты вотъ что сдѣлай для меня. Принеси мнѣ нашу казну.

— Денегъ еще много.

— Посмотримъ.

Денегъ точно было около двухъ тысячъ франковъ.

— Мало. Ты долженъ для меня заработать много. У меня есть къ тебѣ просьба.

— Приказывай, Даша.

— Заработай мнѣ денегъ. Мнѣ деньги нужны.

— Выдумываешь что-нибудь.

— Право, нужны; наряжаться хочу.

— Ну, хорошо, я буду работать, а ты скажи, на что тебѣ деньги нужны?

— Видишь, пора намъ и за дѣло братья. Ты работай свою работу, а я на первыя же деньги открываю русскій, этакой знаешь, пока маленькій ресторанчикъ.

Долинскій разсмѣялся.

— Ничего нѣтъ смѣшнаго! Я не меньше тебя заработаю. Англичане же всѣ ходятъ ѣсть ростбифъ въ своемъ трактирѣ.

— Ну?

— А у меня будетъ солонина, окрошка, пироги, ввась, палочки; не бойся, пожалуйста, я вѣрно рассчитала. Ты не бойся, я на твоей шеѣ жить не стану.—Я бы очень хотѣла... дѣтей учить, дѣвочекъ; да, вѣдь не дадутъ. Скажутъ, сама безнравственная. А трактирщицей ничего себѣ, могу быть—даже прилично.

Долинскій еще искреннѣе разсмѣялся.

— Нечего, нечего, говорила съ гримаской Дора.—Вѣдь я всегда трудилась и, разумѣется, опять буду трудиться.—Ничего новаго! Это вы только разсуждаете, какъ бы женщинѣ потрудиться, а когда же наша простая женщина не трудилась? Я же вѣдь не барышня; неужто же ты думаешь, что я шла ко всему не думая, какъ жить, или думая побарсее сѣсть на твою шею?

— Да я ничего.

— Ну, такъ нечего, значить, и смѣяться. Работай же. Помни, что вотъ я выздоровѣю, фондъ нуженъ, напоминала она, вскорѣ послѣ этого разговора Долинскому.

— Что же работать?

— Господи! Вотъ Фигаро нетлѣнный: все тѣни его носомъ, да покажи. Ну, разумѣется, пишите повѣсть.

— Дорушка! Вы же понимаете, что повѣсти по забазу не пишутся. У меня въ головѣ нѣтъ никакой повѣсти.

— Ну, я тебѣ задамъ.

— Задай, дай, весело отвѣчалъ Долинскій.

— Ну вотъ ты, да я—вотъ тебѣ и повѣсть.

— Нѣтъ, это ужъ пусть другіе пишутъ.

— Отчего жъ?

— Къ сердцу очень близко.

— Напрасная сентиментальность.—Ну, Онучина, которой любить хочется, да маменька не велитъ.

— Я ее совсѣмъ не знаю, Дора.

— Побесѣдуй.

— Да откуда ты-то знаешь, что ей любить хочется?

— Такъ; приснилось мнѣ, что-ли — не помню.

— Да ты жъ съ ней не говорила.

— Тутъ нечего и говорить.

— А впрочемъ, нѣтъ... постой, постой! вскрикнула подумавъ Даша.—Вотъ что бери: бери этакую, знаешь, барыню, которая все испытываетъ: любятъ-ли ее вѣрно, да на цѣлый ли вѣтъ? Ну, и тутъ словъ! словъ! словъ! — Съ словами цѣлая свора разныхъ, разныхъ прихвостней. Все она собирается любить «жарче дня и огня», а годы все идутъ, и сберется она полюбить, когда ее любить никто не станетъ, или полюбить того, кто менѣе всего стоитъ любви. Выйдетъ ничего-себѣ повѣсть, если хорошенько розыграть.

— Начнемъ-ка, подбавила Дора: — я буду вязать себѣ платокъ, а ты пиши.

Шутя началась работа. Повѣсть писалась и платокъ вязался.

— Чтò, ваша кузина... не замужемъ? спросилъ одинъ разъ докторъ, садясь за столѣ въ комнатѣ Долинскаго, чтобы записать рецензъ Дашѣ.

— Нѣтъ, не замужемъ, нѣсколько смутясь отвѣтилъ Долинскій.

Докторъ нагнулся къ столу, и написавъ не спѣша двѣ строчки, снова сказалъ: «Я хотѣлъ васъ спросить: дѣвушка она, или нѣтъ?—очень странные симптомы! — Онъ быстро поднялъ глаза отъ

бумаги на лицо Долинскаго. Тотъ былъ красенъ до ушей. Докторъ снова нагнулся, отбросилъ начатый рецептъ въ сторону, и написавъ новый, уѣхалъ.

— Что же, развѣ ей очень дурно? спросилъ Долинскій, провожая доктора за дверь.

— Теперь ничего особеннаго, хотя и хорошаго нѣтъ, но послѣ болѣзни можетъ идти *crescendo*, отвѣчалъ врачъ сухо и даже нѣсколько строго.

— Что тебѣ говорилъ докторъ?

— Ничего особеннаго, отвѣчалъ смущаясь Долинскій.

— Онъ все съ намеками какими-то.

— Да.

— И все вретъ.

— А если правда!

— Лжетъ, лжетъ, я знаю. Я просто простудилась. Послушай-ка меня! Устрой-ка ты мнѣ на ночь ножную ванну — это мнѣ всегда помогало.

— Это прежде было, Дора.

— Ахъ, не спорь о томъ, чего не понимаешь!

— А если хуже будетъ?

— Ахъ, Боже мой, что же это за наказаніе съ этими безтолковыми людьми! Ну, не будетъ хуже, русскимъ вамъ языкомъ говорю, не будетъ, не будетъ, настаивала Дора.

Вечеромъ, Даша при содѣйствіи м-ме Бюжаръ брала ножную ванну, и встала на другое утро довольно бодрою, но къ полудню у ней все кружилась голова, а передъ обѣдомъ она легла въ постель.

Пять дней она уже лежала, и все ей худо было. Докторъ началъ покачивать головой, и разъ сказалъ Долинскому:

— Просто не пойму, что это такое?

— Ванну она брала.

— Зачѣмъ?

— Хотѣла.

Докторъ пожалъ плечами и уѣхалъ.

Больная все разнемогалась. Кашель сильный начался, и по ночамъ изнурительный потъ.

— Что съ нею, докторъ? спрашивалъ встревоженный Долинскій.

— Ничего не могу вамъ сказать хорошаго.

— Неужто это все ванна надѣлала?

— Не думаю, но болѣзнь идетъ ужасно быстро.

— Боже мой! что жь дѣлать?

Ч. III. — Обойд-

— Будемъ дѣлать, что можно.

— Собрать консилиумъ?

— Соберите.

Пять докторовъ былъ, и деньги взялъ, а Дашѣ день ото дня становилось хуже. Не мучилась она, а все слабѣла, и тяжело дышать стала. Долинскій не отходилъ отъ нея ни на шагъ, и самъ разнемогся.

— Сходи къ Онучинымъ, говорила Долинскому Даша, стараясь услать его утромъ изъ дома.

— Зачѣмъ?

— Принеси мнѣ русскую Иллюстрацію.

Несторъ Игнатьевичъ взялъ фуражку.

— А ко мнѣ пошлѣ м-ме Бюжаръ, сказала ему вслѣдъ Даша.

Онъ мимоходомъ позвалъ къ ней старуху.

Когда онъ возвратился, въ комнатѣ Даши стоялъ диванъ, перенесенный изъ его кабинетика.

— Зачѣмъ ты это велѣла перенести, Даша?

— Такъ; ты прилечь здѣсь можешь, когда устанешь.

Часто, и все чаще и чаще она стала посылать его къ Онучинымъ, то за газетами, которыя потомъ заставляла себѣ читать, и слушала, какъ будто со вниманіемъ; то за узоромъ, то за русскимъ чаемъ, котораго у нихъ не хватило. А между тѣмъ, въ его отсутствіи она вынимала изъ-подъ подушки бумагу и скоро и очень скоро что-то писала. Схватится за грудь руками, поддержитъ себя сколько можетъ крѣпче, вздохнетъ болѣзненно и опять пишетъ, пока на дворѣ подъ окнами раздадутся знакомые шаги.

— Прибѣжалъ! невытерпѣлъ! скажетъ улыбаясь Дора. — Бѣдный ты мой! Зачѣмъ ты меня такъ любишь?

У Долинскаго стало все замѣтнѣе и замѣтнѣе недоставать словъ. Въ такія особенно минуты, онъ обыкновенно или потерянно молчалъ, или столь же потерянно бралъ большую за руку и не сводилъ съ нея глазъ. Очень тяжело, невыносимо тяжело видѣть, какъ близкое и дорогое намъ существо таетъ, какъ тонкая восковая свѣчка, и спокойно переступаетъ послѣднія ступени къ могилѣ. Даша проболѣла мѣсяцъ, и извелась совсѣмъ: сдѣлалась сухая, какъ перезимовавшая въ полѣ былинка, и прозрачная, какъ вытаявшая восковая фигура, освѣщенная съ боку. Въ послѣднее время, она почти ничего не кушала, и перестала посылать изъ дома Долинскаго.

— Будь теперь возлѣ меня, говорила она ему. — Теперь ужь недолго.

— Да что ты, Дора, въ самомъ дѣлѣ, умирать, что-ли, собираешься?

— А ты какъ думаешь? тихо спросила Дора.

Долинскій стоялъ передъ нею сущимъ истуканомъ.

— Охъ, какой ты смѣшной! говорила черезъ силу улыбаясь Дорушка. — Ну, чего ты моргаешь? Чего тебѣ жаль? Жаль меня? Ну, люби меня, послѣ смерти! .. да что объ этомъ. Плачь, если плачется, а я счастлива. Дорушка кашлянула, задумалась, и произнесла еще спокойнѣе: — смерть! Что жъ такое смерть? Непзбѣжное!... Ну, и пусть жизнь оборвется на живомъ звукѣ, сразу, безъ стоновъ, безъ жалобъ нищенскихъ. Дорушка опять кашлянула, и показавъ Долинскому бѣлый платокъ, съ свѣжымъ алымъ пятнышкомъ, улыбнулась.

Больной становилось все хуже. Докторъ сказалъ, что ужь нѣтъ никакой надежды.

Даша допыталась сама о состояніи своего здоровья, и сказала: «теперь напиши Аннѣ, что я безнадежна.»

Долинскій написалъ письмо; Даша прочла его, написала внизу: «прощай, сестра», и отдала m-me Бюжаръ, чтобы отправить на почту. На другой день, когда старуха перемѣняла на ней бѣлье, она отдала ей другой толстый пакетъ, и велѣла его бросить завтра въ ящикъ. Два дня потомъ, она была совсѣмъ едва жива, а на третій ей вдругъ полегчало. Цѣлый день Долинскій никакъ не могъ ее упросить, чтобы она молчала. Все, какъ птичка, она щебетала, и все возлѣ себя держала его. Ночью спала она очень покойно, и слѣдующій день начала хорошо, но раза три все порывалась вскрикнуть, какъ будто разрывалось что-то у нея въ груди. Слѣдующая ночь была ей гораздо труднѣе: она бродила, вскрикивала, и безпрестанно звала Долинскаго.

— Я здѣсь, Дора, отвѣчалъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Гдѣ? Гдѣ ты?

Плачетъ, и сама руками ищетъ въ воздухѣ.

— Да вотъ я, вотъ, возлѣ тебя, отвѣчалъ Долинскій, сжимая ее руку.

— Господи! а я ужь думала, мнѣ показалось, что я... что тебя ужь нѣтъ со мною.

— Полно, успокойся, Дора.

— Да гдѣ же ты опять?

— Да я же вотъ держу тебя за руки.

— То-то... Голосъ твой вдругъ какъ-то странно... далеко мнѣ слышался. Ты не отходишь отъ меня? спрашиваетъ она въ жару, тревожно вода блуждающими глазами.

— Нѣтъ, Дора.

— То-то, ты не отходи.

— Куда же я пойду?

— Ну, Богъ тебя знаетъ.

Даша на минутку забывалась, и опять вскорѣ звала.

— Что же? что, моя Дора? перепуганнымъ голосомъ спрашивалъ забывавшійся минутнымъ сномъ Долинскій.

— Все мнѣ кажется, какъ будто мы другъ отъ друга уходимъ.

— Ты бредишь, Даша.

— Да, вѣрно брежу. — Ты меня держишь за руку?

— Ну, да, Дора. Богъ съ тобой, развѣ ты не видишь?

— Нѣтъ, вижу. Только ты все далеко какъ-то. Ты лучше обними меня. Сядь такъ, ближе, возьми меня къ себѣ.

И она уснула почти на рукахъ Долинскаго. Когда солнышко взглянуло сквозь занавѣску, Даша спала спокойно и прекрасна, и предательскія алые пятна весело играли на ея нѣжныхъ щечкахъ.

V.

FINITA LA COMEDIA.

Съ утра Дашѣ было и такъ и сякъ, только землистый цвѣтъ, проступавшій по тонкой кожѣ около устъ и носа, придавалъ лицу Дашини какое-то особенное непріятное, и даже страшное выраженіе. Это была та непостижимая печать, которою смерть живо отмѣчаетъ обреченныя ей жертвы. Даша была очень серьезна, смотрѣла въ одну точку, и блѣдными пальцами все обпирала что-то съ своего, перстью земною покрывавшагося лица. Къ ночи ей стало хуже, только она однако уснула.

Долинскій приподнялся, дошелъ на ципочкахъ до дивана и прилегъ. Онъ былъ очень изнуренъ многими бессонными ночами, и уснулъ какъ умеръ. Однако, несмотря на крѣпкій сонъ, часу во второмъ ночи, его какъ будто кто-то самымъ безцеремоннымъ образомъ толкнулъ подъ бокъ. Онъ вскочилъ, оглянулся и вздрогнулъ. Даша, оперынься на свою подушку локоткомъ, мангла До-

линскаго къ себѣ пальчикомъ, и тихонько, шопотомъ называла его имя.

— Чтѣ ты? спросилъ онъ, подойдя къ ея постели.

— Тссс! произнесла Даша, и сердито погрозила пальцемъ.

Долинскій остановился и оглянулся.

— Тссс! повторила Даша, и спросила шопотомъ: — когда она пріѣхала?

— Кто пріѣхала!

— Анна.

— Какая Анна?

— Ну, Анна, Анна сестра.

— Богъ съ тобой, это тебѣ приснилось.

Даша разсердилась.

— Не приснилось, а она приходила сюда, вотъ тутъ, вотъ возлѣ меня стояла въ бѣломъ капотѣ.

— Что ты говоришь, Дора, вздоръ какой! Зачѣмъ здѣсь будетъ Анна?

— Я тебѣ говорю, она сейчасъ была тутъ, вотъ тутъ. Она смотрѣла на меня и на тебя. Вотъ въ лобъ меня поцаловала, а еще и теперь чувствую, и сама слышала, какъ дверь за ней скрипнула. Ну, выйди, посмотри лучше, чѣмъ спорить.

Долинскій зажегъ у ночной лампочки свѣчу, и вышелъ въ другую комнату. Никого не было; все оставалось такъ, какъ было. Проходя мимо зеркала, онъ только испугался своего собственнаго лица.

— Ничего нѣтъ, сказалъ онъ, входя къ Дашѣ, возможно спокойнымъ и твердымъ голосомъ.

— Чего жъ ты такъ обрадовался? чего ты кричишь-то! Ну, нѣтъ и нѣтъ.

— Я обыкновеннымъ голосомъ говорю.

— Не надо обыкновеннымъ голосомъ говорить — говори другимъ.

Лицо Доры было необыкновенно сурово, даже страшно своею грозною серьезностью.

При свѣчѣ, на немъ теперь очень ясно обозначились серьезныя черты Иппократа.

— Зачѣмъ же это другимъ голосомъ? Чтѣ ты все пугаешь меня, Даша? сказалъ ей, дѣйствительно дрожа отъ непонятнаго страха Долинскій.

— Это смерть моя приходила, отвѣчала съ досадою больная.

Долинскій понималъ, что больная бредитъ на яву, а мурашки все-таки по немъ пробѣжали.

— Какой вздоръ, Даша!

— Нѣтъ, не вздоръ, нѣтъ не вздоръ — и Даша заплакала.

— Чего жъ ты плачешь?

— Того, что ты со мной споришь. Я больна, а онъ спорить.

— Ну, успокойся же, я точно виноватъ.

— Виноватъ!

Даша отерла платкомъ слезы, и сказала:

— И опять глупо: совсѣмъ невиновать. Сядь возлѣ меня; я все пугалась чего-то.

Долинскій сѣлъ у изголовья.

— Капризная я стала? спросила едва слышно больная.

— Нѣтъ, Дора, какіе жъ у тебя капризы.

— Ну, я тебѣ скажу какіе, только пожалуйста, со мной не спорь, и не возражай.

— Хорошо, Дора.

— Я хочу, чтобы ты меня на свои трудовыя деньги мертвую привезъ въ Россію. Хорошо?

Долинскій молчалъ.

— Исполнишь? спрашивала ласково Дора.

— Исполню.

— До тѣхъ поръ не выѣзжай отсюда. Сдѣлаешь?

— Сдѣлаю.

Она приложила къ его губамъ свою ручку, а онъ поцаловалъ ее, и больная уснула.

Черезъ два дня послѣ этого, съ самаго утра, ей стало очень худо. День она провела безъ памяти, и глядя во всѣ глаза на Долинскаго, все спрашивала: «Гдѣ ты? Не отходи же ты отъ меня!» Передъ вечеромъ зашелъ докторъ, и выходя, только губами подернулъ, да махнулъ около носа пальцемъ. Дѣло шло къ развязкѣ. Долинскій совсѣмъ растерялся. Онъ стоялъ надъ постелью безъ словъ, безъ чувствъ, безъ движенія, и не слыхалъ, что возлѣ него дѣлала старуха Бюжаръ. Только милый голосъ, звавшій его время отъ времени, выводилъ его на мгновеніе изъ страшнаго оцѣпененія. Но и этотъ низко-упавшій голосъ очень мало напоминалъ прежній звонкій голосъ Доры. Въ комнатѣ была мертвая тишина. М-ме Бюжаръ начинала позѣвывать и кланяться сѣдою головою. Пришла полночь, стало еще тише. Вдругъ, среди этой тишины, Даша стала тихо приподниматься на постели, и

протянула руки. Долинскій поддержалъ ее. «Пусти, пусти», прошептала она, отводя его руки. Онъ уложилъ ее опять на подушки, и она легла безпрекословно.

Зорька стала заниматься и въ сосѣдней комнатѣ, гдѣ сегодня не были опущены занавѣски, начало сѣрѣть. Даша вдругъ опять начала тихо и медленно приподниматься; возрилась въ одну точку въ погахъ постели, и прошептала: «звонять! Гдѣ это звонять?» и съ этими словами внезапно вздрогнула, схватила за грудь, упала навзничъ, и закричала: «ой, что жъ это! больно мнѣ! больно! — Охъ, какъ больно! Помогите хоть чѣмъ нибудь. А-а! В-о-т-ъ о-н-а смерти! — Жить!... Ахъ!... ахъ! жить, еще! жить хочу!» крикнула громкимъ, рѣзкимъ голосомъ Дора, и какъ-то неестественно закинула назадъ голову.

Долинскій нагнулся и взялъ ее подъ плечи; Дора вздрогнула, тихо потянулась, и ея не стало.

У изголовья кровати стояла м-те Бюжаръ и плакала въ платокъ, а Долинскій такъ и остался, какъ его покинула отлетѣвшая жизнь Доры.

Прошло десять или пятнадцать минутъ; м-те Бюжаръ рѣшилась позвать Долинскаго, но онъ не откликнулся.

Онъ ничего не слыхалъ.

Madame Бюжаръ пошла домой, плакала, пила со сливками свой кофе, опять просто плакала и опять пришла — все оставалось по-прежнему. Только свѣтло совсѣмъ въ комнатѣ стало.

Француженка еще разъ покликкала Долинскаго, онъ тупо взглянулъ на нее и его лѣвая щека скривилась въ какую-то особенную кислую улыбку. Старуха испугалась и выбѣжала.

VI.

Сирота.

Madame Бюжаръ побѣжала къ Онучиннымъ. Она знала, что кромѣ этого дома у ея жильцовъ не было никого знакомаго. Благородное семейство еще почивало. Француженка усѣлась на террасѣ и терпѣливо ожидала. Здѣсь ее засталъ Кирилъ Сергѣевичъ и обѣщался тотчасъ идти къ Долинскому. Черезъ часъ онъ пришелъ въ квартиру покойницы вмѣстѣ съ своею сестрою. Долинскій попрежнему сидѣлъ надъ постелью и неподвижно смотрѣлъ на мертвую голову Доры. Глаза ей никто не завелъ, и

Съ поблѣвшими глазами
Ликъ прежде нѣжный, былъ страшнѣй
Всего, что страшно для людей.

Мухи ползали по глазамъ Дорушки.

Кирилъ Сергѣевичъ съ сестрою вошли тихо. М-те Бюжаръ встрѣтила ихъ въ залѣ и показала въ отворенную дверь на сидѣвшаго попрежнему Долинскаго. Братъ съ сестрой вошли въ комнату умершей. Долинскій не трогался.

— Несторъ Игнатьичъ! позвать его Онучинъ.

Огвѣта не было. Онучинъ повторилъ свой окликъ—то же самое, Долинскій не трогался.

Вѣра Сергѣевна постояла нѣсколько минутъ, и не снимая своей правой руки съ локтя брата, лѣвую сильно положила на плечо Долинскаго, и нагнувшись къ его головѣ, сказала ласково: «Несторъ Игнатьичъ!»

Долинскій какъ будто проснулся, провелъ рукою по лбу и взглянулъ на гостей.

— Здравствуйте! сказала ему опять м-ле Онучина.

— Здравствуйте, отвѣчалъ онъ, и его лѣвая щека опять кри-
влась въ ту же странную улыбку.

Вѣра Сергѣевна взяла его за руку и опять съ усиліемъ крѣпко ее пожала. Долинскій всталъ и его опять подернуло улыбнуться очень недоброй улыбкой. М-те Бюжаръ пугливо жалась въ углу, а ботаникъ видимо растерялся.

Вѣра Сергѣевна положила обѣ свои руки на плечи Долинскаго и сказала:

— Одни вы теперь остались!

— Одинъ, чуть слышно отвѣтилъ Долинскій и, оглянувшись на мертвую Дору, снова улыбнулся.

— Ваша потеря ужасна, продолжала не сводя съ него своихъ глазъ Вѣра Сергѣевна.

— Ужасна, равнодушно отвѣчалъ Долинскій.

Онучинъ дернулъ сестру за рукавъ и сдѣлалъ строгую гримасу. Вѣра Сергѣевна оглянулась на брата, и отвѣтивъ ему нетерпѣливымъ движеніемъ бровей, опять обратилась къ Долинскому, стоявшему передъ ней въ окаменѣломъ спокойствіи.

— Она очень мучилась?

— Да, очень.

— Итакъ еще молода!

Долинскій молчалъ и тщательно обтиралъ правою рукою кисть своей лѣвой руки.

— Такъ прекрасна!

Долинскій оглянулся на Дору и уронилъ шопотомъ:

— Да, прекрасна.

— Какъ она васъ любила!... Боже! какая это потеря.

Долинскій какъ будто пошатнулся на ногахъ.

— И за что такое несчастье!

— За что! за... за что! простоналъ Долинскій, и упавъ въ колѣна Вѣры Сергѣевны, зарыдалъ какъ ребѣнокъ, котораго безъ вины наказали въ примѣръ прочимъ.

— Полноте, Несторъ Игнатьичъ, началъ-было Кирилъ Сергѣевичъ, но сестра снова остановила его сердобольный порывъ и дала волю плакать Долинскому, обхватившему въ отчаяніи ея колѣни.

Мало-по-малу онъ выплакался, и облокотясь на стулъ, взглянулъ еще разъ на покойницу и грустно сказалъ: «все кончено».

— Вы мнѣ позволите, м-г Долинскій, заняться ею?

— Занимайтесь. Что жъ, теперь все равно.

— А вы съ братомъ подите отправьте депешу въ Петербургъ сестрѣ.

— Хорошо, покорно отвѣчалъ Несторъ Игнатьевичъ.

Онучинъ увелъ Долинскаго, а Вѣра Сергѣевна послала м-те Бюжаръ за своей горничной, и въ ожиданіи ихъ, сѣла передъ постелью, на которой лежала мертвая Дора.

Дѣтскій страхъ смерти при бѣломъ днѣ овладѣлъ Вѣрою Сергѣевной: все ей казалось, что мертвая Дора сунится и слегка шевелитъ насильно закрытыми вѣками.

Одѣли покойницу въ бѣлое платье, и голубою лентой подпоясали ее по стройной талии, а пышную красную косу расчесали по плечамъ и такъ положили на столъ.

Комнату дашину вычистили, но ничего въ ней не трогали; все осталось въ томъ же порядкѣ. Долинскій вернулся домой тихій, грустный, но спокойный. Онъ подошелъ къ Дашѣ, поднялъ къ себѣ, закрывавшую ей голову, поцаловалъ ее въ лобъ, потомъ поцаловалъ руку и закрылъ опять.

— Пойдемте же къ намъ, Несторъ Игнатьичъ! говорилъ Онучинъ.

— Нѣтъ, право, не могу. Я не пойду; мнѣ здѣсь хорошо.

— Въ самомъ дѣлѣ, ваше мѣсто здѣсь, подтвердила Вѣра Сергѣевна.

Онъ съ благодарностью пожалъ ей руку.

— Знаете, что я забыла спротить васъ, м-г Долинскій! сказала Вѣра Сергѣевна, зайдя къ нему послѣ обѣда.—Вы Дору здѣсь оставите?

— Какъ здѣсь?

— То-есть въ Италію?

— Ахъ, Боже мой! я и забылъ. Нѣтъ, ее перевезутъ домой, въ Россію. Нужно металлическій гробъ. Вы вѣдь это хотѣли сказать?

— Да.

— Да, металлическій.

— Вы не хлопочите, тамап все это уладить: она знаетъ, что нужно дѣлать. Она извиняется, что не можетъ къ вамъ придти, она нездорова.

Старуха Онучина боялась мертвыхъ.

— Позвольте же, деньги нужно дать, безпокоился Долинскій.

— Послѣ, послѣ отдадите, сколько издержать.

— Благодарю васъ, Вѣра Сергѣевна. Я бы самъ ничего не дѣлалъ.

М-ше Онучина промолчала.

— Какъ вы хорошо одѣли ее! заговорилъ Долинскій.

— Вамъ нравится?

— Да. Это всего лучше шло къ ней всегда.

— Очень рада. Я хочу посидѣть у васъ, пока братъ за мною придетъ.

— Что жъ! Это большое одолженіе, Вѣра Сергѣевна.

— У васъ есть чай?

— Чай? Вѣрно есть.

— Дайте, если есть.

Долинскій нашелъ чай и позвалъ старуху. Принесли горячей воды и Вѣра Сергѣевна сѣла дѣлать чай. Пришла и горничная съ большимъ узломъ въ салфеткѣ. Вѣра Сергѣевна стала разбирать узелъ: тамъ была розовая подушечка въ ажурномъ чехлѣ, кисея, собранная буфами, для того, чтобы ею обтянуть столъ; множество гирляндъ, великолѣпный букетъ и вѣнокъ изъ живыхъ бѣлыхъ розъ на голову.

Разложивъ все это въ порядкѣ, Вѣра Сергѣевна съ своею горничной начала убирать покойницу. Долинскій тихо и спокойно помогалъ имъ. Онъ вынулъ изъ своей дорожной пикатилки кіевскій перламутровый крестъ своей матери и, по украинскому обычаю, вложилъ его въ исхудалыя ручки Доры.

Передъ тѣмъ, когда хотѣли закрывать гробъ покойницы, Вѣра Сергѣевна вынула изъ кармана ножницы, отрѣзала у Дорушки цѣлую горсть волосъ, потомъ отрѣзала длинный конецъ отъ ея голубого пояса, перевязала эти волоса обрѣзкомъ ленты и подала ихъ Долинскому. Онъ взялъ молча этотъ послѣдній остатокъ земной Доры и даже не поблагодарилъ за него m-lle Онучину.

VII.

Письмо изъ-за могилы.

Анна Михайловна получила письмо объ отчаянной болѣзни Доры за два часа до полученія телеграммы о ея смерти.

Анна Михайловна плакала и тосковала въ Петербургѣ, и ее никто не заботился утѣшать. Одинъ Илья Макаровичъ чаще забѣгалъ подъ различными предлогами, но мало отъ него было ей утѣшенія: художникъ самъ не могъ опомниться отъ печальной вѣсти и все сводилъ разговоръ на то, что «сгорѣло создательнице милое! подскла его судьбенка.» Анна Михайловна, впрочемъ, и не искала стороннихъ утѣшеній.

— Не беспокойтесь обо мнѣ, Илья Макарычъ, ничего со мною не сдѣлается, отвѣчала она волновавшемуся художнику. — Отъ горя люди, къ несчастію, не умираютъ.

Только Аннѣ Анисимовнѣ она часто съ тревогою сообщала свои сновидѣнія, въ которыхъ являлась Дора. «Видѣла ее, мою крошку, будто она одна, босая, моя голубочка, сидитъ на полу въ пустой церкви...» рассказывала тоскуя Анна Михайловна.

— Душенька ея... сочувственно начинала бѣдная дѣвушка.

— И эти ручки, эти свои маленькія ручонки ко мнѣ протягиваетъ... Ахъ ты Боже мой! Боже мой! перебивала въ отчаяніи Анна Михайловна, и обѣ начинали плакать вмѣстѣ.

Черезъ три дня послѣ полученія печальныхъ извѣстій изъ Ниццы, Аннѣ Михайловнѣ подали большое письмо Даша, отданное покойницей m-me Бюжаръ за два дня до своей смерти. Анну Михайловну нѣсколько изумило это письмо умершаго автора; она поспѣшно разорвала конвертъ и вынула изъ него пять мелко писанныхъ листовъ почтовой бумаги.

«Сестра! Пишу къ тебѣ съ того свѣта, начинала Даша. — Живя на землѣ, я давно не въ силахъ была говорить съ тобою по-прежнему, то-есть я не могла говорить съ тобой откровенно. Въ

первый разъ въ жизни я измѣнила себѣ, отмалчивалась, робѣла. Теперь исповѣдуюсь тебѣ, моя душка, во всемъ. Пусть будетъ надо мной твоя воля и твой судъ милосердный. Мой міръ прошелъ предо мною полнымъ и я схожу въ готовую могилу безъ всякаго ропота. Совѣсть я уношу чистую. По моимъ нравственнымъ понятіямъ, то-есть понятіямъ, которыя у меня были, я ничѣмъ не оскорбила ни людей, ни человѣчество, и ни въ чемъ не прошу у нихъ прощенія. Но есть, голубчикъ сестра, условія, которыя плохо повинуются разсудку и заставляютъ насъ страдать крѣпко, долго страдать, наперекоръ своей увѣренности въ собственной правотѣ. Одно такое условіе давно стало между мною и тобою; оно поднималось, падало, опять поднималось, росло-росло, наконецъ выросло во всю свою естественную, или, если хочешь, во всю свою уродливую величину, и теперь съ моею смертію оно, слава-богу, исчезаетъ. Я говорю, Аня, о нашей любви къ Долинскому... Пора это выговорить... Зачѣмъ мы его полюбили обѣ? я не разрѣшу себѣ точно такъ же, какъ не могла себѣ разрѣшить никогда, чтѣ такое мы въ немъ полюбили? чтѣ такое въ немъ было?... Увлечлись своими опекунскими ролями, или это—сила добра и честности?

«Да Богъ съ ними, съ этими вопросами! поздно ужъ рѣшать ихъ.

«Я себѣ свою начальную любовь къ этому Долинскому, къ этой живой слабости, объясняю, во первыхъ, моею мизерикордіей, а во вторыхъ... тѣмъ, что-ли ужъ, что нынѣшніе *сильные* люди не вызываютъ любви, не могутъ ее вызвать. Я не знаю, чтѣ бы со мной было, еслибы я рядомъ съ Долинскимъ встрѣтила человѣка сильнаго какъ-то иначе, сильнаго *любовью*, но люди сильные одною ненавистью, однимъ самолюбіемъ, сильные умѣньемъ не любить никого, кромѣ себя и своихъ фразъ, мнѣ были ненавистны; другихъ людей не было, и Долинскій, со всѣми его слабостями, сталъ мнѣ милъ, какъ говорятъ, понравился.

«Ты знаешь, что я его люблю едва-ли не раньше тебя, едва-ли не съ первой встрѣчи въ Луврѣ передъ моею любимой картиной. Но онъ тебя, а не меня полюбилъ. Вы это искусно скрывали, но недолго. Сердце сказало мнѣ все; я все понимала, и понимала, что онъ считаетъ меня ребѣнкомъ. Это меня злило... Да не будь этого, можетъ быть, и ничего бы не было остальнаго. Сначала я заставляла молчать мое странное, какъ будто съ за-

висти разгоравшееся чувство; я сама увѣряла себя, что я не могла бы успокоить упавшій духъ этого человѣка, что ты вѣрнѣ достигнешь этого, и таки-наконецъ одолѣла себя, отошла отъ васъ въ сторону. Вы не видали меня за своею любовью и я вамъ не мѣшала, но я наблюдала васъ, и тутъ-то мнѣ показалось, что я поняла Долинскаго гораздо вѣрнѣ, чѣмъ понимала его ты. Тебѣ было жаль его, тебѣ хотѣлось его успокоить, дать ему вздохнуть, оправиться, а потомъ... жить тихо и скромно. Такъ я это понимала.

«Я была очень молода, совсѣмъ неопытна, совсѣмъ дѣвочка, но я чувствовала, что въ немъ еще много жизни, много силы, много охоты жить смѣлѣе, тверже. Я видѣла, что силъ этой такъ не должно замереть, но что у него воля давно пришибена, а ты только о его покоѣ думаешь. Я почувствовала, что еслибъ онъ любилъ меня, то я бы могла дать ему то, чего у него не было, или чтò онъ утратилъ: волю и смѣлость. Это льстило моей дѣтской гордости, этимъ я хотѣла *отмыть мою жизнь на свѣтъ*. Но вы любили другъ друга, и я опять отошла въ сторону и опять наблюдала васъ, любя васъ обоихъ. А тутъ я заболѣла, собиралась умирать. Занося ногу въ могилу, я еще сильнѣе почувствовала мою любовь — въ страсть она переходила во мнѣ. Это было для меня чувство совершенно новое и я, право, въ немъ невиновата. Это какъ-то сдѣлалось совсѣмъ мимо меня! Мнѣ не хотѣлось умирать не любя: мнѣ хотѣлось любить крѣпко, сильно. Это было ужасное чувство, мучительное, страшно мучительное! Тутъ поѣхали мы въ Италію; все вдвоемъ, да вдвоемъ. Силъ моихъ не было съ собою бороться — хоть день, хоть часъ одинъ я хотѣла быть любимой во что бы то ни стало. Ахъ, сестра, ты простила бы мнѣ все, еслибы знала, какое это было мучительное желаніе любви... обожанія, чьего-то рабства передъ собою! Это — что-то дьявольское!... Это гадко, но это было *непреодолимо*.

«Я хотѣла уѣхать и не могла. Сатана, духъ нечистый одинъ знаетъ, чтò это было за ненавистное состояніе! Порочная душа моя въ немъ сказалась что-ли, или это было роковое наказаніе за мою самонадѣянность! Мало того, что я хотѣла быть любимой, я хотѣла чтобы меня любилъ, боготворилъ, уничтожался передо мною человѣкъ, который не долженъ меня любить, который долженъ любить другую, а не меня... И чтобъ онъ ее бросилъ; и чтобъ онъ ее разлюбилъ; чтобъ онъ совсѣмъ забылъ ее

для меня — вотъ чего мнѣ хотѣлось! Дико!... Гнусно!... Твоя кроткая душа не можетъ понять этого злого желанія. Правда, я давно любила Долинскаго, я любила въ немъ мягкаго и честнаго человѣка, ну, пожалуй, даже любила его, такъ-таки по всѣмъ правиламъ, со всѣми онѣрами, но... все-таки изъ этого, можетъ быть, ничего бы не было; все-таки жаль же мнѣ было тебя! Любила же я тебя, Анпчка! знала же я, сколько тебѣ обязана! Все противъ меня было! Но какая-то лукавая сила все шептала: «передъ тобой и это все загремить и разсыпнется прахомъ». Ты знаешь, Аня, что я никогда не была кокеткой; это совершенная правда, я не кокетка; но я однако кокетничала съ Долинскимъ, и безсовѣстно, зло кокетничала съ нимъ. Не совсѣмъ это безсовѣстно было только потому, что я не хотѣла его влюбить въ себя и бросить, заставить мучиться, я хотѣла... или лучше сказать тебѣ, въ то время, при самомъ началѣ этой исторіи, я ничего не объясняла себѣ, зачѣмъ я все это дѣлаю. Но все-таки я знала, я чувствовала, что это... нехорошо. Иногда я останавливалась, вела себя ровно, но это было на минуту, да, все это бывало на одну минуту... Я опять начинала вертѣть его, сбивать, влюблять въ себя до безумія, и, разумѣется, влюбила. Клянусь тебѣ всѣмъ, что это открытіе не обрадовало меня; оно меня испугало! Я въ ту минуту не хотѣла, чтобы онъ разлюбилъ тебя. Голубчикъ мой! повѣрь мнѣ, что этого я не хотѣла... но... потомъ вдругъ я совсѣмъ обо всемъ этомъ забыла, совсѣмъ о тебѣ забыла, и моя злоба взяла верхъ надъ твоею кроткою, незлобивою любовью, моя дорогая Аня: человѣкъ, котораго ты любила, уже не любилъ тебя. Онъ не смѣлъ сказать мнѣ, что онъ любить меня, не смѣлъ даже самъ себя сознаться въ этомъ, но онъ былъ *мой рабъ*, а я хотѣла любить, и онъ мнѣ нравился. Тутъ ужъ не было мѣста прежней мизерикордіи, я только *любила*. Ахъ, Аня! не обвиняй его хоть ты ни въ чемъ: все это я одна, я все это надѣлала! Я ужъ не думала ни о комъ, ни о тебѣ, ни о немъ, ни о себѣ: быть любимой, *быть любимой*—вотъ все, о чемъ я думала. Я знаю, что еслибъ я жила, онъ бы со мною не погибъ; но я знала, что я недолго-буду жить и что это его можетъ совсѣмъ сбить съ толку и мнѣ его не было даже жалко. Пусть полюбитъ меня, а потомъ пусть гибнетъ. Развѣ я этого не стоила? Губятъ же люди себя опіумомъ, гашишемъ, неужто же любовь женщины хуже какого нибудь глупаго опьяненія? Ужасайся, Аня, до чего доходила твоя Дора!

«Я непременно хочу рассказать тебѣ все, что должно служить къ его оправданію въ этой каторжной исторіи.»

Тутъ Даша довольно подробно изложила все, что было со дня ихъ пріѣзда въ Ниццу до послѣднихъ дней своей жизни, и заканчивая свое длинное письмо, писала: «Теперь я умираю, ничего собственно не сдѣлавъ для него хорошаго. Но я, сестра, въ могилу все-таки уношу убѣжденіе, что этотъ человѣкъ еще многое можетъ сдѣлать, если благородно пользоваться его преданною, привязчивою натурою; иначе кто нибудь станетъ ею пользоваться неблагородно. Онъ одинъ жить не можетъ. Это ужъ такой человѣкъ. Встрѣтитесь вы, что-ли... но я тутъ ровно ничего не понимаю. Я и хочу, и не хочу этого. Все это, понимаешь, такъ странно и такъ неловко, что... Господи, что это я только напутала!» (Тутъ въ письмѣ было нѣсколько тщательно зачеркнутыхъ строчекъ и потомъ снова начиналось):

«Я бы доказала, что я могу сдѣлать этого человѣка счастливымъ и могу заставить его отряхнуться. Да, это дѣло возможное; повѣрь, возможное. Отъ того, что я умираю, оно не дѣлается невозможнымъ. Вдумайся хорошенько, и ты увидишь, что я не говорю ничего несообразнаго.»

«Не зови его изъ Италіи. Пусть поскушаетъ обо мнѣ въ волю. Это для него необходимо. Я вижу, что я для него буду очень серьезною потерей, и надо, чтобы онъ съумѣлъ съ собою справиться, а не растерялся, не бросился богъ-вѣсть куда. Я велѣла ему перевезти мое тѣло въ Россію. Для насъ, небогатыхъ людей — это, разумѣется, затѣя совершенно лишняя и непростительная (хотя, каюсь тебѣ, и мнѣ какъ-то пріятнѣе лежать въ родной землѣ, ближе къ людямъ, которыхъ я любила). Я сдѣлала это, однако, не для себя. Онъ будетъ очень тосковать обо мнѣ, а все-таки лучше ему оставаться здѣсь. Куда ему ѣхать въ Россію?... Все такъ свѣжо будетъ... такъ больно... Зачѣмъ встрѣча безъ радости? Я ему сказала, чтобы онъ перевезъ меня на трудовыя деньги. Это его заставитъ работать и будетъ очень хорошо, если никто не станетъ въ него вступаться, звать его. Все должно быть оставлено времени и моей памяти. Я еще изъ-за гроба что нибудь сдѣлаю... А ты, Аня, не увлекайся своими фантазіями и поступай такъ, какъ тебѣ укажутъ твое чувство и благоразуміе. Что мой другъ дѣлать, бываетъ всякое на свѣтѣ!»

Тутъ опять было нѣсколько тщательно зачеркнутыхъ строчекъ и потомъ стояло: «Только опять нѣтъ! Все мнѣ что-то кажется,

я какъ-то предчувствую, что все это будетъ какъ-то не такъ что будетъ какая-то иная развязка и вообрази... *я буду рада, если она будетъ иная...* Кажется, любила и сгубила... Что жъ дѣлать? дамъ отвѣтъ, если спросится... А впрочемъ, не слушай лучше ты, Аня, меня — я, должно быть, совсѣмъ сошла съ ума передъ смертью. Старайся, чтобъ было такъ, *какъ мнѣ не хочется*. Лучшаго я ничего не придумаю. Все это мнѣ представляется теперь, какъ объявляютъ на афишахъ, какимъ-то великолѣпнымъ, брѣлянтовымъ фейерверкомъ, и вотъ этотъ фейерверкъ весь сгорѣлъ до тла и около меня сгущается мракъ, сѣрый, непроглядный мракъ, могила... А нельзя было не сжечь его! Онъ такъ хорошо, такъ дивно хорошо горѣлъ!... Говорю тебѣ одно, что еслибы ты умерла прежде меня, я бы... нѣтъ, я ничего не знаю.

«*Я ничего не знаю*, и это выходитъ все, что я сумѣла сказать тебѣ въ этой послѣдней попыткѣ, моя мать, сестра и лучший земной другъ мой! Я умираю однако въ полномъ убѣжденіи, что ты поняла мою исповѣдь и простила меня. Прощай, мой добрый ангелъ! Прощай издалека. Какъ бы я хотѣла тебя видѣть въ мои послѣднія минуты!... Какъ я хочу вѣрить, что я увижу тебя! Да, я тебя увижу: я вызову тебя. Я вѣрю въ души, въ силу душъ и я тебя вызову! Разстояній нѣтъ. Ихъ нѣтъ, потому что ты теперь со мною! Я вижу, какъ ты меня прощаешь. Ты благословляешь твою безнравственную сестру... спасибо. Совсѣмъ мнѣ плохо; едва дописываю эти строчки. Пора въ походъ, безвѣстный... Вотъ она, когда близится роковая загадка-то! Иду смѣло, смѣло иду! Интересно знать, что тамъ такое? Можетъ быть, въ самомъ дѣлѣ буду ждать васъ; но хочу, чтобы ждала какъ можно дольше и боюсь только, что «въ мірѣ мною другъ друга ужъ мы не узнаемъ.»

«Любите же и помните вашу мертвую Дору.»

«Нпцца.»

«P. S. Еслибы слѣпою волею рока это письмо мое когда нибудь стало извѣстно высоконравственному міру, Боже, какъ бы перевернули высоконравственные люди въ могилѣ мои бѣдныя кости! Съ какими бы процентами заплатили мнѣ всѣ эти опять-таки высоконравственные дамы за все презрѣніе, которое я всегда чувствовала къ ихъ фарисейской нравственности! Развѣ одна ты, милосердная, вдохновительная, всеисильная любовь вложишь въ чьи нибудь грѣшныя и многолюбящія или многолюбившія уста

слово въ мое оправданіе! Сорвалась съ петель! Не умѣла любить въ половину сердца, а всѣмъ полюбишь — на полдорогѣ не остановишься. Прощай и еще разъ прости меня мертвеца, бѣднаго и болѣе никому уже невредящаго.

«Совсѣмъ забываю про Журавку! онъ обидится. Поцалуй его за меня: онъ любилъ меня, нашъ добрый, маленький человѣчекъ съ большимъ сердцемъ. Аннѣ Анисимовнѣ, всему нашему маленькому, тихому мірку, всѣмъ дѣвушкамъ, всѣмъ кланяюсь и у всѣхъ прошу себѣ всякаго прощенья.»

Анна Михайловна поплакала, еще разъ перечитала письмо и легла въ постель. Много горячихъ и добрыхъ слезъ ея упало этою безконечною для нея ночью.

— Что теперь впереди? Кому на что нужна моя жизнь и зачѣмъ она самой мнѣ, эта жизнь, въ которой все милое пропало, все вымерло? спрашивала себя она, обтирая заплаканное лицо.

Совершенно разбитая, Анна Михайловна рано утромъ встала и написала Долинскому: «Печальное извѣстіе о смерти Дорушки меня поразило, потому что ни одинъ изъ насъ даже не извѣщалъ меня, что ей сдѣлалось хуже. Однако, я давно была къ этому готова и желаю, чтобы ты какъ можешь спокойнѣе перенесъ нашу потерю. Я прошу тебя остаться въ Ниццѣ, пока я выхлопочу позволеніе перевезти въ Петербургъ тѣло Доры. Это не будетъ очень долго и ты вѣрно не откажешь въ новомъ одолженіи мнѣ и покойницѣ. Я очень скучаю теперь и вдвое буду рада каждой твоей строчкѣ. Извини, что пишу такъ мало: самъ вѣрно понимаешь, что мнѣ не до словъ.»

VIII.

Сладкія начала злого недуга.

Долинскій все грустилъ о Дорѣ и никуда не выходилъ. Аристократъ-ботаникъ два раза заходилъ къ нему, но замѣтивъ, что его посѣщенія въ тягость одичавшему хозяину, пересталъ его навѣщать. Старуха нѣсколько разъ посылала приглашать Долинскаго къ себѣ обѣдать — онъ всякій разъ упорно отказывался и даже сердился, что его трогаютъ. Дома онъ все ходилъ въ раздумьѣ по дашиной комнатѣ и ровно ничѣмъ не занимался. Ночами спалъ мало и то все Дору безпрерывно видѣлъ во снѣ.

Это его радовало. Онъ очень полюбилъ свои сновидѣнія; онъ жилъ въ нихъ и незамѣтно сталъ отъпскивать въ нихъ какой-то таинственный смыслъ и значеніе. Долгинскій незамѣтно началъ строить такіа положенія, что Даша не вся умерла для него; что она живетъ гдѣ-то и вовсе не потеряла возможности съ нимъ видѣться. Ему начало сниться, что она откуда-то приходитъ ночами, сидитъ у его изголовья и говоритъ ему живыя ласковыя рѣчи, и онъ сердился когда разумъ говорилъ ему, что это только сонъ, только такъ кажется. Онъ всегда слово отъ слова помнилъ все, что ему говорила ночью Дора, и всегда находилъ въ ея рѣчахъ тотъ же умъ и тотъ же характеръ, которыми дѣлали ея прежніе разговоры. Странно и неестественно было теперешнее состояніе Долгинскаго, и въ такомъ состояніи онъ получилъ знакомое намъ письмо Анны Михайловны, а ночью ему опять снилась Дора. Она вошла въ комнату; тихо сѣла возлѣ Долгинскаго на краю кровати и положила ему на лобъ свою пухдалую ручку. Лицо Доры было такъ же прекрасно, но сдѣлалось совсѣмъ прозрачнымъ. Она была въ томъ же бѣломъ платицѣ, въ которомъ ее схоронили; у ея голубого кушака былъ высоко отрѣзанъ одинъ конецъ, а съ лѣвой стороны надъ вискомъ выбивался изъ подъ бѣлыхъ розъ неровно остриженные рукою Вѣры Сергѣевны волосы.

Долгинскому казалось, что все существо Доры блеститъ какимъ-то фосфоричнымъ свѣтомъ, и онъ закрытыми глазами видѣлъ, какъ она ему улыбнулась, слышалъ, какъ она сказала: «здравствуй, мой милый!» и чувствовалъ, что она положила ему на голову свою ручку. «Я на тебя сердита теперь!» говорила Дора. «Я тебя просила работать для меня; а ты все скучаешь, все ничего не дѣлаешь. Нехорошо! Случать нечего, я всегда съ тобой. Миѣ хорошо, я васъ вижу всѣхъ теперь. Встань, мой другъ, иди, я хочу, чтобъ ты писалъ, чтобъ ты отвезъ меня въ Россію. Здѣсь у насъ все чужіе въ могилѣхъ. Встань же! встань! работай», звала она, потряхивая его за плечо. Долгинскій вскакивалъ, открывалъ глаза — въ комнатѣ ничего не было. Онъ вздыхалъ и засыпалъ снова; и Даша немедленно слетала къ нему снова и успокоивала его, говорила, что ей хорошо, что она всѣхъ любитъ. «А глазами, говорила она, на меня смотрѣть нельзя; никогда не смотри на меня глазами! Возьми же, возьми меня съ собой!» вскрикивалъ во снѣ Долгинскій. «Нельзя, мой другъ, нельзя», тихо отвѣчала Даша. «Я не пушу тебя», опять

вскрикивалъ Долгинскій въ своемъ тревожно-сладкомъ снѣ, протягивалъ руки къ своему видѣнію и обнималъ воздухъ, а разгоряченному его воображенію представлялась уносившаяся вдаль по синему ночному небу Дора. Сновидѣнія эти не прекращались. Наконецъ, разъ какъ-то Даша явилась Долгинскому съ сморщеннымъ лбомъ, сказала: «работай, или я въ наказаніе тебѣ не буду навѣщать тебя и мнѣ будетъ скучно».

Прошло три ночи, и Даша сдержала свое слово: ни на одно мгновеніе не привидѣлась она Долгинскому.

Несторъ Игнатьичъ очень серьезно встревожился. Онъ на четвертый день вскочилъ съ разсвѣтомъ и сѣлъ за работу. Повѣсть сначала не вязалась, но онъ сдѣлалъ надъ собой усиліе и работа пошла удачно. Онъ писалъ не вставая весь день и далеко за полночь, а передъ утромъ заснулъ въ креслѣ и Дора тотчасъ же выдѣлилась изъ сѣраго предразсвѣтнаго полумрака, прошла своей неслышной поступью и, поцаловавъ Долгинскаго въ лобъ, сказала «умникъ, умникъ—работай».

IX.

Птпцы пѣвчія.

Дней десять къ ряду Долгинскій работалъ. Повѣсть подвигалась впередъ, и по мѣрѣ того, какъ онъ втягивался въ работу, мысли его приходили въ порядокъ и къ нему возвращалось не спокойствіе, а тихая грусть, которая ничему не мѣшаетъ и въ которой душа только становится выше, чище, снисходительнѣе. Проработавъ одну такую ночь до самаго разсвѣта, совершенно усталый онъ взглянулъ въ открытое окно дашиной спальни. Занавѣска не была опущена и робкій свѣтъ вмѣстѣ съ утренней прохладой свободно пропикалъ въ комнату. Несторъ Игнатьевичъ задулъ свѣчу и прислонясь къ креслу, сталъ смотрѣть въ окно. Свѣжій вѣтерокъ тихо скользилъ несмѣлыми порывами, слегка шевелилъ волосы Долгинскаго и скоро усыпилъ его. Въ окнѣ, по обычаю, тотчасъ же показалась Дора. Она нынче была какъ-то смѣлѣе обыкновеннаго; смотрѣла на него въ окно, улыбалась и шуга говорила: «Нѣудобъ, Бука!» Долгинскій разсмѣялся.

Во время этого сна, по стекламъ, что-то слегка стукнуло разъ, другой, еще и еще. Долгинскій проснулся, отвелъ рухою разметавшіеся волосы и взглянулъ въ окно. Высокая женщина въ лег-

комъ бѣломъ платьѣ и коричневой соломенной шляпѣ стояла передъ окномъ, поднявъ кверху руку съ зонтикомъ, ручкой котораго она только стучала въ верхнее стекло окна. Это не была золотистая головня Доры — это было хорошенъкое, оживленное личико съ черными, умными глазками и французскимъ носикомъ. — Однимъ словомъ, это была Вѣра Сергѣевна.

— Какъ вамъ не стыдно, Долинскій! Пропадаете, бѣгаете отъ людей и спите въ такое прекрасное утро.

— Ахъ! простите, Вѣра Сергѣевна! отвѣчать, скоро поднимаясь Долинскій. — Я знаю, что я невѣжа и много виноватъ передъ вашимъ семействомъ и особенно передъ вами, за все...

— Да все хандрите?

— Да, все хандрю, Вѣра Сергѣевна.

— Чего же вы прячетесь-то?

— Нѣтъ, я, кажется, не прячусь.

— Помилуйте! Посылала за вами и брата, и людей — какъ кладъ зачарованный не даетесь. — Чего вы спите въ такое время, въ такое прелестное утро? Вы посмотрите, что за рай на дворѣ:

Я пришла сюда съ привѣтомъ
Разсказать, что солнце встало,
Что оно горячимъ свѣтомъ
По листьямъ затрепетало,

проговорила весело Вѣра Сергѣевна.

— Да, очень хорошо, отвѣчалъ Долинскій, застѣнчиво улыбаясь.

— Но вы все-таки не подумайте, что я пришла къ вамъ собственно съ докладомъ о солнцѣ! я — эгоистка и пришла наложить на васъ обязательство.

— Приказывайте, Вѣра Сергѣевна.

— Вы непременно должны сейчасъ проводить меня. Мнѣ хочется далеко пройтись берегомъ, а брата нѣтъ: онъ въ Виши уѣхалъ.

— Вѣра Сергѣевна! я вѣдь никуда не хожу.

— Ну, такъ поидемте.

— Право...

— Право, невѣжливо держать у окна даму и торговаться съ нею. *Vous comprenez, c'est impoli! Un homme comme il faut ne fait pas cela.*

— Да что же дѣлать, если ужъ я не *un homme comme il faut*.

— Ну, однако, я буду ждать васъ на бульварѣ, сказала Вѣра Сергѣевна, и поклонясь слегка Долинскому, отошла отъ его окна.

Несторъ Игнатъевичъ освѣжилъ лицо, взявъ шляпу и вышелъ изъ дома въ первый разъ послѣ похоронъ Даши. На бульварѣ онъ встрѣтилъ m-lle Онучину, поклонился ей, подалъ руку и они пошли за городъ. День былъ восхитительный. Горячее итальянское солнце золотыми лучами освѣщало землю и на землѣ все казалось счастливымъ и прекраснымъ подъ этимъ солнцемъ.

— Поблагодарите меня, что я васъ вывела на свѣтъ божій, говорила Вѣра Сергѣевна.

— Покорно васъ благодарю, улыбаясь отвѣтилъ Долинскій.

— Скажите пожалуйста, чтò это вы спите въ эту пору?

— Я работалъ ночью и только утромъ вздремнулъ.

— А! это другое дѣло.—Выходитъ, я дурно сдѣлала, что васъ разбудила.

— Нѣтъ, я вамъ благодаренъ.

Долинскій проходилъ съ Вѣрой Сергѣевной часа три, очень усталъ и разсѣлся. Онъ зашелъ къ Онучиннымъ обѣдать и ѣлъ съ большимъ аппетитомъ.

— Вы простите меня, бога-ради, Серафима Григорьевна, началъ онъ, подойдя послѣ обѣда къ старухѣ Онучиной.—Я вамъ такъ много обязанъ и до сихъ поръ не собрался даже поблагодарить васъ.

— Полноте-ка; Несторъ Игнатъичъ! Это все дѣти хлопотали, а я ровно ничего не дѣлала, отвѣчала старая аристократка.

Долинскій хотѣлъ узнать, сколько онъ остался должнымъ, но старуха уклонилась и отъ этого разговора.

— Кирилъ, говорила она:—пріѣдетъ, тогда съ нимъ поговорите, Несторъ Игнатъичъ:—я, право, ничего не знаю.

Вѣра Сергѣевна послѣ обѣда открыла рояль, сыграла нѣсколько мѣсгъ изъ Нормы и прекрасно спѣла: *Ты для меня душа и сила.*

Долинскому припомнился канунъ св. Сусанны, когда онъ почти неся на своихъ рукахъ ослабѣвшую, стройную Дору, а изъ этого самого дома слышались эти же самые звуки, далеко разносившіеся въ тихомъ воздухѣ теплой ночи.

«Все живо, только ея нѣтъ», подумалъ онъ.

Вѣра Сергѣевна словно подслушала думы Долинскаго, и съ необыкновеннымъ чувствомъ и задушевностью запѣла:

Ахъ, покиньте меня,

Разлюбите меня

Вы, надежды, мечты заботы!

Мнѣ ужъ съ вами не жить,

Мнѣ васъ не съ кѣмъ дѣлить,—

Я одинъ, а кругомъ все чужіе.

Много мукъ призналъ я,
Быль и другъ у меня,
Но надолго насъ съ нимъ разлучилъ.
Тамъ подъ черной сосной,
Надъ шумящей волной
Друга спать навсегда положилъ.

— Нравится это вамъ? спросила, быстро повернувшись лицомъ къ Долинскому, Вѣра Сергѣевна.

— Вы очень хорошо поете.

— Да, говорятъ. Хотите еще что нибудь въ этомъ родѣ?

— Я радъ васъ слушать.

— Такъ въ этомъ родѣ, или въ другомъ?

— Чтò вы хотите, Вѣра Сергѣевна.

— Въ этомъ, если вамъ угодно, добавилъ онъ черезъ секунду.

Вьется ласточка сизокрылая
Подъ моимъ окномъ, одинешенька;
Подъ моимъ окномъ, подъ косячатымъ
Есть у ласточки тепло гнѣздышко.

Вѣра Сергѣевна остановилась и спросила:

— Нравится?

— Хорошо, отвѣчалъ чуть слышно Долинскій.

Вѣра Сергѣевна продолжала:

Слезъ горькія утираючи,
Я гляжу ей вслѣдъ воспоминаючи,
У меня была тоже ласточка
Сизокрылая, душа-пташечка,
Да, слѣла ужъ ей судьба гнѣздышко,
Во сырой землѣ вѣковѣчное.

— Вѣра! крикнула изъ гостиной Серафима Григорьевна.

— Чтò прикажете, татамъ?

— Терпѣть я не могу этихъ твоихъ панихидъ.

— Это я для т-г Долинскаго, татамъ, пѣла, отвѣчала Вѣра Сергѣевна, и искоса взглянула на своего вдругъ омрачившагося гостя.

— Другого голоса недостаетъ, я привыкла пѣть это дуэтомъ, произнесла она, какъ-бы ничего не замѣчая, взяла новый абордъ и запѣла: *По небу полночи*.

— Вторите мнѣ, Долинскій, сказала Вѣра Сергѣевна, окончивъ первыя четыре строфы.

— Не умѣю, Вѣра Сергѣевна.

— Все равно, какъ нибудь.

— Да я дурно пою.

— Ну, и пойте дурно.

Онучина взяла аккордъ и остановилась.

— Тихонько будемъ пѣть, сказала она, обратясь къ Долнпскому. — Я очень люблю это пѣть тихо, и это у меня очень хорошо идетъ съ мужскимъ голосомъ.

Вѣра Сергѣевна опять взяла аккордъ и снова запѣла; Долнпскій удачно вторилъ ей довольно пріятнымъ баритоновъ.

— Отлично! одобрила Вѣра Сергѣевна.

Она артистично выполнила какую-то трудную итальянскую арію, и взявъ непосредственно затѣмъ новый, сразу щиплющій за сердце аккордъ, запѣла:

Ты не пой, душа дѣвица,
Пѣснь Италиі златой,
Озаруй меня, пѣвица,
Пѣснью родины святой.
Все родное сердцу ближе,
Сердце чувствуетъ сильнѣй.
Ну, запой же! Ну, напѣй же!
«Соловей, мой соловей.»

Долнпскій не выдержалъ, и самъ безъ зова присталъ къ голосу пѣвицы, тронувшей его за ретивое.

— Charmant! Charmant! произнесъ чей-то незнакомый голосъ, и съ террасы въ залу вступила высокая старушка, съ строгимъ, немножко желчнымъ лицомъ, въ очкахъ и съ сѣдыми булями. За нею шелъ молодой господинъ, совершеннѣйшій петербургскій comme il faut настоящаго времени.

Это была княгиня Стугнина, богатая помѣщица, вдова, нѣкогда звѣзда восточная, нынѣ богъ-знаетъ что такое — особа, всѣмъ недовольная и все осуждающая. Обиженная недостаткомъ вниманія отъ молодой петербургской знати, княгиня уѣхала въ Ниццу, и живетъ здѣсь четвертый годъ, браня заурядъ все русское и все заграничное. Молодой человекъ, сопровождавшій эту особу, былъ единственный сынъ ея, молодой князь Сергѣй Стугнинъ, получившій мѣсто при одномъ изъ русскихъ посольствъ въ западныхъ государствахъ Европы. Онъ ѣхалъ къ своему мѣсту, и завернулъ на нѣсколько дней повидаться съ матерью.

Онучины очень обрадовались молодому князю: онъ былъ свѣжій гость изъ Россіи, и слѣдовательно могъ сообщить самыя свѣжія новости, что никакъ тамъ дома. Сергѣй Стугнинъ былъ человекъ весьма умный, и очевидно не былъ среди мелкихъ и

однообразныхъ интересовъ своей узкой среды бомонда, а стоялъ въ контрастъ съ самыми разнообразными вопросами отечества.

— Крестьяне даже мои, напримѣръ, крестьяне не хотятъ мнѣ платить оброка, жаловалась Серафима Григорьевна. — Скажите пожалуйста, отчего это, князь?

— Вѣроятно, въ томъ выгоду не находятъ, отвѣчала вмѣсто сына старуха Стугина.

— Вотъ, но что же дѣлать, однако, должны мы, помѣщики? Вѣдь намъ же нужно жить?

— А они, я слышала, совсѣмъ не находятъ и въ этомъ никакой надобности, опять спокойно отвѣчала княгиня.

Молодой Стугинъ, Вѣра Сергѣевна и Долинскій разсмѣялись.

Серафима Григорьевна посмотрѣла на Стугину и понюхала табакъ изъ своей золотой табакерки.

— Ваша мама иногда говоритъ ужасныя вещи, отнеслась она шуточно къ князю. — Просто, самой яростной демократкой является.

— Это неудивительно, Серафима Григорьевна. Впервые, мама, такимъ образомъ, не отстаётъ отъ отечественной моды, а восторжествуетъ, и въ самомъ дѣлѣ, какой же ужъ теперь аристократизмъ? Все смѣшалось, всѣ равны становимся.

— Кнутъями болѣе никого, слава-богу, не порятъ, подсказала старая княгиня.

— Мужики и купцы покупаютъ земли и становятся такими же помѣщиками, какъ и вы, и мы, и Рюриковичи, и Гедиминичи, досказалъ Стугинъ.

— Ну... вѣдь въ васъ, князь, въ самомъ есть частица рюриковской крови, добродушно замѣтила Онучина.

— У него она, кажется, въ дѣтствѣ вся носомъ вытекла, сказала княгиня, не то съ неуваженіемъ къ рюриковской крови, не то съ легкой ироніей надъ сыномъ.

Старая Онучина опять понюхала табакъ и тихо молвила:

— Говорятъ... не помню, отъ кого-то я слышала: разводы ужъ будто у насъ скоро будутъ?

— Едва-ли скоро. По крайней-мѣрѣ, я ничего не слыхала о разводахъ, отвѣчалъ князь.

— Это удивительно! Твой дядюшка только о нихъ и умѣетъ говорить, опять встала Стугина.

Князь улыбнулся и отвѣтилъ, что Онучина говоритъ совсѣмъ не о полковыхъ разводахъ.

— Ахъ, простите, пожалуйста! серьёзно извинялась княгиня. — Миѣ, когда говорить о Россіи и тутъ же о разводахъ — всегда представляется плац-парадъ, трубы и мой братъ, Кесарь Степанычъ съ крашеными усами. Да и на что намъ другіе разводы? — Совсѣмъ не пужно.

— Совершенно лишнее, поддерживалъ князь. — У насъ есть новые люди, которые будутъ безъ всего обходиться.

— Это *нигилисты*? воскликнула m-lle Вѣра. — Ахъ, расскажите, князь, пожалуйста, чтѣ вы знаете объ этихъ забавныхъ людяхъ?

Князь не имѣлъ о нигилистахъ чудовищныхъ понятій, ходившихъ насчетъ этого страннаго народа въ нѣкоторыхъ общественныхъ кружкахъ Петербурга. Онъ рассказывалъ очень много курьёзнаго о ихъ нравахъ, обычаяхъ, стремленіяхъ и образѣ жизни. Всѣ слушали этотъ рассказъ съ большимъ вниманіемъ; особенно слѣдилъ за нимъ Долинскій, который узнавалъ въ рассказѣ развитіе идей, оставленныхъ имъ въ Россіи еще въ зародышѣ, и старая княгиня Стугина. Серафима Григорьевна тоже слушала, даже и очень равнодушно. Она не одинъ разъ перебивала Стугина вопросомъ:

— Ну, а позвольте, князь... Какъ же они того... чтѣ, бишь, я хотѣла это спросить?...

Стугинъ останавливался.

— Да, вспомнила. — Какъ они этакъ...

— Живутъ?

— Нѣтъ, не живутъ, а, напимѣръ, если съ ними встрѣтишься, какъ они... въ какомъ родѣ?

Князь не совсѣмъ понималъ вопросъ; но его мать спокойно посмотрѣла черезъ свои очки и подсказала:

— Я думаю, должно быть что-нибудь въ родѣ Ягу, которые у Свифта.

— Чтѣ это за Ягу, княгиня?

— Ну, будто не помните, чтѣ Гуливеръ видѣлъ? На которыхъ лошади-то ѣздили? Ну, люди такіе, или нелюди такіе, лохматые, грязные?

— Ну, чтѣ это? воскликнула Серафима Григорьевна. — Неужто, князь, они, въ самомъ дѣлѣ, въ этомъ родѣ?

— Немножко, отвѣчалъ, смѣясь, Стугинъ.

— Полагаю, трудно довольно отличить коня отъ всадника, подержала сына княгиня.

— Ну, чтѣ это! Это ужъ даже неприятно! опять восклицала

Онучина, воображая, вѣроятно, какъ косматые петербургскіе Ягулазять по деревьямъ въ лѣтнемъ саду, или на елагинскомъ пуантѣ и швыряютъ сверху всякими нечистотами. — И женщины такія жь бываютъ? спросила она черезъ секунду.

— Два пола въ каждомъ родѣ должны быть необходимо—иначе родъ погибнетъ.

— Это ужасно! А, впрочемъ, вѣдь я какъ-то читала, что гориллы въ Африкѣ, или шимпанзѣ, тоже будто уносятъ къ себѣ женщинъ?

Серафима Григорьевна вся содрогнулась.

Князь Сергій очень распространился насчетъ отношеній нигилистокъ къ нигилистамъ и, владѣя хорошо языкомъ, разсказалъ нѣсколько очень забавныхъ анекдотовъ.

— Дуры! произнесла по окончаніи разсказа Серафима Григорьевна.

— И пожить-то какъ слѣдуетъ не умѣютъ! смотря черезъ очки добавила княгиня.

— Но это все презабавно, замѣтила Вѣра Сергѣевна, и вышла съ молодымъ княземъ на терасу.

— Довоспиталась сторонунка! дозрѣла! Скотный дворъ настоящій дѣлается! презрительно уронила Стугина.

Серафима Григорьевна понюхала съ особеннымъ удовольствіемъ табачку, и улыбнувшись спросила:

— Вы, Елена Степановна, помните Вастилу?

— Княжну Палагею Никитищну? спросила, немного надвинувъ брови, Стугина.

— Да.

— Ну, кто жь ее не помнить?

— Но, впрочемъ, та вѣдь... то все-таки совсѣмъ въ другомъ родѣ?

— Ну, еще бы!

Старушки обѣ задумались.

— Или княгиню Марюу Викторовну въ ту пору, какъ она съ своимъ мужемъ разсталась? спросила Серафима Григорьевна опять черезъ минуту.

— Ужъ именно! отвѣчала, покачавъ головой, Стугина.

— Бѣсъ въ нее вселился. Очень ужъ проказила!

— Проказила княгиня; но какъ хороша-то была!

Серафима Григорьевна съ умиленіемъ смотрѣла на стѣну, воображая, передъ собою воспоминаемую княгиню Марюу Викторовну.

Теперь, въ свою очередь, Стугина понюхала табачку, и какъ бы не хотя спросила:

— Да, была хороша точно... да съ вѣтъ, бишь, она изъ Россіи-то пропала?

— Изъ Россіи? — Изъ Россіи она уѣхала съ этимъ... какъ его?... ну, да все равно — съ французскимъ актёромъ, а потомъ была наѣздницей въ циркъ въ Лондонѣ; а послѣ князя Петра, ужъ за границей, ужъ самой сорокъ лѣтъ было, съ молоденькой, и съ прехорошенькой женой развела... Такая грѣховница!

— А потомъ-тѣ! потомъ-то! опять воскликнула, оживляясь, Серафима Григорьевна.

— Да, съ галерникомъ, я слышала, въ Алжиръ бѣжала.

— Страшный былъ такой!

— Помню я его — арабъ, весь оливковый, носъ, глаза... весь страсть неистовая! Точно, что чудо какъ былъ интересенъ. Она и съ арабами, вѣдь, кажется, кочевала. Кажется, такъ? Ее тамъ встрѣтилъ одинъ мой знакомый путешественникъ — давно, это, ужъ лѣтъ двадцать. У какого-то шейха, говорятъ, была любовницею, что ли.

— Да, да, да; и имъ-то, и этимъ шейхомъ-то даже какъ ребѣнкомъ управляла! подсказывала, все болѣе оживляясь и двигаясь на креслѣ, Серафима Григорьевна.

— Или княжна Агрипина Лукинична! произнесла она черезъ минуту, смотря пристально въ глаза Стугиной.

— Княжна Содомская, какъ называлъ ее дядя Леонъ, проропила въ видахъ поясненія Стугина. — Не люблю ея.

— За что, княгиня?

— Такъ, ужъ черезчуръ какъ-то она... специалистка была великая.

— Ну, не говорите этого, душечка княгиня; въ Сибири она себя вела, можетъ быть, какъ никто.

— Чтò же это пменно? что за мужемъ въ ссылку-то пошла? Очень великое дѣло!

— Нѣтъ-съ мало, что пошла, а какъ жила? чтò вынесла?

— Я думаю, ничуть не больше другихъ.

— Сама болѣе ему стирала, сама щи варила, въ юртѣ какой-то жила...

— Ну, и чтò жъ тутъ такого? чтò жъ тутъ такого, чудовищнаго?

— Да вонъ кузень Grégoire—вы знаете, вѣдь его послѣ амнистїи тоже возвратили.

— Слышала.

— Говорить, что всѣ они—эти несчастные декабристы, которые были вмѣстѣ, иначе ее и не звали, какъ матерью: идемъ, говорить, бывало, на работу изъ казармы—зимою, въ полѣ темно еще, а она сидитъ на снѣжку съ корзиной и лепешки намъ раздаетъ—всякому по лепешкѣ. А мы, бывало: мама, мама, мама наша родная! кричимъ и лѣземъ хоть налету ручку ея поцаловать.

Серафима Григорьевна сморгнула слезу, и кашлянула.

— Какъ, бывало, увидимъ ее, продолжала Серафима Григорьевна:—какъ только еще издали завидимъ ее, всѣ бѣжимъ и кричимъ: «мама наша идетъ! родная идетъ!»—совсѣмъ, какъ галченята.

Серафима Григорьевна не совладѣла съ слезой, и должна была отвернуться.

— Это прекрасно все, начала тихо Стугина:—только героизмъ то все-таки тутъ никакого нѣтъ. Бабки наши умѣли терпѣть, какъ имъ ноздри рвали и руки вывѣртывали, а тутъ — что-жъ тутъ такого, скажите на милость?... Еще бы въ несчастїи бросить!

— А, вѣдь бросаютъ же, княгиня, возразила, поворачиваясь, Серафима Григорьевна.

— Приказничихи или поповны, очень можетъ быть—не стану спорить.

— Ну, нѣтъ, княгиня, я знаю... я вотъ теперь слышала про одну, совсѣмъ не приказничиху, а...

— Ахъ, помилуйте, ма сѣге Серафима Григорьевна! не знаю, кого вы такую знаете, или про кого слышали; но во всякомъ случаѣ, если это не приказничиха, такъ кабая нибудь другая *raisonne méprisable*, о которой все-таки говорить не стоитъ.

Серафима Григорьевна помолчала, и потомъ смакуя каждое свое слово, произнесла:

— А я, какъ вы хотите, все опять къ княжнѣ Агрипинѣ. Какъ вы тамъ хотите говорите, ну, а все... изъ такой роскоши... изъ свѣта... и въ какую-то дымную юрту... Ужасно!

— Вы это такъ говорите, какъ-будто бы вы сами не пошли бы ни за что?

— Ахъ, нѣтъ; Боже меня сохрани! Не дай Богъ такого несчастья; но, разумѣется, пошла бы.

— Ну, такъ что же вы такъ восхваляете княжну Агрипину Лукиничну! Конечно, все-таки и она была не бйшка какая-нибудь, а все-таки женщина; но, вѣдь повторяю, если такія ничтожныя вещи ставить женщинѣ въ особую заслугу, такъ, я думаю, очень много найдется имѣющихъ совершенно такія же права на дань точно такого же изумленія.

— Ахъ, Боже мой! представьте, я вѣдь совершенно забыла, что вѣдь и вы тоже...

— Да я что тамъ была—безъ году недѣлю... а впрочемъ, да: бѣлье мужу тоже стирала, и даже послѣ мужниной смерти пироги нашимъ арестантамъ верстъ за семь въ латкѣ носила.

— По снѣгу!

— Какой наивный вопросъ, та сѣге Серафима Григорьевна! Княгиня весело засмѣялась.—Вы, пожалуйста, не сердитесь, что я смѣюсь; я вспомнила, какъ вы боптесь снѣгу.

— Ахъ, ужасъ! Зима это... это... оцѣпленіе; это... я просто не знаю, что это такое.

Стугина смотрѣла въ открытую дверь, и вспомнила что-то особенно для нея милое и почтенное

— Нѣтъ, вотъ, сказала она, вздохнувъ:—вотъ графиню Нину, да ея гувернантку... Какъ она называлась: Eugénie или Eudoxie, этихъ женщинъ стоитъ вспомнить и передъ пменами ихъ поклониться.

Въ комнатѣ наступила минута безмолвной тишины, какъ-бы въ память этихъ двухъ женщинъ, передъ одними пменами которыхъ хотѣла поклониться непреклонная, сѣдая голова Стугиной.

— Въ этотъ разъ, когда вы были въ Россіи, вы не видали графини Нины? спросила она послѣ паузы Онучину.

— Нѣтъ, не удалось мнѣ побывать за Москвою.

— Сестра моя Анна была у нея въ монастырѣ. Пишетъ, что это живой мертвецъ; совершенная, говоритъ, адамова голова, обтянукая желтой кожей.

Серафима Григорьевна опять повернулась на креслѣ, и глядя въ растворенное окно, нервно обрывала на болѣнѣ зелено-сѣрый, бархатный листочекъ «Люби-да-помни».

— Да, произнесла она черезъ минуту:—да, умѣли кутить, но и любить умѣли.

— Люди были; «былъ вѣкъ богатырей», какъ написалъ Давыдовъ.

— А нынче все это... какая-то...

— Дребедень, рѣшила княгиня.

— Все это какъ-то... что-то такое хотать дѣлать, и все...

— Наши старыя платья наизнанку по бѣдности своей донашиваютъ, закончила княгиня, поправляя на вискахъ свои сѣдыя булки.

— И этотъ царь! проговорила она, складывая съ умплениемъ свои аристократическія руки и снова улетая въ свое прошедшее.—Этотъ божественный, прекрасный Александръ Павловичъ! этотъ благороднѣйшій рыцарь! этотъ джентльменъ съ головы до ногъ!

— Какіе люди и какое время было!

— То-то, добавляйте, пожалуйста, всегда: *было*, заключила Ступина.

Старушки помолчали, посплснсь въ сферѣ давно мпшувшаго; потихоньку вздохнули и опять взошли въ свое сѣдое настоящее, Самъ Ларошфуко, такъ хорошо знавшій, о чемъ сожальють подъ старость женщины, не совсѣмъ бы вѣрно разгадалъ эти два тихіе, сдержанные взвоя, со всею бѣшеною силою молодости вырвавшіеся изъ родившей ихъ отцвѣтшей, старушечьей груди.

Во время этой бесѣды, безмолвнымъ слушателемъ которой оставался одинъ Долинскій, на тепло прогрѣтую землю спустился сине-розовый итальянскій вечеръ; Вѣра Сергѣевна съ молодымъ Ступинымъ вернулись съ террасы и всѣмъ вздумалось пройтись къ морю. Дорогой княгиня совсѣмъ потеряла свой желчный тонъ и даже очень оживилась; она рассказала нѣсколько скабрѣзныхъ исторіекъ изъ маловѣдомаго намъ міра и вѣка, и каждая изъ этихъ исторіекъ была гораздо интереснѣ свѣтскихъ рамановъ одной русской писательницы, по мнѣнію которой, влюбленный человѣкъ «хорошаго тона» въ самую горячую минуту страсти ничего не можетъ сдѣлать умнѣе, какъ съ большимъ жаромъ поцѣловать ея руку *и прочесть ей слѣдующее стихотвореніе Альфреда Мюссе...* Стихотвореніе это я не выпиываю, опасаясь, чтобы оно не ко времени не припомнилось кому нибудь изъ моихъ чпателей, которому еще суждено въ жизни увидѣть

Рядъ волшебныхъ измѣненій
Милаго лица.

Я не хочу, чтобы эти прекрасные стихи заставили впечатлительнаго несчастливца возненавидѣть очень хорошаго поэта Альфреда Мюссе.

Долинскій слушалъ рассказы княгини, порою смѣялся и вообще былъ занятъ, былъ заинтересованъ ими, не меньше всѣхъ

прочихъ слушателей. Онъ возвратился домой въ такомъ веселомъ расположеніи духа, въ какомъ не чувствовалъ себя еще ни разу съ самой смерти Доры.

Х.

Не куется, а плющится.

Долинскій зажегъ у себя огонь и прошелся нѣсколько разъ по комнатѣ, потомъ раздѣлся и легъ въ постель, размышляя о добромъ старомъ времени. Онъ уснулъ подѣ впечатлѣніями, навѣянными на него разсказомъ строгихъ старушекъ. «Вотъ взойдетъ въ свою пору Вѣра Сергѣевна», думалъ онъ, засыпая: «и она, пожалуй; будетъ дѣлать такія же чудеса. Отчего же ей ихъ и не дѣлать?... А теперь она еще, кажется, дѣвушка хорошая. Любитъ ей очень хочется, говорила Даша, да почему Даша это могла знать?... Вздоръ это!... А какая у нея, однако, фигура! Рука какая... У Доры была крошечная лапка, но не такая. И какаа грація во всемъ! Раса, значить.—Конечно, онѣ не рождены для вдохновеній и молитвъ; но бедуинкой—на арабскомъ конѣ разѣзжать съ оливковымъ шейхомъ...» И вотъ видится Долинскому Вѣра Сергѣевна на огневомъ арабскомъ конѣ, а возлѣ нея статный шейхъ въ бѣломъ плащѣ, и этотъ шейхъ самъ онъ Долинскій. «Поскачемъ», говоритъ ему Вѣра Сергѣевна, и они несутся, несутся; кругомъ палящій зной, въ сонномъ воздухѣ тихо дремлютъ одинокія пальмы; изъ мелкаго кустарника выскочилъ желтый левъ, прыгнулъ, и притаясь легъ вровень съ травой.—«Не отставай!» говоритъ ему Вѣра Сергѣевна, оскорбляя своего скакуна ударомъ. «Не отставай!» повторяетъ она, уносясь отъ него далѣе. «Не отставай же, не отставай!» кричитъ она чуть слышно, вовсе исчезая изъ его глазъ за красною чертою огненного горизонта. Конь Долинскаго ни съ мѣста, онъ хрипитъ и пятится. На небѣ темнѣетъ, надвигаетъ ночь, лошадь Долинскаго все дрожитъ, все мнется и на немъ самомъ не плащъ, а бѣлый хошевой саванъ, и лошадь его ужъ совсѣмъ не лошадь, а сѣрый волкъ. «Утки крикнули, берега звякнули, море взболталось, тростники всколыхались, просыпается гамаюнъ-птица, шевелится зеленый боръ», заляскалъ, стучая челюстями, сѣрый волкъ. «Хочешь, я спою тебѣ веселую нѣсенку?» спрашиваетъ сѣрый волкъ, и не дожидаясь отвѣта, затягиваетъ: «Вѣчная память, вѣчная память».

«Ничто, мой другъ, не вѣчно подъ луною!» съ веселымъ хохотомъ прокричала бѣшено пронесшаяся мимо его на своемъ скакунѣ Вѣра Сергѣевна. «Ничто, мой другъ, не вѣчно подъ луною», внушительно рассказываетъ Долинскому долговязый шейхъ, раскачиваясь на высокомъ сѣдлѣ. Долинскій только хотѣлъ взглянуть въ этого шейха, но того уже не было, и его бѣлый бурнусъ развѣвается въ темнотѣ возлѣ стройной фигуры Вѣры Сергѣевны.

Долинскій хотѣлъ что-то сказать, но вдругъ около него зашевелилась трава, вдругъ она начала расти и расти, такъ-что слышно было, какъ она растетъ. Росла она быстро и высоко— выше роста человѣческаго; изъ нея отовсюду безпрестанно вылетали огненные свѣтляки и во всѣхъ направленіяхъ описывали правильныя, блестящія параболы; въ неподвижномъ воздухѣ спирался невыносимый зной, и удушающій запахъ зеленыхъ майскихъ мушекъ.

Долинскій задыхался, а свѣтляки передъ нимъ все мельбали, и зеленыя майки начались на гнутыхъ стебляхъ травы, и наполнили своимъ удушливымъ запахомъ неподвижный воздухъ, а трава все растетъ, растетъ и ужъ Долинскому и нечѣмъ дышать, и негдѣ повернуться. Отъ страшной, жгучей боли въ груди онъ болѣзненно вскрикнулъ, но голосъ его беззвучно замеръ въ сонномъ воздухѣ пустыни, и только переросшая траву, задумчивая пальма тихо покачала ему своей печальной головкой.

Долинскій проснулся, тяжело вздохнулъ и оглянулъ комнату. Стѣны чуть сѣрѣли слабымъ предвосходнымъ мерцаніемъ, и прямо передъ лицомъ Долинскаго, едва обрисовывалась на гвоздѣ соломённая шляпа Доры. «Дайте мнѣ пожалуйста эту шляпу», попросила его Вѣра Сергѣевна, чуть только онъ заснулъ снова. «Я скакала, ахъ, какъ я скакала цѣлую ночь!» весело говорила она ему, вся пылая свѣжимъ румянцемъ: «и вообразите, я потеряла мою шляпу въ Африкѣ. — Тамъ теперь растетъ ужасная трава, въ которой ничего нельзя найти. Вы знаете эту траву?

— О, я ее очень хорошо знаю, подумалъ Долинскій.

— А если знаешь, заговорила Вѣра Сергѣевна:—такъ подавай же мнѣ скорѣй, скорѣе подавай мнѣ эту шляпу своей мертвой Доры. Голосъ у Вѣры Сергѣевны былъ рѣзкій, какъ трескъ дѣтскаго барабана, но такой голосъ, что нервы его трепетали и мышцы сами спѣшили исполнять ея приказы. — Тише, тише! закричала ему Вѣра Сергѣевна, когда Долинскій коснулся руками

полей доружкиной шляпы. Долинскій оглянулся. — Развѣ не видишь, что тамъ паутина? Тамъ пауки сидятъ, мерзкіе, скверные пауки живутъ въ этой гадкой шляпѣ! И ты думалъ, что я ее надѣну! И ты это думалъ!... Ха, ха, ха! Вѣра Сергѣевна захотала. — Пауки? Зачѣмъ же пауки? подумалъ обиженный Долинскій, и пристально взглянулъ на шляпу. Съ полей ея почти до земли падалъ длинный газовый вуаль, и подъ дымкой этого вуаля что-то бѣлѣлось. Еще секунда, и тихо, какъ легкая туманная картина, подъ нимъ обрисовывается мертвая головка Доры. Глаза ея закрыты, на лицѣ могильная сѣрая пыль, и подъ ней суровая печать смерти, синія уста шевелются безъ звука. Откуда-то взялся сѣрый большой паукъ, торопливо закосилъ всѣми своими длинными ногами, проворно пробѣжалъ по мертвому лицу и скрылся на плечѣ въ золотыхъ кудряхъ. На лбу ворочала скользкими усиками сѣрая стѣнная мокрица. Вездѣ была сѣро-зеленоватая плѣсень, отовсюду несло холодомъ и могилой.

— «Мѣсяцъ свѣтитъ, мертвецъ ѣдетъ, не боишься ли ты меня, добрый молодецъ?» спрашиваетъ Дора.

Голосъ у нея не рѣзкій, какъ у Вѣры Сергѣевны, а какой-то гулкій, круглозвучный, словно запоздалая цапля тяжело машетъ крыльями, пролетая темной ночью надъ соннымъ болотомъ. И въ самомъ дѣлѣ, это совсѣмъ даже не голосъ. Уста мертвой не движутся, а могильная пыль не шевелится ни на одномъ мускулѣ ея лица, и только тяжелыя вѣки медленно распахиваются, открываютъ на мгновеніе злые, зеленые, лишенные всякаго блеска глаза, и опять такъ же медленно захлопываются, но зеленые зрачки все съ тою же злостью смотрятъ изъ-подъ верхняго вѣка.

— Чѣмъ же ты обижена? Скажи, чѣмъ оскорбилъ я тебя? протягивая руки спрашивалъ Долинскій, но вмѣсто отвѣта у него надъ самымъ ухомъ прогорланилъ пѣтухъ, и вдругъ все сникло. Долинскій проснулся.

На дворѣ было утро, подъ окномъ расхаживалъ голосистый красный пѣтухъ, а изъ маленькаго чулана за палисадникомъ раздавалось веселое кудахтанье двухъ фаворитныхъ куръ домовитой французенки.

Свѣжее утро не произвело на Долинскаго хорошаго вліянія; онъ всталъ сумрачный и разстроенный; долго ходилъ въ большомъ безпокойствѣ изъ угла въ уголъ, и наконецъ сѣлъ за работу.

— Madame Бюжарь! сказалъ онъ, когда французенка подала ему кофе:—я впередъ не буду поднимать шторы.

— Bon, отвѣчала хозяйка.

— А вы, madame Бюжаръ, если кто меня будетъ спрашивать, говорите всѣмъ, что я боленъ.

— C'est bien, monsieur.

— Что я ушелъ куда-нибудь, или уѣхалъ — ну, какъ тамъ хотите.

— C'est ça, monsieur.

— Hélas! pauvre diable, comme il est triste! говорила французенка, выходя отъ постояльда, и съ состраданіемъ качая своей сѣдой головою.

Долинскій въ этотъ день работалъ по обыкновенію до самыхъ сумерекъ. Никто его не отвлекалъ и не беспокоилъ. Передъ вечеромъ m-me Бюжаръ принесла ему обѣдъ.

— Madame, сказалъ онъ ей:—не носите мнѣ болѣе обѣда.

— Mon Dieu! не хотите ли вы уморить себя голодомъ?

— Нѣтъ, я боленъ. Вы мнѣ покупайте немножко зелени и хлѣба. Я болѣе ничего не могу ѣсть.

Французенка молча смотрѣла на него во всѣ глаза.

— Adieu, madame Бюжаръ, сказалъ онъ, взявъ и пожавъ ея руку.

Старуха только изумлялась.

— Это чортъ-знаетъ чтѣ такое, говорилъ порывисто, вскочивъ и торопливо запирая на ключъ свою дверь Долинскій.—Какое мнѣ дѣло до этихъ барынь, и до ихъ тамъ какихъ-то подвиговъ? чтѣ мнѣ тамъ такое! повторялъ онъ киняться, и съ негодованіемъ бѣгая изъ угла въ уголь.—Чтѣ мнѣ за дѣло до ихъ какихъ-то свѣтскихъ скандаловъ, или до какихъ-то Ягү! У меня пропало, *пропало* съ земли все, чѣмъ мнѣ миль былъ свѣтъ бѣлый, а я буду утѣшаться! Буду смѣяться! слушать! разговаривать! О чемъ мнѣ разговаривать? О чемъ мнѣ разговаривать, когда *все умерло*, стинуло, пропало, *стинуло*!...

Онъ сердито повернулъ въ сторону, сѣлъ къ столу, и упорно, не разгибаясь, работалъ до вечера. Къ сумеркамъ Долинскій, значительно успокоенный, снова долго ходилъ изъ угла въ уголь по залѣ. Машинально онъ иногда останавливался передъ какою-нибудь одною вещью, осматривалъ ее, трогалъ рукою и опять шелъ далѣе, до новаго желанія тронуться до чего нибудь другаго. Остановясь у столика, на которомъ стояла лампа, онъ вытащилъ изъ-подъ нея небольшую книжечку избранныхъ мыслей изъ ученія Спинозы, перелистовалъ небрежно страницы, и вдругъ остано-

вился. Между двумя печатными листками, спокойно и молчаливо притаясь, лежалъ листокъ почтовой бумаги, на которомъ было сдѣлано нѣсколько короткихъ замѣтокъ рукою Доры, и въ концѣ послѣдней замѣтки прибавлено: «сегодня до 87-ой стр.». Стояло число, шедшее за три дня до ея смерти.

Долинскій просмотрѣлъ замѣтки, и подойдя къ окну, пробѣжалъ три страницы далѣе доружкиной закладки, отнесъ книгу на столъ въ комнату Доры, и самъ снова вышелъ въ залу. Въ его маленькой, одинокой квартирѣ было совершенно тихо. Городской шумъ только изрѣдка доносился сюда съ легкимъ вѣтеркомъ черезъ открытую форточку, и ту же минуту замиралъ.

Настала ночь. Возшедшая луна, ударяя въ стекла окна, кидала на полъ три полосы блѣднаго свѣта. Въ воздухѣ было свѣжо; съ надворья пахло померанцами и розой. Въ форточку, весело гудя, влетѣлъ ночной жукъ, шибко треснулся съ разлета объ стѣну, зажузжалъ и отчаянно завертѣлся на своихъ роговыхъ надкрыліяхъ.

Долинскій остановился, бережно взявъ со стола барахтавшася на спинкѣ жука, и поднесъ его на ладони къ открытой форточкѣ. Жукъ дрыгнулъ своими пружинистыми ножками, широко разставилъ въ стороны крылья, загудѣлъ и понесся. Съ надворья въ лицо Долинскому пахнула ароматная струя чрезмѣрно теплаго воздуха; ласково шевельнула она его сухими волосами, какъ будто что-то шепнула на ухо, и безслѣдно разлилась по комнатѣ.

— Собака... кошка... мышь—жива, а нѣтъ Корделіи! Вотъ этотъ жукъ летаетъ лунной ночью, а Дора мертвая лежитъ въ сырой! могилѣ! мелькнуло въ головѣ Долинскаго.

Онъ продолжалъ стоять у окна, и глядѣлъ въ открытую форточку на дремлющіе въ тѣни кусты и цвѣточныя клумбы. Луна била ему прямо въ лицо, и ярко обливала своимъ желтымъ свѣтомъ всю верхнюю часть его тѣла.

Еслибы въ это время кто-нибудь увидѣлъ въ форточкѣ его красивое, до мертвенности блѣдное лицо, эффектно освѣщенное луною, тотъ непременно отскочилъ бы отъ него въ сторону, и поневолѣ вспомнилъ бы одну изъ очаровательныхъ легендъ о душахъ, бродящихъ на землѣ въ ожиданіи прощенія своихъ земныхъ согрѣшеній. Уставшіе глаза Долинскаго смотрѣли съ тихою грустью и беспредѣльною добротою, и какъ-то совсѣмъ ничего земнаго не было въ этомъ взглядѣ; въ лицѣ его тоже ни одинъ мускулъ не двигался, и даже, кажется, самое сердце не би-

*

лось. Это былъ Наль, разлученный съ своей Дамаянти; это было воплощеніе идеи духа, для котораго нѣмы всѣ пѣсни земли, который знаетъ другія пѣсни, и полонъ томительнаго желанія снова услышать ихъ памятные звуки.

Долинскій, въ самомъ дѣлѣ, не былъ съ самимъ собою. Словно на волшебныхъ крыльяхъ воспоминаніе его облетало все ему нѣкогда милое, все живущее далеко, и спящее въ своихъ тихихъ гробахъ. Дѣтство, сердитый старикъ Днѣпръ, раздольная заднѣпровская пойма, облитая такимъ же серебристымъ свѣтомъ; сестра съ курчавой головкой, братъ, отецъ въ синихъ очкахъ съ огромной четы-мнineeй, мать, Анна Михайловна, Дора—все ему было гораздо ближе, чѣмъ онъ самъ себѣ и оконная рама, о которую онъ опирался головою. Онъ совсѣмъ видѣлъ эту широкую пойму, эти песчаные острова, заросшіе густой лозою, которой вольнолюбивый черторей каждую полночь начинаетъ рассказывать про ту чудную долю — минувшую, когда пойма цѣлымъ Днѣпромъ умывалась, а въ головы горы клала и степью укрывалась; видѣлъ онъ и темный, черный боръ, заканчивающій картину; онъ совсѣмъ видѣлъ Анну Михайловну, слышалъ, что она говоритъ, зналъ, что она думаетъ; онъ видѣлъ мать и чувствовалъ ея присутствіе; съ нимъ неразлучно была Дора. Они были гдѣ-то. *Гдѣ же?* Гдѣ-то, гдѣ и онъ; да и что за дѣло, гдѣ?... Но она есть; она существуетъ—*Умерла!* говорилъ себѣ Долинскій, стоя въ своемъ прежнемъ положеніи.—И что жъ такое, что умерла?—Нѣтъ ея; *совѣсть нѣтъ* — сгнила... Эта воля, эта душа, этотъ умъ—все, все это *сгнило*... Столько жизни пропало безъ слѣда... что жъ я люблю теперь... въ чемъ тѣла нѣтъ, нѣтъ жизни; ни тѣни нѣтъ, ни звука слабаго...

Среди жуткаго ночнаго безмолвія, за спиною Долинскаго что-то тихо треснуло и зазвучало, какъ лопнувшая гитарная квинта. Долинскій вздрогнулъ и пожался къ оконницѣ. Безпокойно и съ неувѣренностью оглянулся онъ назадъ: все было тихо; мѣсяцъ прихотливо ложился широкими свѣтлыми полосами на блестящій полъ, и на одной половицѣ едва означалась новая, тоненькая трещинка, которой, однако, нельзя было замѣтить при лунномъ полусвѣтѣ.

Долинскій вздохнулъ, обернулся, и снова спойкойно сталъ къ окошку.

— Легко какъ поддаваться суевѣрному страху! разсуждать онъ, стоя попрежнему у открытой форточкѣ. — Треснетъ что-нибудь

въ пустой комнатѣ—и вздрогнешь, и готовъ пугаться, а воображеніе, по дѣтской привычкѣ, сейчасъ и подрисовываетъ, въ головѣ вдругъ пролетитъ то одно, то другое, и готовъ вѣрить, что все, что кажется, то будто неперемѣнно и есть... Милые, чистые, теплые всякою вѣрою дѣтскіе годы! Куда вы мннули, куда унеслись безвозвратно?... Все безвозвратно... Ушло, и нѣтъ его, а между тѣмъ, оно живетъ въ душѣ—былое... Въ *душѣ*!... Ну, въ *чемъ-то*, вѣдь вотъ живетъ же Дора во мнѣ самомъ, въ моей любви и мукахъ... Странная мысль! Луна одна все та же, вѣчно, а мнѣ сдается даже, что я ее видалъ совсѣмъ когда-то не такую... Вонъ этотъ бѣлый мотылекъ, что съ сумерекъ уснулъ на розовомъ листочкѣ, и дремлетъ, облитый дрожащимъ, луннымъ свѣтомъ, неужто чувствуетъ его точь въ точь, какъ и я?... А можетъ быть, что та же самая луна, ему совсѣмъ иной казалась, когда дней пять назадъ, подъ листочкомъ онъ спалъ безкрылою козявкой?... Навѣрно такъ; его глаза теперь, конечно, видятъ все иначе, и все теперь въ его сознаніи стоитъ совсѣмъ иначе... Два шага человѣческихъ съ трудомъ переползалъ онъ въ сутки и немощный выматывалъ себѣ тяжелый саванъ, и вотъ теперь, какая прелесть! два крылышка, на выкатъ глазки, жизнь въ свѣтломъ воздухѣ; воздушная любовь и сладкій сонъ на розовой постели... А онъ, вѣдь въ сущности, все тотъ же... Онъ измѣнился, да, но къ лучшему, конечно. А жукъ, который прилетѣлъ съ надворья, а я, а всѣ мы? Мы сгнить должны. Законъ природы... странно! Природа дышетъ и обновляется въ своемъ торжественномъ безсмертіи; луна ея сегодня свѣтитъ, какъ свѣтила въ ту ночь, которою въ ея глазахъ убить былъ братомъ Авель; и червячки съ козявками по смерти также оживаютъ, а Авель, а человѣкъ — вѣнецъ земной природы, гниетъ безслѣдно... Гдѣ Соломонъ? Гдѣ эта савская царица, которая такъ рабски шла, чтобъ положить свою дань благоговѣнія къ ногамъ царя и исполнина мысли?... Неужто исчезли оба — и этотъ царь, и эта савская царица исчезли!... Точно такъ исчезли, какъ дуралей какой-нибудь, который разгрызалъ лѣсной орѣхъ съ гораздо болѣе большимъ размышленіемъ, чѣмъ повторялъ по наслыху, что «ничто не ново подъ луною»? Не можетъ быть. И приходило ли этому дураку въ голову, какой страшный смыслъ, кабая ужасная загадка положена въ этихъ пяти словахъ, которыя болталъ его языкъ? А такъ-сказать, сболтнуть «ничто не ново подъ луною» вѣдь, кажется, и очень будто просто! И всего пять, *только пять* словъ... и мозгъ вер-

тится, изнемогаетъ мозгъ передъ ними и... нѣтъ яснаго отвѣта... Противорѣчій нить все путается больше, и вѣрить на слово приходится, что все живущее не ново...

Не ново!... Нѣтъ новаго, такъ старое жъ пропасть не можетъ... Все въ экономіи природы должно существовать, и самое гніеніе... одинъ пріемъ... одинъ процессъ и снова жизнь... Козавки нѣтъ — летаетъ мотылёкъ; умершій Соломонъ не новъ былъ подъ луною, и каждый такъ... Быть можетъ, я ужъ жилъ когда-то? Порой вѣдь, что-то помнится-жъ такое, чего никакъ себѣ растолковать не можешь, какой-то свѣтъ, такой совсѣмъ не солнечный, не огненный, не лунный; слова беззвучныя и звуки страннаго значенія... Быть можетъ, что Картушъ шнырялъ когда-нибудь лисицей прежде, иль волкомъ рыщетъ нынче Пугачевъ; Иуда въ кардинальской шапкѣ, а Каинъ въ обществѣ моравскихъ братій, и на одной ногѣ въ лѣсу стоитъ Ньютонъ дервишемъ. Самъ я, я думаю, что я, лѣтъ тридцать какъ всего возникшее твореніе, а можетъ быть... я жилъ еще въ Картушѣ, въ Магометѣ, или въ томъ трусѣ, который прибѣжалъ одинъ изъ тернопильскаго ущелья!... Да наконецъ, въ моемъ отцѣ иль въ матерп... Прямая вещь! Быть можетъ, Соломона мысль меня смущаетъ и волнуетъ совсѣмъ не случаемо, не спроста!... Вѣдь Соломонъ живетъ? Живетъ, конечно! Не ново здѣсь ничто, такъ старому нельзя, погибнуть, ибо иначе, какъ ничто не ново? Матерія! матерія и спл!... Да вѣдь поэзія, лиризмъ — вѣдь тоже силы... А пѣсня! Неужели-жъ не сила? А музыка, которая вліяетъ на животныхъ; которую приходятъ слушать рыбы!... А эта странная гармонія рѣчей, которыхъ «значеніе пусто и ничтожно, а пмъ безъ волненія внимать невозможно»? Да мало ли чего еще!... Не всѣ-жъ матеріи такъ тонки, что ихъ нашъ глазъ способенъ видѣть и отличать... Исторія видѣній, сновъ, предчувствій, ясна совсѣмъ не столько, чтобы рѣшить, одно ли то живетъ, чтó мѣста требуетъ въ пространствѣ. А если Соломонъ теперь такъ тонокъ, такъ прозраченъ, что можетъ стать передъ моимъ окномъ и не заслонить отъ глазъ моихъ листа, гдѣ дремлетъ этотъ мотылекъ? Не новъ онъ будетъ, по пной. Кто докажетъ мнѣ, что его нѣтъ?... Вѣдь чтó жъ такое скептицизмъ? Ну, фараонова тощайшая корова, которая, сожравъ свою тучнѣйшую сестру, все такъ тоща, что сердце у нея стучитъ по голымъ ребрамъ?... Вѣдь позволительно же вѣрить въ то, по крайней-мѣрѣ, что по землѣ ходили лица, устъ своихъ неосквер-

нявшія ни лестью и ни ложью... Неужто я живу только пока я ъмъ, ношу сюртукъ и сплю? Жизнь вѣчная вѣчна, какъ эта вся природа, какъ мысль, живущая въ смѣняющихся другъ друга поколѣнiяхъ. Читала Дора Спинозу и умерла, не дочитавъ половины. Шутила, говорила, что выучится думать хорошенько, вотъ и выучилась. Вотъ печатный Спиноза цѣлъ и на столѣ развернутый лежалъ все время съ ея смерти, а ея нѣтъ... Я вотъ теперь три листка просмотрѣлъ подалѣе, подалѣе того, гдѣ остановилась Дора, и чтѣ-жъ она теперь: на три страницы далѣе или ближе отъ Спинозы? Иль, можетъ быть, она оттуда видѣтъ и читаетъ? Иль, можетъ быть, не сны одни мнѣ снятся, а въ самомъ дѣлѣ, для нея не нужны двери и измѣненная она владѣетъ средствомъ съ струею воздуха влетать сюда, здѣсь быть со мной и снова носиться и даже черныя фигурки буквъ способна различать... Нелѣпный бредъ! Луна меня тревожить: лучи ея какъ будто падаютъ мнѣ прямо въ мозгъ и въ сердце. Чтѣ умерло, тѣ спитъ и не придетъ перевернуть рукой забытую страницу.

Долинскій хотѣлъ отойти отъ окна, и вдругъ страшно вздрогнулъ и по тѣлу его побѣжали мурашки. Въ комнатѣ покойной Доры тихо и отчетливо перевернулась страница.

— Дѣтскій страхъ!... мечта, послышалось мнѣ, иль просто вѣтеръ дунулъ, говорилъ себѣ Долинскій, стараюсь взять надъ собою силу; а паническій, суевѣрный страхъ самъ предупреждалъ его; онъ бралъ его за плечи, двигалъ на головѣ его волосы и чрезъ мгновенiе донесъ до его слуха столь же спокойный и столь же отчетливый звукъ отъ оборота второй страницы.

— Вторая, шепнулъ дрожащими отъ ужаса губами Долинскій:— пхъ три: такъ третья, что ли, будетъ тоже?

Третья страница зашелестила, не спѣша перевалилась и шурша легла на открытую половину.

— А тридцать-первый реформатскій полкъ правильно ретировался и отступалъ къ образцовой фермѣ, прошло вдругъ въ головѣ Долинскаго.

— Чтѣ за нелѣпость, чтѣ за вздоръ такой, какой полкъ маршировалъ? шепталъ онъ, стараясь удерживать себя и поворачивая свое лицо отъ окна въ комнату.

— Тамъ нѣтъ никого, сказалъ онъ, и только что хотѣлъ сдѣлать одинъ рѣшительный шагъ, какъ скрѣпившій передъ зарею

вѣтерокъ разомъ надулъ тяжелыя дверныя занавѣсы изъ дашиной комнаты, полы драпировки далеко выдвинулись и запарусили.

— Кто тамъ, кто ходитъ здѣсь? отчаянно крикнулъ нервнымъ, испуганнымъ голосомъ Долинскій.

— Уйдите отъ меня! добавилъ онъ черезъ секунду, не сводя остраго, встревоженного взгляда съ длинныхъ полъ, которыя все колыхались, таинственно двигались, какъ будто кто-то въ нихъ путался, и разомъ распахнувшись, защелкали своими взвившимися углами, какъ щелкаютъ дѣтскія, бумажныя хлопунки, а по стекламъ противоположнаго окна мелькнуло нѣсколько блѣдныхъ, тонкихъ линий, брошенныхъ заходящей луною, и вдругъ все стемнѣло; передъ Долинскимъ выросла огромная мрачная стѣна, подъ стѣной могильные кресты, заросшіе глухой крапивой, по стѣнѣ медленно идетъ въ блѣдомъ саванѣ Дора.

— Ахъ, уйди ты! уйди! подумалъ больной, и стѣна, и Дора тотчасъ же исчезли отъ его думы, но за то въ темной аркѣ блѣлаго камина загорѣлся пріятный голубоватый огонь, и передъ этимъ огнемъ на полу, граціозно закинувъ подъ голову руки, лежала какая-то совершенно незнакомая красивая женщина.

— Этого ничего нѣтъ, понималъ Долинскій. Онъ отвернулся къ окну и оторопѣлъ еще болѣе: тамъ, высоко-высоко на небѣ, стояла его собственная темная тѣнь колосальнѣйшихъ размѣровъ, а тутъ съ боку, возлѣ самой его щеки, смотрѣло на него чье-то блѣдное, смѣющееся лицо.

Разстроенное воображеніе Долинскаго долѣе не выдержало. Ему представились какія-то блѣдныя, прозрачныя тѣни — тѣни, толпящіяся въ движущихся занавѣсахъ, тѣни подъ шторою окна; вся комната полна тѣнями: тѣни у него на плечахъ и въ немъ самомъ: все тѣни, тѣни... Онъ отчаянно пожался къ окну, и сильно подавленное стекло разлетѣлось въдребезги.

— А тридцать-первый реформатскій полкъ правильно ретировался и отступалъ къ образцовой фермѣ, стояло у него въ головѣ, и затѣмъ онъ ничего не помнилъ.

Прохладный утренній воздухъ, врываясь въ разбитое окно и форточку, мало-по-малу освѣжилъ больную голову Долинскаго. Онъ приподнял лицо и медленно оглянулся. На дворѣ сѣрѣло, между крышъ на востокъ неба прорѣзалась блѣдно-розовая полоска, и на узенькой дощечкѣ подъ низенькимъ фронтономъ плоской крыши гулко ворковалъ проснувшійся голубь. Сильная нервная возбужденность Долинскаго смѣнилась необычайной сла-

бостью, выражавшеюся во всей его распускавшейся фигурѣ и совершенно угасающемъ взорѣ.

— Жизни!... иная жизнь!—жизнь вѣчная! шепталъ онъ, какъ-бы что-то ловя и преслѣдуя глазами, какъ-бы стараясь что-то прозрѣть въ тонкомъ сѣро-розовомъ свѣтѣ подъ бѣлымъ потолкомъ пустой комнаты.

Только протяжно и съ безконечнымъ покоемъ пронесся по свѣтлomu, утреннему небу одинъ тихій звонъ маленькаго колокола съ круглой башни ближайшей церкви. Долинскій вздрогнулъ.

— Зоветь! прошепталъ онъ, складывая на груди своей руки.

Колоколь черезъ минуту опять прозвучалъ еще тише и еще призывнѣй.

— Зоветь! зоветь! повторилъ больной, и блѣдное лицо его сразу приняло строгое, серьезное выраженіе, какое бываетъ у нѣкоторыхъ мертвецовъ.

— Создатель! пощади мой разумъ, произнесъ онъ тверже черезъ минуту, и какъ немощный больной, держась стѣны, побрелъ къ своей постели.

XI.

Иной путь.

Бѣжали дни за днями. Изъ нихъ составлялись недѣли и мѣсяцы—Долинскій нигуда не показывался. Къ нему нѣсколько разъ заходилъ Кирилъ Онучинъ; раза три заходила даже Вѣра Сергѣевна, но madame Бюжаръ, тщательно оберегая своего страннаго постояльца, никого къ нему не допускала. Вѣра Сергѣевна въ первый мѣсяцъ исчезновенія Долинскаго послала ему нѣсколько записокъ, которыми приглашала его придти, потому что ей «скучно»; въ другой она даже говорила ему, что «хочетъ его видѣть» и наконецъ въ третьей писала: «я очень разстроена. У меня горе, въ которомъ мнѣ не къ кому прибѣгнуть, не съ кѣмъ посоветоваться, кромѣ васъ. Васъ это можетъ удавить, если вы думаете, что я только свѣтская кукла и ничего болѣе. Если вы такъ думаете, то вы очень ошибаетесь. Но во всякомъ случаѣ, что бы вы ни думали обо мнѣ, я говорю вамъ, что у меня горе, большое горе. Чѣмъ я ничтожнѣе, тѣмъ оно для меня тяжелѣе. Мнѣ приходится бороться съ тяжелыми для меня требованіями, и мнѣ не съ кѣмъ обдумать моего положенія, не съ кѣмъ сказать слова. Вы—человѣкъ съ сердцемъ и человѣкъ любившій; умоляю васъ, помогите мнѣ хоть однимъ теплымъ сло-

вомъ! Если вы не хотите быть у насъ, если не хотите у насъ съ кѣмъ-нибудь встрѣтиться, то завтра попозже въ сумерки, какъ стемнѣетъ, будьте на томъ мѣстѣ, гдѣ мы съ вами гуляли вдвоемъ утромъ, и ждите меня—я найду случай уйдти изъ дома.

«Надѣюсь, что у васъ неостанетъ холодности отказать мнѣ въ такой небольшой, но важной для меня услугѣ, хоть наконецъ изъ снисхожденія къ моему полу. Помните, что я буду ждать васъ, и что мнѣ страшно будетъ возвращаться одной ночью. Письмо сожгите».

Трудно поручиться, достало ли бы у Долинскаго холодности неисполнить просьбу Вѣры Сергѣевны, еслибы онъ прочелъ это посланіе; но онъ не читалъ ни одного изъ ея писемъ. Какъ только м-ше Бюжаръ подавала ему конвертъ, надписанный рукою Вѣры Сергѣевны, онъ судорожно сминалъ его въ своей рукѣ, уходилъ въ уголь, тщательно сжигалъ нераспечатанный конвертъ, растиралъ испепелившуюся бумагу и пускалъ пыль за свою оконную форточку. Онъ боялся всего, что можетъ хоть на одно мгновеніе отрывать его отъ его думъ, сѣтованій и таинственнаго міра, создаваемого его мистической фантазіей. Наконецъ всѣ его оставили. Онъ былъ очень этому радъ. Окончивъ работу, онъ съ восторженностью началъ изучать пророковъ и жилъ совершеннымъ затворникомъ. А тѣмъ временемъ настала осень, получилось разрѣшеніе перевезти гробъ Даши въ Россію и пришли деньги за напечатанную повѣсть Долинскаго, которая въ свое время многихъ поражала своею оригинальностью и носила сильный отпечатокъ душевнаго настроенія автора.

Долинскому приходилось выйти изъ своего заточенія и дѣйствовать.

На другой же день по полученіи послѣдней возможности отправить тѣло Даши, онъ впервые вышелъ очень рано изъ дома. Выхлопотавъ позволеніе вынуть гробъ, и перевезя его на желѣзную дорогу, Долинскій просидѣлъ самъ цѣлую ночь на пустомъ, отдаленномъ концѣ длинной платформы, гдѣ поставили черный сундукъ, зловѣщая фигура котораго будила въ проходившихъ тяжелое чувство смерти, и заставляло ихъ бѣжать отъ этого страшнаго багажа.

Долинскій не замѣчалъ ничего этого. Онъ сидѣлъ у сундука, облокотясь на него рукою и, казалось, очень спокойно отдыхалъ отъ дневныхъ хлопотъ и бѣготни по поводу перевозки. На дворѣ совсѣмъ меркло; мимо платформы торопливо проходили къ

домамъ разные рабочіе люди; прошло нѣсколько дѣвушекъ, которыя съ ужасомъ и съ любопытствомъ взглядывали на мрачный сундукъ и на одинокую фигуру Долинскаго, и вдругъ сначала шли удвоеннымъ шагомъ, а потомъ бѣжали, кутая свои головы широкими коричневыми платками и путаясь въ длинныхъ юбкахъ платьевъ. Еще позже забѣжало нѣсколько рѣзвившихся послѣ ужина мальчиковъ, и эти гинули, и забывъ свои крики, какъ-бы по сигналу, молча ударились во всю мочь въ сторону. Ночь спустилась; заря совсѣмъ погасла и кругомъ все обутало темная мгла; на темно-синемъ небѣ не было ни звѣздочки, въ тихомъ воздухѣ ни звука.

Откуда-то прошла большая лохматая собака съ недоглоданною костью, и улегшись, взяла ее между передними лапами. Слышно было, какъ зубы стукнули о кость и какъ треснулъ оторванный лоскутъ мяса, но вдругъ собака потянула чутьемъ, глянула на черный сундукъ, быстро вскочила, взвизгнула, зарычала тихонько и со всѣхъ ногъ бросилась въ темное поле, оставивъ свою недоглоданную кость на платформѣ.

Когда рано утромъ тронулся поѣздъ, взявшій съ собою тѣло Доры, Долинскій спокойно поклонился ему вслѣдъ до самой до земли и еще спокойноѣе побрелъ домой.

Распорядясь такимъ образомъ, Долинскій часу въ одиннадцатомъ отправился къ Онучнымъ. Неожиданное появленіе его всѣхъ очень удивило, Долинскій также могъ бы здѣсь кое чему удивиться.

Кирила Сергѣевича онъ засталъ за газетами на террасѣ.

— Батюшки мои! Вы ли это, Несторъ Игнатьичъ? вскричалъ добродушный ботаникъ, подавая ему обѣ свои руки.—Вѣра!

— Ну, слышалось лѣниво изъ залы.

— Несторъ Игнатьичъ воскресъ и является.

Изъ залы не было никакого отвѣта и никто не показывался.

— Я принесъ вамъ мой долгъ, Кирилъ Сергѣичъ. Сколько я вамъ долженъ? началъ Долинскій.

— Позвольте, пожалуйста! Что это въ самомъ дѣлѣ такое? годъ пропадаетъ, и чуть перенесъ ногу, сейчасъ ужъ о долгѣ.

— Тороплюсь, Кирилъ Сергѣичъ.

— Куда это?

— Я сегодня ѣду.

— Какъ ѣдете!

— То-есть уѣзжаю. Совсѣмъ уѣзжаю, Кирилъ Сергѣичъ.

— Батюшки-свѣты! Да надѣюсь, хоть пообѣдаете же вѣдь вы съ нами?

— Нѣтъ, не могу... у меня еще дѣла.

Ботаникъ посмотрѣлъ на него удивленными глазами, дескать: «а должно быть ты братъ, скверно кончишь», и вынулъ изъ бармана своего пиджака записную книжечку.

— За вами всего тысяча франковъ, сказалъ онъ, перечеркивая карандашомъ страницу.

Долинскій досталъ изъ бумажника вексель на банкирскій домъ и нѣсколько наполеондоровъ и подалъ ихъ Онучину.

— Большое спасибо вамъ, сказалъ онъ, сжавъ при этомъ его руку.

— Пойдите же; вѣдь все же, думаю, захотите по крайней-мѣрѣ, проститься съ сестрою и съ матушкой?

— Да, какъ же, какъ же, непременно, отвѣчалъ Долинскій.

Онучинъ пошелъ съ террасы въ залу, Долинскій за нимъ.

Въ залѣ, въ которую они вошли, стоялъ у окна какой-то пожилой господинъ съ волосами, крашенными въ свѣтлорусую краску, и нѣмецкимъ лицомъ, и съ нимъ Вѣра Сергѣевна. Пожилой господинъ сіялъ самою благопріятною улыбкою и, стоя передъ m-lle Онучиною лицомъ къ окну, рассказывалъ ей что-то такое, что, судя по утомленному лицу и разсѣянному взгляду Вѣры Сергѣевны, не только ни мало ее не интересовало, но напротивъ, нудило ее и раздражало. Она стояла прислонясь къ косяку окна, и сложивъ руки на груди безучастно смотрѣла по комнатѣ. Подъ глазами Вѣры Сергѣевны были два большія синеватые пятна и ея живое, задорное личико нѣсколько затуманилось и поплѣднѣло.

Она взглянула на Долинскаго весьма холодно и едва кивнула ему головою въ отвѣтъ на его привѣтствіе.

— Баронъ фон-Якобовскій, и г. Долинскій, отрекомендоваль Кирилъ Сергѣевичъ другъ другу пожилого господина и Долинскаго.

Баронъ фон-Якобовскій раскланялся очень въ мѣру и очень въ мѣру улыбнулся.

— Членъ русскаго посольства въ N., произнесъ вполголоса Онучинъ, проходя съ Долинскимъ черезъ гостиную въ кабинетъ матери.

Серафима Григорьевна сидѣла въ большомъ мягкомъ креслѣ, и съ лорнетомъ въ рукѣ читала новый номеръ парижскаго L'Union Chrétienne.

— Ахъ, Несторъ Игнатьичъ! воскликнула она очень радушно.— Мы васъ совсѣмъ было ужъ и изъ живыхъ исключили. Садитесь поближе; ну, что? Ну, какъ вы нынче въ своемъ здоровьѣ?

Долинскій поблагодарилъ за вниманіе, присѣлъ около хозяйкинаго кресла, и у нихъ пошелъ обыкновенный полуформенный разговоръ.

— А у насъ есть маленькая новость, сказала наконецъ, тихо улыбаясь, Серафима Григорьевна.— Съ вами, какъ съ нашимъ добрымъ другомъ, мы можемъ и подѣлиться, потому что вы ужъ вѣрно порадуетесь съ нами.

Долинскій никакъ не могъ понять, какимъ случаемъ онъ попалъ въ добрые друзья къ Онучинымъ; но глядя на счастливое лицо старухи, предлагающей открыть ему радостную семейную вѣсть, довольно низко поклонился и сказалъ какое-то приличное обстоятельствамъ слово.

— Да, вотъ нашъ добрый Несторъ Игнатьичъ, наша Вѣрушка дѣлаетъ очень хорошую партію, произнесла Серафима Григорьевна.

— Выходить замужъ Вѣра Сергѣевна?

— Да, выходить. Это еще наша семейная тайна, но ужъ мы дали слово. Вы видѣли барона фон-Якобовскаго?

— Да, насъ сейчасъ познакомилъ Кирилъ Сергѣичъ.

— Вотъ это ея женихъ! Какъ видите, онъ еще *très galant, et tout ça...* уменъ, принадлежитъ къ обществу и членъ посольства. Вѣра будетъ имѣть въ свѣтѣ очень хорошее положеніе.

— Да, конечно, отвѣчалъ Долинскій.

— Вы знаете, онъ лифляндскій баронъ.

— Гм!

— Да, у него тамъ имѣніе около Риги. Они вѣдь, эти лифляндцы, знаете, не такъ, какъ мы русскіе; мы все ѣдимъ другъ друга да мараемъ, а они лѣсенкой.

— Да, это такъ.

— Лѣсенкой, лѣсенкой, знаете. Одинъ за другимъ цапъ-царапъ, цапъ-царапъ—и всѣ наверху.

Долинскій, въ качествѣ добраго друга, сколько умѣлъ, порадовался семейному счастью Онучиныхъ и сталъ прощаться съ старушкой. Несмотря на всѣ просьбы Серафимы Григорьевны, онъ отказался отъ обѣда.

— Ну, Богъ съ вами, если не хотите съ нами проститься какъ слѣдуетъ.

— Ей-богу, не могу — тороплюсь, извинился Долинскій.

Старушка положила на столъ нумеръ L'Union Chrétienne и пошла проводить Долинскаго.

— Вы къ намъ зимою въ Петербургъ заходите, говорила необыкновенно счастливая и веселая старуха, когда Долинскій пожалъ въ залъ руку Вѣры Сергѣевны и пробурчалъ ей какое-то поздравленіе.—Мы вамъ всегда будемъ рады.

— Мы принимаемъ всѣхъ по четвергамъ, сухо проговорила Вѣра Сергѣевна.

— Да и такъ запросто когда-нибудь, звала Серафима Григорьевна.

Долинскій раскланялся, скользнулъ за двери и на улицѣ вздохнулъ свободно.

— Очень жалкій человѣкъ, говорила барону фон-Якобовскому умиленная ниспосланной ей благодатью Серафима Григорьевна вслѣдъ за ушедшимъ Долинскимъ.—Былъ у него какой-то романъ съ довольно простой дѣвушкой, онъ схоронилъ ее и вотъ никакъ не утѣшится.

— Онъ такъ и смотритъ влюбленнымъ въ луну, отвѣчалъ, въ мѣру улыбаясь, баронъ фон-Якобовскій.

Вѣра Сергѣевна не принимала въ этомъ разговорѣ никакого участія, лицо ея попрежнему оставалось холодно и гордо, и только въ глазахъ можно было подмѣтить слабый свѣтъ горечи и досады на все ее окружающее.

Вѣра Сергѣевна выходила замужъ не то, чтобы насильно, но и не своей охотой.

Долинскій, возвратясь домой, засталъ свои чемоданы совершенно уложенными и готовыми. Не снимая шляпы и пальто, онъ дружески расцаловалъ m-me Бюжаръ и уѣхалъ на желѣзную дорогу за два часа до отправленія поѣзда.

— Вы въ Петербургъ? спрашивала его, совсѣмъ прощаясь, madame Бюжаръ.

Долинскій какъ будто не разслушалъ и вмѣсто отвѣта брякнулъ:

— Adieu, madame.

Въ ожиданіи поѣзда, онъ, въ тревожномъ раздумьѣ, бѣгалъ по пустой платформѣ амбаркадера, останавливался, брался за лобъ, и какъ только открылась касса для перваго очередного поѣзда, взялъ мѣсто въ Парижъ.

ХІІ.

Батиньельскія голубятни.

Несторъ Игнатьевичъ въ Парижѣ поселился въ крошечной комнаткѣ пятаго этажа одного большого дома на Батиньелѣ. Занятое имъ помѣщеніе было далеко не изъ роскошныхъ, и не изъ комфортабельныхъ. Вся комнатка Долинскаго имѣла около четырехъ аршинъ въ квадратѣ, съ однимъ небольшимъ, высокопродѣланнымъ окномъ и неуклюжимъ дымящимъ каминомъ, на которомъ, вмѣсто неизбѣжныхъ часовъ съ бронзовымъ пастушкомъ, пренеловко разстегивающимъ корсетъ своей бронзовой пастушки, одиноко торчалъ молящійся гипсовый амуръ, весь немилосердно засиженный мухами. Мѣблировка этой комнаты состояла изъ небольшого круглаго столпа, кровати съ дешевыми ситцевыми занавѣсами, какого-то историческаго комода, на которомъ было выцарапано: *Beauharnais, Oginsky, Podwysocky, Ian, nali wody w żban*, и многое множество другихъ историческихъ и неисторическихъ именъ, болѣе или менѣе удачно и тщательно пропизведенныхъ гвоздемъ и рукою сучавшаго и вѣроятно нищенствовавшаго жильца. Кромѣ этихъ вещей, въ комнатѣ находилось три кресла: одно—временъ Лудовика XIV (это было самое удобное), одно—временъ первой республики, и третье—временъ нынѣшней имперіи. Последнее было кресло дешевое, простой базарной работы и могло стоять только будучи приставленнымъ въ уголъ, ибо всѣ его ножки давнымъ-давно шатались и расползались въ разныя стороны. За то все это обходилось неимовѣрно дешево. Цѣлая такая комната съ креслами трехъ замѣчательнѣйшихъ эпохъ французской государственной жизни, съ водой и прислугой (которой, впрочемъ, *de facto* не существовало), отдавалась за пятнадцать франковъ въ мѣсяцъ. Такихъ коморокъ по сторонамъ довольно широкаго и довольно длиннаго коридора, едва освѣщавшагося по концамъ двумя полукруглыми окнами, было около тридцати. Каждая изъ нихъ была отдѣлена одна отъ другой досчатою, или пластинною, толсто оштукатуренными перегородками, черезъ которыя однако можно было свободно постучать и даже покричать своему сосѣду. Обитателями этихъ покоевъ были люди самые разнообразныя; но все-таки можно сказать, что преимущественно здѣсь обитали швен, цвѣточницы, вообще молодья, легко смотрящія на тяжелую жизнь дѣвушки и молодые,

а иногда и не совѣмъ молодые, даже иногда и совѣмъ старые люди, самыхъ разнообразныхъ профессій. На каждой изъ сѣрыхъ дверей этихъ маленькихъ канурокъ грязноватою желтою краскою написаны подъ рядъ свои нумера, а на нѣкоторыхъ есть и другія надписи, сдѣланныя просто кускомъ мѣла. Послѣднія надписи бываютъ *постоянныя*, красующіяся иногда цѣлые мѣсяцы, и *временныя*, появляющіяся и исчезающія въ одинъ и тотъ же день, въ который появляются. Очень рѣдко случается, что подобная надпись переживаетъ сутки, и никогда двухъ. Къ числу первыхъ принадлежатъ мѣловыя начертанія, гласящія. «Cécile», «Pélagie», «Mathilde», la couturière, «Psyché», «Nymphe des bois», «Pol et Pepol», «Anaxagou—étudiant», «Le petit Mathusalem» или: «Frappez fort s'il vous plait!» и т. п.

Временныя же, преимущественно однодневныя надписи, болѣе все въ слѣдующемъ родѣ: «Je n'ai point d'habit», «Cela est probable», «J'en suis furieux!!!» (внизу немовѣрный вензель), «Pouvez-vous me dire, où il demeure?» (Опять вензель, или четная буква), «Je crains, que la machine ne sorte des rails», «Nous serons revenus de bonne heure», и т. п. Иногда на дверяхъ отсутствующей хозяйки являются надписи и болѣе прямаго значенія, напримѣръ подъ именемъ какой-нибудь швен Клемансъ и цвѣточницы Арно, вдругъ въ одинъ прекрасный день является вопросъ: «Pouvez-vous nous loger pour cette nuit?» подписано «F. et R.» или: «Je n'ai presque rien mangé depuis deux jours.—Que faire?»

На дверяхъ комнаты, занятой Долинскимъ, стояло просто «№ 11», и ничего болѣе. Съ правой стороны на дверяхъ подъ № 12 было написано еще «Marie et Augustine — gantière», а съ лѣвой подъ № 10 «Népomucène Zaionczek—le prêtre».

Въ жилищахъ этого рода, сосѣди по комнатѣ имѣютъ для каждаго жильца свое и даже весьма немаловажное значеніе. Вообще веселый, непретендательный, ссудливый сосѣдь, не успѣетъ водвориться, какъ снискиваетъ себѣ доброе расположеніе своихъ ближайшихъ сосѣдей и особенно сосѣдокъ, изъ которыхъ одна, а иногда и двѣ непременно рассчитываютъ въ самомъ непродолжительномъ времени (иногда даже съ перваго же дня), сдѣлаться его любовницами. За то плохой, вздорливый и придирчивый сосѣдь—чистое несчастіе. Сами гризеты чаще всего начинаютъ бояться такихъ господъ, избѣгаютъ съ ними встрѣчи и даютъ имъ разныя ядовитыя влички; но выжить строптиваго

жильца «пзъ коридора» гризеты никакъ не сьумѣютъ. Это удастся только тогда, если «весь коридоръ» обозлится (что бываетъ довольно рѣдко), или если строптивый человѣкъ надоѣстъ ближайшимъ своимъ сосѣдямъ изъ студентовъ.

Перчаточницы Augustine и Marie были молодыя, веселыя, безпечныя дѣвочки, бѣгавшія за работой въ улицу Loret и распѣвавшія дома съ утра до ночи скабрзные пѣсенки непризнанныхъ поэтовъ Латинскаго квартала. Обѣ эти дѣвочки были очень хорошенькія и очень хорошія особы, съ которыми можно было прожить цѣлую жизнь въ отношеніяхъ самыхъ пріятельскихъ, еслибы не было очевидной опасности, что пріязнь скоро перейдетъ въ чувство болѣе теплое и грѣшное. Marie и Augustine были тоже очень довольны своимъ «одиннадцатымъ номеромъ», но только съ одной стороны. Имъ очень нравилась его скромность, услужливость, готовность подѣлиться кофе, сыромъ, хлѣбомъ и т. п. Но что это былъ за сосѣдъ, съ которымъ ни пойдти, ни поѣхать, ни посидѣть вмѣстѣ, который не позоветъ ни къ себѣ, ни самъ не придетъ поболтать? «Un ours», прозвали его гризеты, и очень часто на него дулись. Но, несмотря на нелюдимость Долинскаго, и Augustine и Marie, и даже всѣ другія жилицы коридора со втораго же дня появленія его здѣсь положили, что онъ bon homme и что его надо приласкать — даже непременно надо.

Зато № 10, m-r le prêtre Népomucène Zaionczek, давно стоялъ поперегъ горла рѣшительно всѣмъ своимъ ближайшимъ сосѣдямъ. Это былъ несносный, желчный старикъ съ сѣрыми, сухими глазами, острымъ, выдающимся впередъ подбородкомъ и загнутыми внизъ углами губъ. Гризеты называли его «полицеймейстеромъ» и отворачивались отъ него, какъ только онъ показывался въ корридорѣ. M-r le prêtre Zaionczek обыкновенно сидѣлъ дома. Онъ выходилъ только два, много три раза въ недѣлю въ существующую на Батиньелѣ польскую школу и разъ вечеромъ въ воскресенье ѣздилъ на omnibusъ куда-то къ St.-Sulpice. Все остальное время онъ проводилъ въ своей комнаткѣ и постоянно или читалъ, или дѣлалъ какія-то выписки. Его посѣщали здѣсь довольно странные люди, и нѣсколько пышныхъ грандіозныхъ дамъ, которыхъ онъ провожалъ, называя графинями и княгинями. Сосѣдямъ Zaionczeka было замѣчено, что всѣ его гости были исключительно поляки и польки. Личность и положеніе Заіончека возбуждали вниманіе и любопытство всѣхъ голубей и голубокъ

этой парижской голубятни, но никто не имѣлъ этого любопытства на столько, чтобы упорно стремиться къ выясненію, что въ самомъ дѣлѣ за птица этотъ m-r le prêtre Zaionczek и что такое онъ дѣлаетъ, зачѣмъ сидитъ на этомъ батиньельскомъ чердакѣ? Давно, еще вскорѣ затѣмъ, какъ Заіончекъ здѣсь поселился, кто-то болтнулъ вдругъ, что m-r le prêtre Zaionczek гадатель, что онъ отлично гадаетъ на картахъ и можетъ предсказать все, за сколько вамъ угодно лѣтъ впередъ. Нѣсколько человѣкъ повторили эту тонкую догадку и въ вечеру того же дня, двѣ или три гризеты, трясаясь и замирая, собирались идти и попросить суроваго Заіончека погадать имъ о запропавшихъ любовникахъ. Но вдругъ разнеслась вѣсть, что Monsieur le professeur Grèlot, который живетъ здѣсь на голубятнѣ уже болѣе трехъ лѣтъ и котораго всѣ гризеты называютъ grand пара и считаютъ своимъ оракуломъ—выслушавъ явившееся на счетъ Заіончека соображеніе, сомнительно покачалъ головою. Всѣ тотчасъ тоже сами покачали головами и съ тѣхъ поръ вовсе оставили добиваться, что такое этотъ загадочный m-r le prêtre, а продолжали называть его попрежнему «полиціймейстеромъ». Это названіе желчный старикъ получилъ потому, что его сварливый характеръ и привычка повелѣвать не давали ему покоя и на батиньельскомъ чердакѣ. Чуть только гдѣ нибудь по сосѣдству къ его номеру, послѣ десяти часовъ вечера слышался откуда-нибудь веселый говоръ, смѣхъ, или хотя самый ничтожный шумъ, m-r le prêtre выходилъ въ корридоръ съ свѣчою въ рукѣ, неуклонно текъ къ двери, изъ-за которой раздавались голоса, и постучавъ своими костлявыми пальцами, грозно возглашалъ: «Ne faites point tant de bruit!» и затѣмъ держалъ столь же мѣрное теченіе къ своему номеру, съ полною увѣренностью, что обезпокоившій его шумъ непременно прекратится. И шумъ точно прекращался. Съ жильцами этой батиньельской вершины m-r le prêtre не имѣлъ никакого сообщества, и съ тѣхъ поръ, какъ онъ тутъ поселился, отъ него никто не слышалъ болѣе, кромѣ: «Ne faites point de bruit». Въ комнатѣ Заіончека тоже никто изъ здѣшнихъ жильцовъ никогда не былъ и комната эта была предметомъ постоянного любопытства, потому что madame Vache, единственная слуга и надзирательница этой вышки, рассказывала объ этой комнатѣ что-то столь заманчивое, что у всѣхъ почти одновременно родилось непобѣдимое желаніе взглянуть на чудеса этого неприступнаго покоя. Нѣкоторыми отчаянными смѣльчаками обоего

пола (по преимуществу прекраснаго), съ тѣхъ поръ было принято нѣсколько очень обдуманыхъ экспедицій съ спеціальною цѣлю осмотрѣть полицеймейстерскую берлогу, но всѣ эти попытки обыкновенно оставались совершенно безуспѣшными. Въ присутствіи Заіончека объ этомъ невозможно было и думать, потому что нѣсколькихъ дерзкихъ, явившихся къ нему попросить займы свѣчъ, или спичекъ, онъ, не открывая двери, безъ всякой церемоніи посылалъ прямо къ какому-нибудь крупному чорту, или разомъ ко сто тысячамъ рядовыхъ дьяволовъ. А уходя изъ дому, Заіончекъ постоянно уносилъ ключъ съ собою. Любопытные выдали въ замочную скважину: дорогой варшавскій коверъ на полу этой комнаты; окно, задернутое зеленою тафтяною занавѣскою, большой черный крестъ съ бѣлымъ изображеніемъ распятаго Спасителя и низенькій наполь краснаго дерева, съ зеленою бархатною подушкой внизу и большою развернутою книгою на верхней наклонной доскѣ.

Въ существѣ комната Заіончека и не имѣла ничего необыкновеннаго. Конечно, сравнительно она была очень недурно меблирована, застлана мягкимъ ковромъ, увѣшана картинами, всегда чисто убрана и далеко превосходила прохладныя и пустоватыя гаморки другихъ бѣдныхъ жильцовъ голубятии, но все-таки она далеко не могла оправдать восторженныхъ описаній *madame Vache*.

XIII.

Батиньельскіе отшельники.

Долинскій, поселившись на Батиньелѣ, рассчитывалъ здѣсь найти болѣе покоя, чѣмъ въ Латинскомъ кварталѣ, гдѣ онъ могъ бы жить при своихъ скудныхъ средствахъ, о восполненіи которыхъ ни мало не намѣренъ былъ много заботиться.

Съ самого пріѣзда въ Парижъ, онъ не повидался ни съ однимъ изъ своихъ прежнихъ знакомыхъ, а прямо занялъ одиннадцатый номеръ между Заіончекомъ и двумя хорошенькими перчаточницами, и засѣлъ въ этой комнатѣ почти безвыходно. Несторъ Игнатьевичъ не писалъ изъ своего убѣжища никакихъ писемъ никому и самъ ни отъ кого не получалъ ни строчки. Выходилъ онъ иногда въ недѣлю разъ, иногда разъ въ мѣсяцъ и всегда возвращался съ какою-нибудь новою книгою. Каждый его выходъ всегда значилъ ни болѣе ни менѣе, что новая книга прочитана и потребовалась

другая. M-r le prêtre Zaionczek, встрѣтятся два или три раза съ своимъ новымъ сосѣдомъ, посмотрѣлъ на него самымъ недружелюбнымъ образомъ. Казалось, Заюнчекъ досадовалъ, что Доллинскій такъ долго лишаетъ его удовольствія хоть разъ закричать у его дверей: «ne faites pas de bruit».

Изъ ближайшихъ сосѣдей Нестора Игнатьевича короче другихъ его знали m-lle Augustine и Marie, но и m-lle Augustine скоро перестала обращать на него всякое вниманіе и занялась другимъ сосѣдомъ, студентомъ, помѣстившимся въ № 13, и только одинокая Marie никакъ не могла простить Доллинскому его невниманія. Она часто стучалась къ нему вечерами, находя что-нибудь попросить, или возвратить. Всегда она находила ласковый отвѣтъ, услужливость и болѣе ничего. Marie выходила нѣсколько разъ, оглядываясь и повода своими говорящими плечиками; Доллинскій оставался спокойнымъ и протягивалъ руку къ оставленной книгѣ.

— Что это вы читаете, добрый сосѣдъ? спрашивала иногда Marie и, любопытствуя, смотрѣла на корешокъ книги. Тамъ всегда стояло что-нибудь въ такомъ родѣ: «La Religion primitive des Indo-Europeens par m-r Flotard», или «Bible populaire», или еще что-нибудь такое же.

M-lle Marie терялась, что это за удивительный экземпляръ этотъ ея смиренный сосѣдъ.

— Ну, что твой бакалавръ? освѣдомлялась иногда у нея, возвращаясь изъ тринадцатаго нумера, m-lle Augustine.

— Rien, отвѣчала, кусая губки, Marie.

— Tiens! презрительно восклицала недоумѣвающая m-lle Augustine.

— Ничего онъ не стоитъ, порѣшила наконецъ m-lle Marie и дала себѣ слово перестать думать о сосѣдѣ и найти кого-нибудь другого.

— Онъ вѣрно совѣмъ глупъ, говорила она, жалуясь подругѣ.

— C'est vrai, небрежно отвѣчала Augustine, занятая своею новою любовью въ тринадцатомъ номерѣ.

Въ одну темную осеннюю ночь, когда въ коридорѣ была совершенная тишина, въ дверь у перчаточницъ кто-то тихонько постучался. Marie, ночевавшая одна на двуспальной постели, которую онѣ владѣли изъ-полу съ своей подругой, приподнялась на локоть и тихонько спросила: «Qui va là?»

— C'est moi, отвѣчалъ такъ же тихо голосъ изъ-за дверей.

— Mais quel moi donc?

— Mais puisque je vous repête que c'est moi, votre voisin du numéro onze.

— Tiens! прошептала про себя Marie, и лукаво разсмѣявшись съ соблюденіемъ всякой тишины, отвѣчала:—Mais je suis au lit, monsieur!... Que désirez-vous?... Qu'y a-t-il à votre service?

—Une allumette, mademoiselle, тихо отвѣчалъ Долинскій.—Уронишь мой ключъ и не могу его отыскать безъ огня.

— Un brin de feu?

— Oui, une allumette, s'il vous plait.

Marie еще сердечнѣе разсмѣялась, откинула крючокъ, и впустивъ сосѣда, снова кувыркнулась въ свою постельку.

— Спижки тамъ на комодѣ, произнесла она, лукаво выглядывая однимъ смѣющимся глазкомъ изъ-подъ одѣяла.

Долинскій поискалъ на каминѣ спичекъ, взялъ коробочекъ, поблагодарилъ сосѣдку и, не смотря на нее, пошелъ къ двери.

M-lle Marie быстро вскочила.

— Это чортъ-знаетъ чтò такое! крикнула она всплывчиво вслѣдъ Долинскому.

— Что? спросилъ онъ, остановясь.

— Нужно быть глупѣе доски, чтобы входить ночью въ комнату женщины съ желаніемъ получить одну зажигательную спичку.

Долинскій, ни слова не отвѣчая, тихо притворилъ двери. M-lle Marie сердито щелкнула крючкомъ, а Долинскій, несмотря на поздній часъ ночи, усѣлся у себя за столикомъ со вновь принесенною книгою. Это была одна изъ брошюръ о Юмѣ.

Прошло мѣсяца три; на батиньельскихъ вершинахъ все шло по-прежнему. Единственная переменѣна заключалась въ томъ, что рігеон изъ тринадцатаго нумера прискучилъ любовью бѣдной Augustine, и оставленная colombine, написавъ на дверяхъ измѣнника, что онъ «свинья, уродъ и мерзавецъ», стала спокойно встрѣчаться съ замѣнившею ее новою подругою тринадцатаго нумера и спала у себя съ m-lle Marie.

Одинъ разъ Долинскій возвращался домой часу въ пятомъ самаго ненастнаго зимняго дня. Холодный мелкій дождикъ, въ перемежку съ ледянистой мглой и маленькими хлопочками мокраго снѣга, пробилъ его насквозь, пока онъ добрался на имперіаль омнибуса отъ rue de Saine, изъ Латинскаго квартала, до своихъ батиньельскихъ вершинъ.

Спускась по осклизшимъ трехпогибельнымъ ступенямъ съ имперіала, Долинскій торопливо пробѣжалъ двѣ улицы и сталъ под-

ниматься на свою лѣстницу. Онъ очень озябъ въ своемъ сильно поношенномъ пальтишкѣ и дрожалъ; подъ мышкой у него было нѣсколько книгъ и брошюръ, плохо завернутыхъ въ газетную бумагу.

На лѣстницѣ Долинскій обогналъ Заіончека, и не обращая на него вниманія, бѣжалъ далѣе, чтобы скорѣе развести у себя огонь и согрѣться у камина. Въ торопяхъ онъ не замѣтилъ, какъ у него изъ-подъ руки выскользнули и упали двѣ книжки. M-r le prêtre Zaionczek не спѣша поднялъ эти книги и не спѣша развернулъ ихъ. Обѣ книги были польскія: одна «Historija Kosciola Russkiego, Księdza Fr. Gusty (исторія русской церкви, сочиненная католическимъ священникомъ Густою), а другая—мистическія бредни Тавянского, пѣвственнѣйшаго мистика, имѣвшаго столь печальное вліяніе на прекраснѣйшій умъ Мицкевича и дававшего совершенно иное направленіе послѣдней дѣятельности поэта.

M-r le prêtre Zaionczek взялъ обѣ эти книги, и держа ихъ въ рукѣ, постучалъ въ двери Долинскаго.

— Entrez, отозвался Несторъ Игнатьевичъ.

Вошелъ m-r le prêtre Zaionczek.

— To księgi pana dobrodzieja? спросилъ онъ Долинскаго по-польски.

— Мои; очень вамъ благодаренъ, отвѣчалъ кое-какъ на томъ же языкѣ, давно отвыкшій отъ него Долинскій.

— Вы занимаетесь религіозною литературой?

— Да... такъ... немного, отвѣчалъ нѣсколько конфузясь Долинскій.

— Пусть вамъ поможетъ Богъ, говорилъ сжимая его руку Заіончекъ и добавилъ:—жатвы много, а дѣтей мало есть.

Съ этихъ поръ началось знакомство Долинскаго съ Заіончекомъ.

XIV.

Новое масло въ плошку.

M-r le prêtre, по отношенію къ своему новому знакомству, явился совсѣмъ не такимъ, какимъ онъ былъ ко всѣмъ прочимъ жильцамъ вышки. Онъ самъ предложилъ Долинскому нѣсколько рѣдкихъ книгъ, и столкнувшись съ нимъ однажды вечеромъ у своей двери, попросилъ его зайти къ себѣ. Долинскій не отказался, и только что они вошли въ комнату Заіончека, дававшую всѣмъ чувствовать, что здѣсь живетъ католическая духовная особа, какъ

въ двери постучался новый гость. Это была съ головы до ногъ закутанная въ бархатъ и кружева молодая, высокая дама съ очень красивымъ лицомъ несомнѣнно польскаго происхожденія. Она только что переступила порогъ, какъ сложила на груди свои античныя руки, преклонила колѣна и произнесла: «*Niech będzie pochwalony Iezus Christus.*»

— *Na wieki wiekow, Amen,* отвѣтилъ Заіончекъ и подалъ дамѣ руку.

Та встала, поцаловала руку Заіончека, подняла къ небу свои большіе голубые глаза, полные благовѣйнаго страха и сказала:

— Я на минуту бѣ вамъ, мой отецъ.

Долинскій хотѣлъ выйти. *M-r le prêtre* ласково его удержалъ за руку и еще ласковѣе сказалъ: мои добрыя дѣти никогда не мѣшаютъ другъ другу.

Попавшій въ число добрыхъ дѣтей Заіончека Долинскій остался.

Пышная дама заговорила поптальянски о какомъ-то семейномъ горѣ.

Долинскій старался не слушать этого разговора.

Онъ подошелъ къ этажеркѣ и разсматривалъ книги Заіончека. Прежде всего ему попалась въ руки «*Dictionnaire des missions catholiques, Lacroix et Dzunkowskoj*»; Долинскій взялъ другую книгу. Это была: «*Histoire diplomatique des conclaves depuis Martin V jusqu'à Pie IX, Petrugelli de la Gatina.*» Далѣе онъ развернулъ большое in-folio «*Acta Sanctorum*». На столѣ лежалъ развернутый IV томъ этой книги: *Ioannes Rollandus, Godefridus Stenschenius, Societatis Iesu theologi.*

Пока Долинскій перелистывалъ эту книгу, приводя себѣ на память давно забытое значеніе многихъ латинскихъ словъ, дама стала прощаться съ Заіончекомъ.

— Тотъ, кто доводитъ тебя до этого, большее наказаніе приймешь и рука провидѣнія давно тебя благословила, говорилъ, напустуя ее, *m-r le prêtre*, держащійся, какъ видно, съ провидѣніемъ совсѣмъ за *panibrata*.

Дама опять поцаловала руку Заіончека.

— Прощайте, дочь моя, отвѣчалъ ласково суровый *m-r le prêtre* и пошелъ провожать свою восхитительно-прекрасную дочь.

Долинскій попалъ въ самый центръ польскихъ мистиковъ. Это общество жило въ Парпжѣ очень разсѣянно и всѣ члены его въ насмѣшку назывались «*Tawjanczikami*» отъ имени того же извѣстнаго мистика Тавянскаго, котораго они считались послѣдователями.

ми. *Тавянчиковъ* считалось довольно много въ Парижѣ; они имѣли здѣсь свои собранія и своихъ представителей, въ числѣ которыхъ одно изъ первыхъ мѣстъ занималъ m-r le prêtre Zaionczek. Іезуиты смотрѣли на этихъ «тавянчиковъ» довольно снисходительно, и даже, кажется, дружелюбно. Нѣкоторые полагали, что парижскіе іезуиты одно время даже надѣялись найти въ *Tawianzykach* нѣкоторое противодѣйствіе противъ пугающаго святыхъ отцовъ матеріализма. Но *Tawianczyki* вообще не оправдали этихъ надеждъ «общество Іисусова», или по крайней-мѣрѣ оправдали его въ самой незначительной мѣрѣ. «*Tawianczyki*» не распустили сильныхъ вѣтвей никуда далѣе Парижа, и даже не нашли сочувствія въ самой Польшѣ. Среди парижскихъ тавянчиковъ встрѣчались большею частію старички и женщины (молодыя и старыя), нерѣдко принадлежащія къ самымъ лучшимъ польскимъ фамиліямъ. Между передовыми послѣдователями Тавянскаго встрѣчались люди довольно странные, въ мистическомъ тавянизмѣ которыхъ нерѣдко сквозило что-то іезуитское. Таковъ, между многими подобными, былъ извѣстный намъ m-r le prêtre Zaionczek, эмигрантъ, появившійся между парижскими тавянчиками откуда-то съ Волыни и въ самое короткое время получившій у нихъ весьма большое значеніе. Былъ ли m-r le prêtre Zaionczek дѣйствительно такимъ мистикомъ, какимъ онъ представлялся, или это съ его стороны было одно притворство, рѣшить было невозможно. Онъ съ глубокою задумчивостью говорилъ о своихъ мистическихъ вѣрованіяхъ, состоялъ въ непосредственныхъ отношеніяхъ съ замогильнымъ міромъ, и въ то же время негласно основалъ въ Парижѣ «союзъ христіанскаго братства». Члены этого союза едва-ли понимали что-нибудь о цѣли своего соединенія. Союзъ этотъ состоялъ изъ избранныхъ Заіончекомъ представителей всѣхъ христіанскихъ исповѣданій. Тутъ были: французы, англичане, испанцы, поляки, чехи (въ качествѣ представителей непризнаннаго гуссизма), итальянцы и даже русины-уніаты. Собранія союза обыкновенно происходили по вечерамъ въ воскресенье, близъ St.-Sulpice, въ домѣ самой рьяной тавянистки, княгини Голензовской, той самой дамы, которую мы видѣли у Заіончека. Члены союза собирались въ особой комнатѣ, обитой съ потолка донизу тонкимъ чернымъ сукномъ съ бѣлыми атласными карнизамъ по панелямъ. На стѣнѣ вверху, прямо противъ входа, была вышита гладью бѣлымъ шелкомъ большая мертвая голова съ крупною латинскою надписью: «Memento

morii!» Посреди комнаты стоялъ длинный столъ, покрытый чернымъ сукномъ съ бѣлыми каймами и бѣлою же бахромою. По угламъ этой траурной скатерти опять были вышиты бѣлымъ мертвые головы и вокругъ надъ всею каймою какія-то латинскія изреченія. Около этого стола стояли тяжелыя дубовыя скамейки и въ одномъ концѣ высокое рѣзное кресло съ твердымъ, ничѣмъ не покрытымъ сидѣньемъ, а возлѣ него въ ногахъ маленькая деревянная скамеечка. На рѣзномъ креслѣ было мѣсто Заіончека, въ ногахъ у него на низенькой деревянной скамейкѣ садилась прекрасная хозяйка дома, а на скамьяхъ размѣщались члены.

Познакомясь съ Долинскимъ, и открывъ въ немъ сильное мистическое настроеніе, m-r le prêtre Zaionczek умѣлъ очень искусно расшевелить его больныя раны, и овладѣть его слабымъ духомъ.

— Не желалъ бы я врагу человѣчества такого внутренняго состоянія, каково должно быть твое, сказалъ ему Заіончекъ, незамѣтно выпытавъ у него грызущую его тайну.

— Молись, молись; будемъ вмѣстѣ молиться за тебя, говорилъ онъ Долинскому.

— Ты крѣпко вѣришь въ загробную жизнь? спрашивалъ онъ сотый разъ Долинскаго, и получая въ сотый разъ утвердительный отвѣтъ, говорилъ: — вѣрь, сынъ мой, и вѣрь, что между нами и тѣми, которые отошли отъ насъ, не порваны связи самаго тѣснаго общенія.

По цѣлымъ вечерамъ Заіончекъ рассказывалъ разстроенному Долинскому самые картинные образцы таинственнаго общенія замогильнаго міра съ міромъ живущимъ, и довелъ его больную душу до самаго высокаго мистическаго настроенія. Долинскій считалъ себя первымъ грѣшникомъ въ мірѣ, и незамѣтно начиналъ ощущать себя въ такомъ близкомъ общеніи съ таинственными существами иного міра, въ какомъ высказывалъ себя самъ Заіончекъ.

Достигнувъ такого вліянія на Долинскаго, Заіончекъ сообщилъ ему о существованіи въ Парижѣ «Союза христіанскаго братства», и велѣлъ ему быть готовымъ вступить въ братство, въ качествѣ грѣшнаго члена Wschodniego Kościoła (восточной церкви). Долинскій былъ введенъ въ таинственную комнату засѣданій, и представленъ оригинальному собранію, въ которомъ никто не называлъ другъ друга по фамиліи, а произносилъ только: «братъ Яковъ», или «братъ Северинъ», или «сестра Урсула» и т. д.

XV.

Русскій Таѡіансзукъ.

Долинскій, живучи въ сторонѣ отъ людей, съ одними терзаніями своей несговорчивой совѣсти, мистическими книгами, да еще болѣе мистическими Товянчиками, дошелъ самъ до непостижимаго мистицизма. Онъ уже не видалъ Доры, и даже рѣдко вспоминалъ о ней, но за то совершенно привыкъ спокойно и съ вѣрою слушать, когда Заіончекъ говорилъ дома и у графини Голензовской отъ лица святыхъ, и вообще людей давно отшедшихъ отъ міра. Въ засѣданіяхъ «христіанскаго союза», Заіончекъ говорилъ нѣсколько менѣе о своихъ общеніяхъ съ святыми и съ мертвыми грѣшниками, но все-таки держался по обыкновенію таинственно.

Въ обществѣ, главнымъ образомъ положено было избѣгать всякаго слова о превосходствѣ того или другого христіанскаго исповѣданія надъ прочими. «Всѣ дѣти одного отца нашего Бога, и овцы одного великаго пастыря, положившаго животъ свой за люди», было начертано огненными буквами на бѣлыхъ матовыхъ абажурахъ подсвѣчниковъ съ тремя свѣчами, какія становились передъ каждымъ членомъ. Всѣ должны были помнить этотъ принципъ терпимости, и никогда не касаться вопроса о догматическомъ разногласіи христіанскихъ исповѣданій.

По словамъ Заіончека, цѣлью общества было: *изысканіе средствъ къ освобожденію и соединенію христіанскихъ народовъ путемъ веры*. Задача эта многимъ представлялась весьма темною, и даже вовсе непонятною, но тѣмъ не менѣе, члены терпѣливо выслушивали, какъ Заіончекъ, стоя въ концѣ стола передъ составленною имъ картою «христіанскаго міра», излагалъ мистическія соображенія на счетъ «роковаго развѣтвленія христіанства по свѣту, съ таинственными божескими цѣлями, для осуществленія которыхъ Господь сзываетъ своихъ избранныхъ.» Женщины, слушая Заіончека, поднимали очи къ небу, и шептали молитвы, а мужчины, одни — набожно задумывались, другіе — внимательно слѣдили за ораторомъ, и очевидно старались прозрѣть, чтѣ за смыслъ долженъ скрываться за этими хитросплетеніями. Пораженный тяжестью своей утраты, изнывая передъ неизслѣдимою пучиною своего нравственнаго грѣха, Долинскій былъ въ этомъ собраніи самымъ молчаливымъ членомъ *Wschodniego Kosciola*.

Онъ только самъ все наэлектризовывался мистицизмомъ, и

во всякомъ, самомъ ничтожномъ событіи, склоненъ былъ видѣть, или особые пути божіи, или нарочитые происки дьявольскіе.

Жилъ Долинскій до крайности умѣренно, получая не болѣе семидесяти-пяти франковъ въ мѣсяцъ, съ двухъ ничтожныхъ уроковъ, доставленныхъ ему Заіончекомъ. И за это занятіе Долинскій принялся только тогда, когда въ его карманѣ уже не было ни одного су, изъ денегъ, съ которыми онъ пріѣхалъ въ Парижъ. Онъ жадно берегъ свое время, и все его цѣликомъ отдалъ чтенію и своимъ мистическимъ размышленіямъ. Деньги и всякія другія блага міра сего не имѣли въ его глазахъ ровно никакой цѣны. Со всѣмъ живущимъ у него тоже не было ничего общаго. Міръ человѣческій, для него былъ только міръ грѣха и преступленія, и собственное прошедшее представлялось ему однимъ сплошнымъ, безконечнымъ грѣхомъ. Долинскій утратилъ всякую способность къ какому бы то ни было анализу, и бралъ все на вѣру, во всемъ видѣлъ законъ неотразимой таинственной необходимости и не взывалъ болѣе ни къ своему разуму, ни къ волѣ. Онъ даже не замѣчалъ противорѣчій, весьма ярко высказывавшихся въ поступкахъ Заіончева. Онъ ни разу не задумался надъ тѣмъ, что въ христіанскомъ обществѣ, основанномъ вѣротерпимѣйшимъ патеромъ, не было ни одного лютеранина. Онъ даже не придавалъ никакого значенія тому, что *m-r le prêtre*, сидя разъ передъ каминомъ въ комнатѣ Долинскаго, случайно взялъ иллюстрированную книжку Руаухъ: «*Vie de Calvin*», развернулъ ее, пересмотрѣлъ портреты, и съ омерзѣніемъ бросилъ безцеремонно въ огонь.

Обстоятельствамъ угодно было, чтобы задавленный своимъ и наноснымъ мистицизмомъ, Долинскій сравнялся съ княгиней Голензовскою и прочими мистическими фанатичками, вѣровавшими во всевѣдѣніе и сверхъестественное могущество Заіончека.

Прошла половина поста. Вѣшанный день французскаго *demi-sacréte* угасалъ среди пьяныхъ пѣсень; по улицамъ сновали пьяные студенты, пьяные блузники, пьяныя дѣвочки. Въ погребкахъ, ресторанахъ, и во всякихъ такихъ мѣстахъ были балы, на которыхъ гризеты вознаграждали себя за трехнедѣльное *demi-sмирненіе*. Парижъ бѣсился, и пьяный вспоминалъ свою утраченную свободу.

За то на извѣстной намъ голубятнѣ въ Батиньоль, было необыкновенно тихо, всѣ пажоны и коломбины разлетѣлись. Кромѣ Заіончева и Долинскаго не было дома ни одного жильца: все

пило, бродило и бѣсновалось. Вдругъ патеръ Заіончекъ вошелъ въ комнату Долинскаго.

По торжественной походкѣ, и особенной праздничной солидности, лежавшей на каждомъ движеніи Заіончека, можно было легко замѣтить, что *monsieur le prêtre* находится въ нѣкоторомъ духовномъ восхищеніи. Это восторженное состояніе овладѣвало патеромъ довольно рѣдко, и то единственно лишь въ такихъ случаяхъ, когда ему удавалось приплетать какую-нибудь, необыкновенно ловкую, по его мнѣнію, петельку къ раскинутымъ имъ силкамъ и тенетамъ. Въ такія минуты, Заіончекъ, несмотря на всю свою желчность и сухость, одушевлялся, заносился какъ поэтъ; какъ пламенный импровизаторъ, безпрестанно впадалъ въ открытый разладъ съ логикой и, какъ какой-нибудь дикій вождь полчищъ несметныхъ, пускалъ безъ всякаго такта въ борьбу множество нужныхъ и ненужныхъ силъ.

Впадая въ подобное расположеніе, патеръ всегда ощущалъ неотразимую потребность дать передъ кѣмъ-нибудь изъ вѣрующихъ генеральное сраженіе своимъ врагамъ, причемъ враги его—*раціоналисты*, допускались къ этимъ сраженіямъ только заочно, и, разумѣется, всегда были немилосердно побиваемы наголову.

Ненстоячая ночь *demi-saîete* не давала покоя патеру, хотя онъ и очень крѣпко и очень рано заперся на своей вышкѣ. Кричащій, поющій, пляшущій и бѣснующійся Парижъ давалъ о себѣ знать и сюда. Парижъ не лакомился, а обжирался наслажденіями; какъ морская губка, опъ каждую своею точкою всасывалъ изъ опустившейся тьмы всю темную сладость грѣха и удовольствій. Заіончекъ чувствовалъ это, и не могъ себѣ представить переплета, въ который можно бѣ всунуть всѣ листы, съ записанными грѣхами этой ночи. Книга эта должна быть велика какъ Парижъ, какъ міръ!... нѣтъ больше міра, потому что міръ обновляется, а она должна быть вѣчна; ея гигантскія застѣжки не должны закрываться ни на одну короткую секунду, потому что и одной короткой секунды не прожить безъ грѣха тлѣнному міру.

— Какъ это такъ?... Какъ это тамъ все? задумалъ, и вставши, заходилъ по комнатѣ Заіончекъ.

Сердитый, онъ нѣсколько разъ вскидывалъ своими сухими глазами на темныя стекла длиннаго окна, въ пазы и щели котораго долетали съ улицъ раздражавшіе его звуки, и каждый разъ, въ каждомъ квадратѣ оконнаго переплета, ему мерещились цѣлыя группы рожъ: намалеванныхъ, накрашенныхъ, богопротивнѣйшихъ,

веселыхъ рожъ въ дурацкихъ колпакахъ, зеленыхъ парикахъ, и самыхъ прихотливыхъ мушкахъ.

— Да-съ, ну, такъ-какъ же это тамъ все? говорили онѣ Заіончеку, кривя губы, дергая носами, и посылая ему вызывающія улыбки.

M-r le prêtre послалъ за это самъ миліонъ дьяволовъ во всемъ виноватымъ *раціоналистамъ*, задернулъ ридо, и заходилъ по комнатѣ, еще скорѣе и еще сердитѣе.

Прошло полчаса, и Заіончекъ вдругъ выпрямился, остановился, и медленно вынулъ изъ кармана фуляровый платокъ, съ выбитымъ на немъ планомъ всѣхъ желѣзныхъ дорогъ въ Европѣ. Прошла еще минута, и Заіончекъ просіялъ вовсе; онъ тихо высморгался (что у него въ извѣстныхъ случаяхъ замѣняло улыбку), повернулся на одной ногѣ, и съ солиднѣйшимъ выраженіемъ лица отправился къ Долинскому.

— Мнѣ очень однако же нравятся вотъ эти господа, началъ онъ, усаживаясь передъ каминомъ.

Долинскій посмотрѣлъ на него съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ.

— Я говорю объ этихъ бѣлымистыхъ сычахъ, продолжалъ Заіончекъ, подкинувъ въ каминъ лопатку глянцовитаго угля. — Мнѣ, я говорю, очень они нравятся съ своимъ *знаніями*. Вотъ именно, вотъ эти самые господа, которые про все-то знаютъ, которымъ законы природы очень извѣстны.

Заіончекъ пару секундъ помолчалъ, и приподнимаясь, съ значительной миною съ кресла, воскликнулъ:

— А я имъ говорю, что *они* сычи ночные, что они дупоглазые, бѣлымистые сычи, которымъ ихъ бѣлѣма ничего не даютъ видѣть при божьемъ свѣтѣ! Ночь! ночь имъ нужна! Вотъ тогда, когда изъ темныхъ норъ на землю выползаютъ колючіе ежи, кроты слѣпые, землеройки, а въ сонномъ воздухѣ нетопыри шмыгаютъ— тогда имъ жизнь; тогда имъ жизнь, канальямъ!... И вотъ же чортъ ихъ не возьметъ и не поѣстъ вмѣсто сардинокъ!

Заіончекъ остановился въ ужасѣ надъ этимъ непростительнымъ упущеніемъ чорта.

— Прекрасная, весьма прекрасная будетъ эта минута, когда... фффуу — одно дуновение, и передъ каждымъ вся эта картина его мерзости напишется, и напишется ярко, отчетливо, безъ чернилъ, безъ красокъ, и безъ всякихъ фотографій.

Долинскій молчалъ.

— Что такое *одъ*? произнесъ протяжно съ приставленнымъ ко

лбу пальцемъ Заіончекъ. — Одь: ну, *одъ! одъ!* ну, прекрасно-съ; ну, да что же такое, наконецъ, этотъ *одъ?* Вѣдь нужно же, наконецъ, знать, *что* онъ? *откуда* онъ? *зачѣмъ* онъ? Вѣдь нельзя же такъ сказать: «*одъ* есть невѣсомое тѣло», да и ничего больше. Съ нихъ, съ сычей, этихъ ночныхъ, пускай и будетъ этого довольно, но отчего же это такъ и для другихъ-то должно оставаться, я васъ спрашиваю?

Заіончекъ остановился съ высоко-поднятыми плечами передъ Долинскимъ. Черезъ минуту онъ сталъ медленно опускать плечи, вытянувъ впередъ руки, полузакрывъ вѣками свои сухіе глаза и, потянувшись грудью на руки, произнесъ: *вотъ одъ!*

Долинскій попрежнему смотрѣлъ на патера, совершенно спокойно.

— Въ какомъ я положеніи есть, въ такомъ онъ тончайшимъ, невѣсомымъ тѣломъ отъ меня и отдѣляется, продолжалъ Заіончекъ. (Сказавъ это, патерь сдѣлалъ въ молчаніи два различныя движенія руками, какъ-бы отражая отъ себя буда-то два различныя изображенія; потомъ дунулъ, напряженно посмотрѣлъ вслѣдъ за своимъ дуновеніемъ, и заговорилъ двумя нотами ниже). Одь отдѣлился и летитъ; онъ — *я*, но тонкое... невѣсомое. Теперь воздухъ передаетъ это эфиру; эфиръ — далѣе. Все это летитъ, летитъ вѣка, тысячелѣтія летитъ, и по извѣстнымъ тамъ законамъ отпечатывается наконецъ на какой-нибудь огромной, самой далекой планетѣ. Міръ рушится; земля распадается золою; наши плотскіе глаза выгорѣли; мы видимъ далеко, и вотъ тебѣ передъ тобой *твоя картина*. Ты весь въ ней, съ тѣхъ поръ, какъ бабка перерѣзала тебѣ нуповину, до моего послѣдняго «аминь» надъ твоей могилой. Ты это?... Нѣтъ, не отречешься; весь ты тамъ со всей своей исторіей. И эта ночь, и эта ночь сугубаго разврата, кровосмѣшенія, и всякаго содомскаго грѣха! вскрикнулъ громко патерь. — Она вся тамъ печатается нынче, докончилъ онъ однимъ шипящимъ придыханіемъ, и швырнувъ Долинскаго за рукавъ къ окну, грозно указалъ ему на темное небо, слегка подкрашенное снизу мпіадами рожковъ горячаго въ городѣ газа.

— Вотъ какъ пишется книга! Вотъ какъ отмѣчаются слѣды всѣхъ этихъ летучихъ мышей ночныхъ, всѣхъ этихъ кротиковъ, всѣхъ этихъ землероевъ!

Сказавши это съ особымъ эффектомъ, Заіончекъ такъ же порывисто выбросилъ руку Долинскаго, какъ взялъ ее, и заходилъ по комнатѣ. Освобожденный Долинскій тотчасъ же сѣлъ верхомъ

на свой стулъ, и положивъ подбородокъ на спинку, молча смотрѣлъ на патера, безъ любопытства, безъ вниманія и безъ участія.

— Да, это такъ; это несомнѣнно такъ! утверждалъ себя въ это время вслухъ патерь. — Да, солнце и сѣнца. Пространства очень много... Душамъ роскошно плавать. Онѣ всѣ смотрятъ внизъ; лица всегда спокойныя; имъ все равно... Чтѣ здѣсь дѣлается, это имъ все равно: это ихъ не тревожитъ... имъ это — мерзость, гниль. Я вижу... видны мнѣ оттуда всѣ эти умники, всѣ эти конкубинны, всѣ эти черви, въ гною зеленомъ, въ смрадѣ, поднимающемъ вроту? — Мерзко!

«Да, тому, кто въ годы постоянные вошелъ, тому женская прелесть даже и скверна», мелькнуло въ головѣ Долинскаго, и вдругъ причудилась ему Москва, ея малый театр, купецъ Толстогораздовъ, живая жизнь съ людьми живыми, и всѣ вы, все-прощающіе, всезабывающіе, незлобивые люди русскіе, и сама ты, наша плакучая береза, наша браная Русь-просторная. Всѣ вы, странныя, жгучія воспомнанія, все это разомъ толкнулось въ его сердце, и что-то новое, или лучше сказать, что-то давно забытое, гдѣ-то тихо зазвенѣло ему манящими, путеводными колокольчиками.

Долинскій на мгновеніе смутился, и черезъ другое такое же летучее мгновеніе, невыразимо обрадовался, ощутивъ, что память его падаетъ, какъ надтреснувшая пружина, и спокойная тупость ложится по всѣмъ краямъ воображенія.

«Но, впрочемъ, это все... непонятно», подумалъ онъ сквозь сонъ, и съ наслажденіемъ почувствовалъ, что мозгъ его все крѣпче и крѣпче усваиваетъ себѣ самыя спокойныя привычки.

Долго еще патерь сидѣлъ у Долинскаго, и грѣлъ передъ его каминомъ свои толстыя, упругія ляжки; много еще рассказывалъ онъ объ одѣ, о плавающихъ душахъ, о сверхъестественныхъ явленіяхъ, и о томъ, что сверхъестественное не есть противоположенное, а есть только непонятное, и что пониманіе свое можно расширить и уяснить до безконечности, что душу и думы человѣка можно видѣть такъ же, какъ его носъ и подбородокъ. Долинскій слабо вслушивался въ весь этотъ сумбуръ, и чувствовалъ, что онъ самъ уже давно не отъ міра сего, что онъ давно плыветъ въ пространствѣ, и съ краями сръбъ полонъ всяческаго равнодушія ко всему, чтѣ видитъ и слышитъ.

Но, наконецъ, усталъ и патерь; онъ взглянулъ на свой толстый

хронометръ, зѣвнулъ, и потянувшись передъ огнемъ, отправился къ своему ложу.

Какъ только Заіончекъ вышелъ за двери, Долинскій спокойно подвинулъ къ себѣ оставленную при входѣ патера книгу, и началъ ее читать съ невозмутимымъ, холоднымъ вниманіемъ.

Часы въ коридорѣ пробили два.

Долинскій ужъ хотѣлъ лечь въ постель, какъ въ его дверь кто-то слегка стукнулъ.

XVI.

ИСКУШЕНІЯ.

— Кто тамъ? тихо спросилъ Долинскій, удивленный такимъ позднимъ посѣщеніемъ.

— Мы, ваши сосѣдки, отвѣчалъ ему такъ же тихо молодой женскій голосъ.

— Чтò вамъ угодно, *mesdames*?

— Спичку, спичку; мы возвратились съ бала, и у насъ огня нѣтъ. Долинскій открылъ дверь.

Передъ нимъ стояли обѣ его сосѣдки, въ широкихъ панталончикахъ изъ ярко-цвѣтной тафты, обшитыхъ съ боковъ дешевенькими кружевами; въ прозрачныхъ рубашечкахъ, съ непозволительно-спущенными воротниками, и въ цвѣтныхъ шелковыхъ колпачкахъ, ухарски-заломленныхъ на туго-завитыхъ и напудренныхъ головкахъ. Въ рукахъ у одной была зажженная стеариновая свѣчка, а у другой — литръ краснаго вина, и тонкая, въ аршинъ длинная итальянская колбаса.

Не успѣлъ Долинскій выговорить ни одного слова, обѣ дѣвушки вскочили въ его комнату и весело захохотали.

— Мы пришли къ вамъ, любезный сосѣдъ, сломать съ вами постъ.—Рады вы намъ? прошебетала *m-lle Augustine*.

Она поставила на столъ высокую бутылку, сѣла верхомъ на стулъ республики, и положивъ локти на его спинку, откусила большой кусокъ колбасы, выплюнула кожицу и начала усердно жевать мясо.

— Цѣломудренный Іосифъ! воскликнула *Marie*, повалившись на постель Долинскаго и выкинувъ ногами неимоверный грендель:—хотите я вамъ представлю Жоко или бразильскую обезьяну?

Долинскій стоялъ неподвижно посреди своей комнаты. Онъ замѣтилъ, что обѣ дѣвушки нѣны и не зналъ, чтò ему съ ними дѣлать

Гризеты, смотря на него, помирали со смѣху.

— *Tiens!* вы, кажется, собираетесь насъ выбросить? спрашивала одна.

— Нѣтъ, мой другъ, онъ читаетъ молитву отъ злого духа, утверждала другая.

— Нѣтъ... Я ничего, отвѣчалъ растерянный Долинскій, который дѣйствительно думалъ о проискахъ злого духа.

— Ну, такъ садитесь. Мы веселились, плясали, ѣздили, но все-таки вспомнили: что-то дѣлаетъ нашъ бѣдный сосѣдь?

Marie вскочила съ постели, взяла Долинскаго однимъ пальчикомъ подъ бороду, посмотрѣла ему въ глаза и сказала:

— Онъ, право, еще очень и очень годится.

— Любезень, какъ бѣлый медвѣдь! отвѣчала Augustine, глотая новый кусокъ колбасы.

— Мы принесли съ собой вина и ужинъ, однимъ очень скучно, мы пришли въ вамъ. Садитесь, командовала Marie, и толкнувъ Долинскаго въ кресло королевства, сама вспрыгнула на его колѣни и обняла его за шею.

— Позвольте, просилъ ее Долинскій, стараясь снять ее руку.

— Та-та-та! совсѣмъ ненужно, отвѣчала дѣвушка, отпихивая локтемъ его руку, а другою рукою наливая стаканъ вина и поднося его къ губамъ Долинскаго.

— Я не пью.

— Не пьешь! *Cochon!* не пьетъ въ *demi-sarême*. Я на голову вылью. Дѣвушка подняла стаканъ и слегка наклонила его на бокъ.

Долинскій выхватилъ его у нея изъ рукъ и выпилъ половину. Гризета проглотила остальное и быстро повернувшись на колѣняхъ Долинскаго, сдѣлала сладострастное движеніе головой и бровью.

— Посмотрите, какое у нея плечико! произнесла Augustine, толкнувъ сзади голое плечо Marie къ губамъ Долинскаго.

— *Tiens!* я думаю, это не такъ худо въ *demi-sarême*! говорила она, смѣясь и глядя, какъ Marie, весело закусивъ губы, держать у себя подъ плечикомъ голову растеряшагося мистика.

— Пусть будетъ тьма и любовь! воскликнула Augustine, дунувъ на свѣчу и оставляя комнату при слабѣйшемъ освѣщеніи догнѣвашаго камина.

— Пусть будетъ свѣтъ и разумъ! произнесъ другой голосъ, и и анорогъ показала суровая фигура Заюнчека. Онъ былъ въ бѣлыхъ ночныхъ панталонахъ, красной вязаной фуфайкѣ и си-

немъ спальномъ колпакѣ. Въ одной его рукѣ была зажженная свѣча, въ другой—толстый красный шнуръ, которымъ m-r le prêtre обыкновенно подпоясывался по халату.

— Вонъ, къ ста-тысячамъ чертей отсюда, гнилыя дочери грѣха! крикнулъ онъ на дѣвушекъ, для которыхъ всегда было страшно и ненавистно его появленіе.

Marie испугалась. Она соскользнула съ колѣнъ неподвижно сидѣвшаго Долинскаго, пируэтомъ перелетѣла его комнату и исчезла за дверью. Augustine направилась за нею. Пропуская мимо себя послѣднюю, m-r le prêtre съ злостью очень сильно ударилъ ее шнуркомъ по тоненькимъ тафтянымъ панталончикамъ.

— Vous m'etourdissez! подпрыгнувъ отъ боли, крикнула гризета и скрылась за подругою въ дверь своей комнаты.

— Ne faites plus de bruit! проговорилъ у ихъ запертой двери черезъ минуту Заіончекъ.

— Pas beaucoup, pas beaucoup! отвѣчали гризеты.

Заіончекъ зашелъ въ комнату одинокаго Долинскаго, стоявшаго надъ оставленными гризетами виномъ и колбасою.

— Я неспокоенъ былъ съ тѣхъ поръ, какъ легъ въ постель и мой тревожный духъ во время послалъ меня туда, гдѣ я былъ нуженъ, проговорилъ онъ.

— Благодарю васъ, отвѣчалъ Долинскій: — я совсѣмъ не зналъ, что мнѣ съ ними дѣлать.

Богъ-знаетъ, чѣмъ бы окончилъ здѣсь совершенно поглощенный мистицизмомъ Долинскій, еслибы судьбѣ не угодно было подставить Долинскому новую штуку.

Одинъ разъ, возвратясь съ урока, онъ засталъ у себя на столѣ письмо, доставленное ему по городской почтѣ.

Долинскій наморщилъ лобъ. Рука, которою былъ надписанъ конвертъ, на первый взглядъ показалась ему незнакомою, и онъ долго не хотѣлъ читать этого письма. Но наконецъ сломалъ печать, досталъ листокъ и остолбенѣлъ. Записка была писана нессмыслино Анною Михайловною.

«Я вчера вечеромъ пріѣхала въ Парижъ и пробуду здѣсь всего около недѣли, писала Долинскому Анна Михайловна.—Поэтому, если вы хотите со мною видѣться, приходите въ Hôtel Corneille, противъ Одеона, № 16. Я дома до одиннадцати часовъ утра и съ семи часовъ вечера. Во все это время я очень рада буду васъ видѣть».

Долинскій отбросилъ отъ себя эту записку, потомъ схватилъ

ее и перечиталъ снова. На дворѣ былъ седьмой часъ въ исходѣ. Долинскій хотѣлъ пойти къ Заіончеку, но вмѣсто того, только побѣгалъ по комнатѣ, схватилъ свою шляпу и опрометью бросился къ мѣсту, гдѣ останавливается омнибусъ, проходящій по Латинскому кварталу.

Долинскій бѣжалъ по улицѣ съ сильно бьющимся сердцемъ и спирающимся дыханіемъ. «Жизнь! жизнь! говорилъ онъ себѣ. — Какъ давно я не чувствовалъ тебя такъ сильно и такъ близко!»

Какъ только омнибусъ тронулся съ мѣста, Долинскій вдругъ посмотрѣлъ на Парижъ, какъ мы смотримъ на мѣста, которыя должны скоро покинуть; почувствовалъ себя вдругъ отрѣзаннымъ отъ Заіончека, отъ перечитанныхъ мистическихъ бредней и блѣдныхъ созданій своего больного духа. Жизнь, жизнь, ея обаятельное очарованіе снова поманила пострадавшаго, разбитого мистика, и завидѣвъ на темпѣющемъ вечернемъ небѣ сѣрый силуэтъ Одеона, Долинскій вздрогнулъ и схватился за сердце.

Черезъ двѣ минуты онъ стоялъ на лѣстницѣ отеля Корнеля и чувствовалъ, что у него гнутся и дрожатъ колѣни.

«Что я скажу ей? Какъ я взгляну на нее?» думалъ Долинскій, взявшись рукою за ручку звонка у 16 №.

— Можетъ быть, лучше, еслибы теперь ея не было еще дома? рассуждалъ онъ, чувствуя, что всѣ силы его оставляютъ, и робко потянулъ колокольчикъ.

— Entrez! прознесъ изъ номера знакомый голосъ.

Несторъ Игнатѣвичъ пріотворилъ дверь и спотыкнулся.

— Не будетъ добра, сказалъ онъ себѣ съ досадою, тревожась незабытою съ дѣтства примѣтой.

XVII.

Завлудшая овца и ея пастуха.

Отворивъ дверь изъ коридора, Долинскій очутился въ крошечной, чистенькой передней, отдѣленной тяжелою драпировкою отъ довольно большой, хорошо меблированной и ярко освѣщенной комнаты. Прямо противъ приподнятыхъ полосъ матеріи, раздѣлявшей нумеръ, стоялъ ломберный столъ, покрытый чистою, бѣлою салфеткой; на немъ весело кипящій самоваръ и по бокамъ его двѣ стеариновыя свѣчи въ высокихъ блестящихъ шандалахъ, а за столомъ, въ глубинѣ дивана, сидѣла сама Анна Ми-
*

хайловна. При входѣ Долинскаго, который очень долго копался, снимая свои калоши, она выдвинула изъ-за самовара свою голову, и заслонивъ ладонью глаза, внимательно смотрѣла въ переднюю.

На Аннѣ Михайловнѣ было черное шелковое платье, съ высокимъ лифомъ и безъ всякой отдѣлки, да бѣлый воротничокъ оеоло шей.

Долинскій наконецъ показался между полами драпировки, закрылъ рукою свои глаза и остановился, какъ вкопанный.

Анна Михайловна теперь его узнала; она покраснѣла и смотрѣла на него молча.

— Я не смѣю глядѣть на тебя, тихо произнесъ, не отнимая отъ глазъ руки, Долинскій.

Анна Михайловна не отвѣчала ни слова и продолжала съ любопытствомъ смотрѣть на его исхудавшую фигуру и ветхое коричневое пальто, на которомъ вытертые швы обозначались желто-бѣлыми полосами.

— Прости! еще тише произнесъ Долинскій. Съ этимъ словомъ онъ опустился на колѣни, поставилъ передъ собою свою шляпу, досталъ изъ кармана довольно грязноватый платокъ и обтеръ имъ выступившій на лбу потъ.

Анна Михайловна беспокойно поднялась съ своего мѣста и молча прошла два или три раза по комнатѣ.

— Встаньте, пожалуйста, проговорила она Долинскому.

— Прости, проговорилъ онъ еще тише и не трогаясь съ мѣста.

— Встаньте, сказала опять Анна Михайловна.

Долинскій медленно приподнялся, и взявъ въ руки свою шляпу, снова сталъ, опустил голову, на томъ же самомъ мѣстѣ.

Анна Михайловна во все это время не могла оправиться отъ перваго волненія. Пройдась еще раза два по комнатѣ, она повернула къ окну и старалась незамѣтно утереть слезы.

— Не извиненія, а христіанской милости, прощенія... началъ было снова Долинскій.

— Не надо! не надо! Пожалуйста, ни о чемъ этомъ говорить не надо! нервно перебила его Анна Михайловна, и вынувъ изъ кармана платокъ, вытерла глаза и спокойно сѣла къ самовару.

— Что жъ вы стоите у двери? спросила она, не смотря на Долинскаго.

Тотъ сдѣлалъ шагъ впередъ, поставилъ себѣ стулъ и сѣлъ молча.

— Какъ вы здѣсь живете? спросила его черезъ минуту Анна Михайловна, стараясь говорить какъ можно спокойнѣе.

— Худо, отвѣчалъ Долинскій.

Анна Михайловна молча подала ему чашку чаю.

— И давно вы здѣсь? спросила она послѣ новой паузы.

— Скоро полтора года.

— Чѣмъ же вы занимаетесь?

Долинскій подумалъ, чѣмъ онъ занимается, и отвѣчалъ:

— Даю уроки.

— Мы съ Ильею Макарычемъ о васъ долго справлялись; нѣсколько разъ писали вамъ въ Ниццу, письма приходили назадъ.

— Да меня тамъ, вѣрно, ужъ не было.

— Илья Макарычъ кланяется вамъ, сказала Анна Михайловна послѣ паузы.

— Спасибо ему, отвѣчалъ Долинскій.

— Вашъ редакторъ нѣсколько разъ о васъ спрашивалъ Илью Макарыча.

— Богъ съ ними со всѣми.

Анна Михайловна посмотрѣла на испитое лицо Долинскаго, и остановивъ глаза на бѣломъ швѣ его рукава, сказала:

— Какъ вы бережливы! Это у васъ еще петербургское пальто?

— Да, очень прочная матерія, отвѣчалъ Долинскій.

Анна Михайловна посмотрѣла на него еще пристальнѣе и спросила:

— Не хотите ли вы стаканъ вина?

— Нѣтъ, благодарю васъ, я не пью вина.

— Можетъ быть, рому къ чаю?

Долинскій взглянулъ на нее и отвѣтилъ:

— Вы, можетъ быть, подозреваете, что я началъ пить?

— Нѣтъ, я такъ просто спросила, сказала Анна Михайловна и покраснѣла.

Долинскій видѣлъ, что онъ отгадалъ ея мысль и спокойно добавилъ:

— Я ничего не пью.

— Скажи же, пожалуйста, отчего ты такъ... похудѣлъ, поста-рѣлъ... опустился?

— Горе, тоска меня съѣли.

Анна Михайловна покатила въ пальцахъ хлѣбный шарикъ, и повертывая его въ двухъ пальцахъ передъ свѣчкою, сказала:

— Невозвратимаго ни воротить, ни поправить невозможно.

— Я не знаю, что съ собой дѣлать? Что мнѣ дѣлать, чтобы примирить себя съ собою?

Анна Михайловна пожала плечами и опять продолжала катать шарикъ.

— Я бѣгу отъ людей, бѣгу отъ мѣстъ, которыя напоминаютъ мнѣ мое прошлое; я самъ чувствую, что я не человѣкъ, а такъ, какая-то могила... трупъ. Во мнѣ уснула жизнь, я ничего не желаю, но мои несносныя муки, мои терзанія!...

— Что же васъ особенно мучить? спросила не сводя съ него глазъ Анна Михайловна.

— Все... вы, она... мое собственное ничтожество, и...

— И что?

— И всего мнѣ жаль порой, всего жаль: скучно, холодно одному на свѣтѣ... проговорилъ Долинскій съ болѣзненной гримасой въ лицѣ и досадою въ голосѣ.

— Не будемъ говорить объ этомъ. Прошлаго ужъ не воротить. Рассказывайте лучше, какъ вы живете?

Долинскій коротко разсказалъ про свое однообразное житье, умолчалъ однако о Заюнчекѣ и обществѣ соединенныхъ христіанъ.

— Ну, а впередъ?

— Впередъ? — Долинскій развелъ руками и проговорилъ:

— Можетъ быть, то же самое.

— Утѣшительно!

— Это все равно: хорошаго гдѣ взять?

Анна Михайловна промолчала.

— Чего жъ вы не возвращаетесь въ Россію? спросила она его черезъ нѣсколько минутъ.

— Зачѣмъ?

— Какъ, зачѣмъ? Вѣдь вы, я думаю, русскій.

— Да, можетъ быть, я и возвращусь... когда-нибудь.

— Зачѣмъ же *когда-нибудь*! Поѣдьте вмѣстѣ.

— Съ вами? А вы скоро ѣдете?

— Черезъ нѣсколько дней.

— Вы пріѣхали за покупками?

— Да, и за вами, улынувшись отвѣчала Анна Михайловна. Долинскій потупясь смотрѣлъ себѣ на ногти.

— Пора, пора вамъ вернуться.

— Дайте подумать, отвѣчалъ онъ, чувствуя, что сердце его забилося не совѣтмъ обыкновеннымъ боемъ.

— Нечего и думать. Никакое прошлое не поправляется хан-

дрою, да чудачествомъ. Отряхнитесь, оправьтесь, станьте на ноги: вѣдь на васъ жалъ смотрѣть.

Долинскій вздохнулъ и сказалъ:

— Спасибо вамъ.

— Я завтра, можетъ быть, пришелъ бы къ вамъ утромъ, говорилъ онъ, прощаясь.

— Разумѣется, приходите.

— Часовъ въ восемь... можно?

— Да, конечно, можно, отвѣчала Анна Михайловна.

Проводивъ Долинскаго до дверей, она вернулась и стала у окна. Черезъ минуту на улицѣ показался Долинскій. Онъ вышелъ на середину мостовой, сдѣлалъ шагъ и остановился въ раздумѣ; потомъ перешагнувъ еще разъ и опять остановился и вынулъ изъ кармана платокъ. Вѣтеръ рванулъ у него изъ рукъ этотъ платокъ и покатилъ его по улицѣ. Долинскій какъ-бы не замѣтилъ этого и тихо побрелъ далѣе. Анна Михайловна еще часа два ходила по своей комнатѣ и говорила себѣ:

— Вѣднѣй! бѣднѣй, какъ онъ страдаетъ!

XVIII.

Рѣшительный шагъ.

Долинскій провелъ у Анны Михайловны два дня. Аккуратно онъ являлся съ первымъ омнибусомъ въ восемь часовъ утра и уѣзжалъ домой съ послѣднимъ въ половинѣ двѣнадцатаго. Долинскаго не оставляла его давнишняя задумчивость, но онъ сталъ замѣтно спокойнѣе и даже минутами оживлялся. Однако, оживленность эта была непродолжительною: она появлялась неожиданно, какъ-бы въ минуты забвенія, и исчезала такъ же быстро, какъ будто по мановенію какого-то призрака, проносившагося передъ тревожными глазами Долинскаго.

— Когда мы ѣдемъ? спрашивалъ онъ въ волненіи на третій день пребыванія Анны Михайловны въ Парижѣ.

— Дня черезъ два, отвѣчала ему спокойно Анна Михайловна.

— Скорѣй бы!

— Это не далеко, кажется?

Долинскій хрустнулъ пальцами.

— Вы не боитесь ли раздумать? спросила его Анна Михайловна.

— Я!... Нѣтъ, съ какой же стати раздумать?

— То-то.

— Мнѣ здѣсь нечего дѣлать.

«А что я буду дѣлать тамъ? Какое мое положеніе? Послѣ всего того, что было, чѣмъ должна быть для меня эта женщина! размышлялъ онъ, глядя на ходящую по комнатѣ Анну Михайловну.— Чѣмъ она для меня можетъ быть?... Нѣтъ, не чѣмъ *можетъ*, а чѣмъ она должна быть? А почему же именно должна?... Опять все какая-то путаница!»

Долинскій тревожно всталъ и простился съ Анной Михайловной.

— До утра, сказала она ему.

— До утра, отвѣчалъ онъ холодно и почтительно цалуя ея руку.

Войдя въ свою комнату, Долинскій, не зажигая огня, бросилъ шляпу и повалился въ потьмахъ совсѣмъ одѣтый на постель.

— Нѣтъ! воскликнулъ онъ часа черезъ два, быстро вскочивъ съ постели.— Нѣтъ! нѣтъ! Я знаю тебя; я знаю, я знаю тебя, змѣиная мысль! повторялъ онъ въ ужасѣ, и выскочивъ изъ своей комнаты, постучался въ двери Заіончека.

— Помогите мнѣ, спасите меня! сказалъ онъ, бросаясь къ патеру.

— Чтобы лечить язвы, прежде надо ихъ видѣть, проговорилъ Заіончекъ, торопливо вставая съ постели.— Открой мнѣ свою душу.

Долинскій разсказалъ о всемъ случившемся съ нимъ въ эти дни.

— Отецъ мой! Отецъ мой! повторилъ онъ, заплакавъ и ломая руки:— я не хочу лгать... въ моей груди... теперь, когда лежалъ я одинъ на постели, когда я молился, когда я звалъ къ себѣ на помощь Бога... Ужасно!... Мнѣ показалось... я почувствовалъ, что *жить хочу*, что мертвое все умерло совсѣмъ; что нѣтъ его нигдѣ, и эта женщина живая... для меня дороже неба; что я люблю ее гораздо больше, чѣмъ мою душу, чѣмъ даже...

— Глупецъ! рѣзкимъ, змѣинымъ придыханіемъ шепнулъ Заіончекъ, зажимая ротъ Долинскому своей рукою.

— Нѣтъ силъ... страдать... терпѣть и ждать... чего? чего, скажите? Мой умъ погибъ, и самъ я гибну... Неужто жъ это жизнь? Вѣдь дьяволъ такъ не мучится, какъ измучилъ себя я въ этомъ тѣлѣ!

— Дрянная персть земная непокорна.

— Нѣтъ, я покоренъ.

— А путь готовъ давно.

— И гдѣ же онъ?

— Онъ?... Пойдемъ, я покажу его: путь вѣрный примириться съ жизнью.

— Нѣтъ, убѣжать отъ ней...

— И убѣжать ея.

Долинскій только опустил голову.

Черезъ полчаса меркнушіе фонари Батиньоля короткими мгновеніями освѣщали двѣ торопливо шедшія фигуры: одна изъ нихъ, сильная и тяжелая, принадлежала Заіончеку; другая, слабая и колеблющаяся — Долинскому.

XIX.

Кто въ чемъ остался.

Анна Михайловна напрасно ждала Долинскаго и утромъ, и къ обѣду, и къ вечеру. Его не было цѣлый день. На другое утро она написала ему записку и ждала къ вечеру отвѣта, или, лучше сказать, она ждала самого Долинскаго. Ожиданія были напрасны. Прошелъ еще цѣлый день—не приходило ни отвѣта, не бывалъ и самъ Долинскій, а по условію вечеромъ слѣдующаго дня нужно было выѣзжать въ Россію.

Анна Михайловна находилась въ большомъ затрудненіи. Часу въ восьмомъ вечера, она надѣла бурнусъ и шляпу, взяла фіакръ и велѣла ѣхать на Батиньоль.

Съ большимъ трудомъ она отыскала квартиру Долинскаго и постучалась у его двери. Отвѣта не было. Анна Михайловна постучала второй разъ. Въ темный коридоръ отворилась дверь изъ № 10-го и на порогѣ показался во всю свою нелѣпую вышину m-r le prêtre Zaionczek.

— Чтò вамъ здѣсь нужно? сердито спросилъ онъ Анну Михайловну порусски, произнося каждое слово съ особеннымъ твердымъ удареніемъ.

— Миѣ нужно господина Долинскаго.

— Его нѣтъ здѣсь: онъ здѣсь не живетъ, отвѣчалъ патеръ.

— Гдѣ же онъ живетъ?

Патеръ сдѣлалъ шагъ назадъ въ свою комнату, и ткнувъ въ руки Аннѣ Михайловнѣ какую-то бумажку, сказалъ:

— Отправляйтесь-ка домой.

Дверь номера захлопнулась, и Анна Михайловна осталась одна въ грязномъ коридорѣ, слабо освѣщенномъ подслѣповатою плошкою. Она разорвала конвертъ и подошла къ огню. При трепет-

номъ мерцаніи плошки нельзя было прочесть ничего, что написано блѣдными чернилами.

Анна Михайловна нетерпѣливо сунула въ карманъ бумажку, съѣла въ фіакръ и велѣла ѣхать домой.

Въ своемъ номерѣ она зажгла свѣчу, и держа въ дрожащихъ рукахъ бумажку, прочла: «Я не могу ѣхать съ вами. Не ожидайте меня и не ищите. Я сегодня же оставляю Францію и буду далеко молиться о васъ и о мірѣ».

Анна Михайловна осталась на одномъ мѣстѣ, какъ остолбенѣлая. На другой день ея уже не было въ Парижѣ.

Прошло болѣе двухъ лѣтъ. Анна Михайловна попрежнему жила и хозяйничала въ Петербургѣ. О Долинскомъ не было ни слуха, ни духа.

За Анной Михайловной многіе пріударяли самымъ серьезнымъ образомъ, и наконецъ одинъ статскій совѣтникъ предлагалъ ей свою руку и сердце. Анна Михайловна ко всѣмъ этимъ исканіямъ оставалась совершенно равнодушною. Она до сихъ поръ очень хороша и ведетъ жизнь совершенно уединенную. Ее можно видѣть только въ магазинѣ, или во Владимірской церкви за раннею обѣдней.

Анна Анисимовна съ своими дѣтьми живетъ у Анны Михайловны въ бывшихъ комнатахъ Долинскаго. Отношенія ихъ съ Анной Михайловной самыя дружескія. Анна Анисимовна никогда ничего не говоритъ хозяйкѣ ни о Доружкѣ, ни о Долинскомъ, но каждое воскресенье приноситъ съ собою отъ ранней обѣдни вынутую заупокойную просфору. Долинскаго она терпѣть не можетъ, и при каждомъ случайномъ воспоминаніи о немъ, лицо ея судорожно передергивается и принимаетъ выраженіе суровое, даже мстительное.

Mlle Alexandrine тоже попрежнему живетъ у Анны Михайловны, и нынче больше, чѣмъ когда-нибудь, считаетъ свою хозяйку совершенною душою.

Илья Макаровичъ нисколько не измѣнился. Онъ постарому льетъ пули и суетится. Глядя на Анну Михайловну, какъ она при всемъ желаніи казаться счастливою и спокойною, часто живетъ ничего не видя и не слыша и по цѣлымъ часамъ сидитъ задумчиво,

склонивъ голову на руку, онъ часто повторяетъ себѣ: «за что, про что только все это развѣялось и пропало?»

— Да полюбите вы кого нибудь! говорить онъ иногда, подмѣчая несносную тоску въ глазахъ Анны Михайловны.

— Погодите еще, сѣдого волоса жду, отвѣчаетъ она, стараясь улыбаться.

Жена Долинскаго живетъ на Арбатѣ въ собственномъ двухэтажномъ домѣ и держитъ въ рукахъ своего сѣдого благодѣтеля. Викторинушку выдали замужъ за вдоваго квартальнаго. Она пожила годъ съ мужемъ, овдовѣла и снова вышла за молодого врача больницы, учрежденной какимъ-то «человѣколюбивымъ обществомъ», которое Матроска безъ всякой задней мысли называетъ обыкновенно «самолюбивымъ обществомъ». Сама же Матроска состоитъ у старшей дочери въ ключницахъ; зять-лекаръ не пускаетъ ее къ себѣ на порогъ.

Вырвичъ и Шпандорчукъ, благодаря Бога, живы и здоровы. Они теперь служатъ гайдуками, или держимордами при какомъ-то приставѣ исполнительныхъ дѣлъ по вѣдомству нигилистической полиціи, и уже были два раза въ дѣлѣ, а за третьимъ, слышно, будутъ отправлены въ смиреннѣйшій домъ. Имена ихъ, вѣроятно, передадутся исторіи, такъ-какъ они первые запротестовали противъ уничтоженія въ Россіи тѣлеснаго наказанія и считаютъ его одною изъ необходимыхъ мѣръ нравственнаго исправленія. Положеніе этихъ людей вообще самое нерадостное; доружкино предсказаніе надъ ними сбывается: они рѣшительно не знаютъ, за что имъ зацѣпиться и на какой колокъ себя повѣсить. Взять тягло въ толокѣ житейской — руки ихъ лѣнны и слабы; міряне ихъ не замѣчаютъ; «мыслящіе реалисты», къ которымъ они жмутся и которыхъ увѣряютъ въ своей съ ними солидарности, тоже сторонятся отъ нихъ и чураются. Стоять эти бѣдные, «запланные» люди въ сторонѣ ото всего живаго, стоять потерянно, какъ тѣ іудейскіе воины, которыхъ вождь покинулъ у потока, и повелъ впередъ только однихъ локавшихъ по-песью. Стоять они даже не ожидая, что къ нимъ придетъ новый Геденъ, который выжметъ передъ ними руно и разобьетъ водоносъ свой, а растерявшись измышляютъ только, какъ бы еще что нибудь почуднѣе выкинуть въ своей старой, нигилистической курткѣ.

Вѣра Сергѣевна Онучина возбуждаетъ всеобщую зависть и удивленіе. Она нынче одна изъ блистательнѣйшихъ дамъ самаго представительнаго русскаго посольства. Мужа своего она терпѣтъ

не можетъ, но и весьма равнодушно относится ко всѣмъ иска-
тельствамъ свѣтскихъ львовъ и онагровъ. По столичной хроникѣ,
ея теплымъ вниманіемъ до сихъ поръ пользуется только одинъ
primo tenore итальянской оперы. Что будетъ далѣе — пока неиз-
вѣстно. Серафима Григорьевна читаетъ сочиненія аббата Гатѣ
и проклиная Ренана. Кирилъ Сергѣевичъ сдѣлался туристомъ.
Онъ объѣхалъ западный берегъ Африки и путешествовалъ по
всей Америкѣ. Недавно онъ возвратился въ Петербургъ и при-
везъ первое и послѣднее пзвѣстіе о Долинскомъ. Онучинъ ви-
дѣлъ Нестора Игнатьевича съ іезуитскими миссіонерами въ Пара-
гваѣ. По словамъ Кирила Сергѣевича, на всѣ вопросы, кото-
рые онъ дѣлалъ Долинскому, тотъ съ ненарушимымъ спокойствіемъ
отвѣчалъ только «momento mori»!

ПАРА СТРОКЪ ВМѢСТО ЭПИЛОГА.

Хищная, возвратная горячка, вычеркнувшая прошедшую зиму
такъ много человѣческихъ именъ изъ списка живыхъ питерщи-
ковъ, отвела сажень приневской тундры для синьоры Лупзы. Без-
покойная подруга Ильи Макаровича улеглась на вѣчный покой
въ холодной могилѣ на Смоленскомъ кладбищѣ, оставивъ худож-
нику пятилѣтняго сына, восьмилѣтнюю дочь и вѣсель, взятый
ею когда-то въ обезпеченіе себѣ вѣрной любви до гроба. Илья
Макаровичъ совсѣмъ засуетился съ спронтами и надѣлалъ бы
богъ-вѣсть какой чепухи, еслибы въ спасеніе дѣтей не вступи-
лась Анна Михайловна. Она взяла ихъ къ себѣ и возится съ
ними какъ лучшая мать. Илья Макаровичъ прибѣгаетъ теперь
сюда каждый день взглянуть на своихъ ребятъ, восторгается
ими, поучаетъ ихъ любви и почтенію къ Аннѣ Михайловнѣ; да-
луетъ ихъ черненькія головенки и нерѣдко плачетъ надъ ними.
Онъ совсѣмъ не можетъ сладить съ теперешнимъ своимъ одиноче-
ствомъ и, по собственному его выраженію, «нудится жизнью»,
скучается ею. Недавно (читатель совершенно удобно можетъ во-
образить, что это было вчера вечеромъ), Илья Макаровичъ явился
къ Аннѣ Михайловнѣ съ лицомъ блѣднымъ, озабоченнымъ и
серьезнымъ.

— Что съ вами, милый Илья Макарычъ? спросила его съ
своимъ всегдашнимъ теплымъ участіемъ Анна Михайловна, тро-
гаясь рукою за плечо художника.

Илья Макаровичъ быстро поцаловалъ ея руку, отбѣжалъ въ сторону и заморгаль.

— Чтѣ съ вами такое сегодня? переспросила снова подходя къ нему и кладя ему на плечи свои ласковыя руки Анна Михайловна.

— Со мной-съ?... Со мной, Анна Михайловна, ничего. Со мной то же, чтѣ со всѣми: скучно очень.

Анна Михайловна тихо покачала головою и тихо сказала:

— Невесело; это правда.

— Анна Михайловна! началъ, быстро оправляясь, художникъ:— у насъ ужъ такіе годы, что...

— Изъ ума выживать пора?

— Ахъ, вѣтъ-съ! То-то именно вѣтъ-съ. Въ наши годы можно о себѣ серьезнѣй думать. Просто разбитые мы всѣ люди; ни счастья у насъ, ни радостей у насъ, утромъ ждешь вечера, съ вечера ночь къ утру торопишь. Жить не при чемъ, а руки на себя наложить подлю. Это чтѣ же это такое? Это просто терзанье, а не жизнь.

Тихая улыбка улетѣла съ лица Анны Михайловны и она смотрѣла въ глаза художнику очень серьезно.

— А между тѣмъ... знаете что, Анна Михайловна... Не разсердитесь только вы Христа-ради?

— Я никогда не сержусь.

— Будьте матерью моимъ дѣтямъ: выйдите за меня замужъ, ей-богу, ей-богу я буду... хорошимъ человѣкомъ, проговорилъ со страхомъ и надеждою Журавка, и спѣшно прижалъ къ дрожащимъ и теплымъ губамъ Анны Михайловнину руку.

Анна Михайловна смотрѣла на художника попрежнему тихо и серьезно.

— Илья Макарычъ! начала она ему послѣ минутной паузы.— Вонервыхъ, вы ободритесь и не конфузьтесь. Не жалѣйте пожалуйста, что вы мнѣ это сказали (она взяла его ладонью подъ подбородокъ и приподняла его опущенную голову). Вы ничѣмъ меня не обрадовали, но и ничѣмъ не обидѣли: сердиться на васъ мнѣ не за что; но только оставьте вы это, мой милый; оставьте объ этомъ думать.

— Да вѣдь я-жъ бы любить васъ! прознесъ совсѣмъ сквозь слезы Журавка, сжимая между своими руками руку Анны Михайловны и цалуя концы ея пальцевъ.

— Знаю, знаю, Илья Макарычъ, и вѣрю вамъ, отвѣчала Анна Михайловна, матерински лаская его голову.

— Вѣдь выходить же замужъ и... художникъ остановился.

— *Не любя*, досказала Анна Михайловна.— Да, милый Илья Макарычъ, выходить, и очень-очень дурно дѣлаютъ. Неужто вы хвалите тѣхъ, которые такъ выходятъ?

— Нѣтъ... это я... такъ сказалъ, отвѣчалъ, глотая слезы, Журавка.

— Такъ сказали? Да, я увѣрена, что вы въ эту минуту обо мнѣ не подумали. Но скажите же теперь, мой другъ, если вы нехорошаго мнѣнія о женщинахъ, которыя выходятъ замужъ *не любя* своего будущаго мужа—то вакого же вы были бы мнѣнія о женщинѣ, которая выйдетъ замужъ *любя* не того, кого она будетъ называть мужемъ?

— Но вѣдь *его* нѣту; *онъ пропалъ*... погибъ.

— Погибшіе еще болѣе жалки.

— Да нѣтъ же, поймите вы, что вѣдь нѣтъ его совсѣмъ на свѣтѣ, говорилъ, плача какъ ребѣнокъ, Журавка.

Анна Михайловна слегка наморщила брови, и впервые въ жизни едва не разсердилась. Она положила свою руку на темя Ильи Макаровича, порывисто придвинула его ухо къ своему сердцу и сказала: «слышите? Это *онъ* стучитъ тамъ своимъ дорожнымъ посохомъ».







Deacidified using the Bookkeeper process
Neutralizing agent: Magnesium Oxide
Treatment Date: Jan. 2007

Preservation Technologies
A WORLD LEADER IN PAPER PRESERVATION

111 Thomson Park Drive
Cranberry Township, PA 16066
(724) 779-2111



